

Вацлав Серошевский

ПОБЕГ

Повесть

Предисловие

В основе этой повести лежит действительное происшествие, но оно послужило мне лишь фоном для изображения жизни политических ссыльных в Сибири. Я позволил себе многочисленные отступления от точного изложения событий. Мною выведены отчасти лица, никогда не существовавшие, типы вымышленные и собирательные. Есть в повести описания приключений, случившихся в других местностях и с другими лицами. Я писал не историю, а психологию деяний и старался, чтобы она была верна. В жизни часто случается, что последовательное развитие известных душевных состояний прекращается вторжением случайных элементов, и художник разгадку их и развязку находит в другом месте и у других лиц.

Арканов, который, по всей вероятности, вызовет больше всего нареканий, является именно таким собирательным типом, составленным из частичных, разновременных наблюдений.

В виду этого, покорнейше прошу моих читателей, знакомых с подлинной историей описанного побега, не доискиваться никаких сходств, не усматривать личных намёков, так как всё это было бы для меня крайне неприятной неожиданностью.

Автор.

I. Последняя пирушка.

I.

— Впрочем, как вам угодно, но я... я... для меня это невыносимо... Меня охватывает окончательное отчаяние! Кружусь вечером по избе, сердце рвётся от боли, в голове кавардак! Не долго и с ума сойти! Вы говорите, что не удастся! Возможно... Но что, если удастся?! Вы говорите, что мы погибнем? Что из этого? Разве и так не гибнем мы? Разве не погибло много более дельных, чем мы, и ведь мир не рухнул! Нас поймают, досадят в тюрьму... Да чем же, скажите вы мне, отличается всё это, что нас окружает, от решёток, стен... или от могилы? — говорил с плохо скрываемым раздражением один из трёх людей, гулявших по узкой тропинке, по замёрзшему, покрытому снегом озеру. Кругом спал городок Джурджети, закутавшись в сумрак и мглу.

— Немного больше впечатлений... или более высокий свод строения... — начал он опять и небрежным жестом указал на небо, сияющее тысячами звёзд.

Гуляющие остановились. Один, с правой стороны, в тулупе, наброшенном на плечи, точно римская тога, поднял послушно голову вверх; другой, с левой стороны, завёрнутый выше носа в серый плед, глядел спокойно в туманную даль, где всходила луна.

— Ты, Негорский, забываешь, — процедил он сквозь зубы, — что там вечно будет стоять над тобой... сторож. Известное дело, что тебе и трёх слов сказать нельзя без... преувеличений. Все ужасы, все окончательные решения, бесповоротные приговоры!.. Но, как хотите: доказывать, что нет разницы между тюрьмой и проживанием здесь — чересчур уж большая нелепость. Даже тебе, Негорский, она не подобает! Конечно, всё здесь ничтожно, мерзко, убого, тем не менее — оно представляет кой-что... Мы пользуемся свободой движений, видим солнце, природу, женщин... у нас есть хоть тень, хоть намёк на жизнь!.. Там — ничего. Совершенная пустыня!.. Голые стены, ненавистные лица сторожей... И так недели, месяцы, годы... Разве вы уже забыли?.. Ведь вы сидели!.. Сознаюсь, что я содрогаюсь от одного воспоминания, и если-б я убежал отсюда, так только потому, что именно здесь мне ежеминутно угрожает подобная перспектива, что достаточно бестактности одного из нас, непредвиденной случайности или грубости ничтожного чинуши, и — готова история!..

— Вот видишь! Это одно из доказательств в мою пользу!.. — резко вставил Негорский и двинулся дальше по тропинке.

— Монтезума, ты думаешь, что я на розах!.. Не о недостатке поводов говорю я, но об отсутствии средств и возможности!

— Всё это можно обдумать, лишь бы была охота. Ты сознайся, будь откровенен, что тебе просто жалко рисковать этими крохами, которые есть у нас, этим намёком на жизнь... Словом, ты боишься!..

— С ума я ещё не спятил. Я не шальной!..

— Жаль. Ведь до сих пор только шальные что-нибудь сделали и... сделают. Страх всегда был плохим советчиком, орудием рабства и унижения. В самом отчаянном положении у человека всегда найдётся что-нибудь такое, чего, по видимому, уже нельзя отнять. Но вдруг надвигаются обстоятельства, разбивают эту неприступную крепость и отнимают половину жалких крох... Затем приходит лютый враг и говорит: отдай всё и уйди, так как я желаю вспахать место, где стоял Карфаген!..» Тогда...

— Тогда что?..

— Тогда люди пускают себе пулю в лоб, или топятя, вместо того, чтобы рискнуть жизнью раньше, в борьбе... А знаешь, Самуил, мне, право, стыдно, что у меня есть эти крохи, что я не принадлежу к этим отверженцам, которые

видят исключительно лица сторожей! Там бы я знал, по крайней мере, что я бессилен. Меня окружал бы каменный мешок, неразрушимая могила... Здесь же я сам подчиняюсь... И я чувствую жгучий стыд, когда вспоминаю, что сдерживает меня, в сущности, жалкая нить ничтожных удовольствий...

— Удовольствий?.. Сильно сказано!.. Зачем же удовольствий?.. Как жаль, что ты не сказал... наслаждений! Это вполне в твоём вкусе!..

Самуил поправил плед, громко зевнул и добавил:

— Поздно уже. Не лучше ли отправиться на покой, славянские сердца, вечно тоскующие по плети! Завтра пан Ян сотрёт нас в порошок, если во время не явимся к нему. Где ключ, Воронин?.. Наверно, не знаешь!..

— А вот знаю... Бери!.. — сухо ответил Воронин, протягивая руку из-под тулупа. — Я ещё погуляю.

Самуил молча взял ключ и ушёл с опущенной головой. У входа в дом он оглянулся. Месяц только что вошёл, и красный его блеск разбил сплошной до того мрак. — Окрестности утопали в рыжих, бархатных полутенях, среди которых на диске луны отчётливо рисовались фигуры удаляющихся товарищей. Негорский горячо размахивал руками, как птица, готовящаяся к отлёту; рядом шёл Воронин, прислушиваясь внимательно.

— Мечты!.. — пробормотал сердито Самуил. — Чудаки! И не надоело им ещё?! Всё проекты, мечтания, вечная лихорадка надежды!..

Он взглянул пристально на засыпанную снегом юрту, где он жил, и вошёл в сени. Минуту спустя он очутился в тёплой, затхлой, совершенно тёмной избе. Он двигался осторожно, как в чужой квартире, тем не менее, после нескольких шагов уже споткнулся и сбросил что-то, что с глухим шумом упало на глиняный пол.

— Всегда так!.. Чёрт возьми!.. — выругался Самуил. — Проекты, проекты, а стулья по середине, и спичек да свечки никогда на место не поставит!..

Наконец, он нашёл, чего искал, и зажёл сальный огарок. Он не спешил раздеваться, расстегнул только тулуп на груди и сдвинул барашковую шапку на затылок. В ожидании, пока разгорится пламя, он медленно обирал с усов ледяные сосульки. Он был молод, но выразительные черты его еврейского лица обнаруживали уже усталость; с обеих сторон большого горбатого носа шли глубокие морщины страдания, в густых рыжеватых волосах и бороде белели нити седины; выпуклые зеленоватые глаза его, обведённые тёмными кругами, глядели спокойно, но грустно. Он долго стоял в раздумьи; наконец, громко вздохнул, затем рассмеялся и обвёл насмешливым взглядом вещи, разбросанные в беспорядке по избе. Затем взял свечку и отправился к себе, в соседнюю комнатку. Там выглянули на него все те же якутские косые стены, блеснули льдом, вместо стёкол, всё те же якутские крошечные окошечки, но, вместо нар там стояла кровать, застланная красным одеялом, а на внутренней

дощатой перегородке, сухой и отвесной, висела карта, было наклеено несколько вырванных из еженедельников иллюстраций да помещалась полка с книгами. Здесь была «Европа», как насмешливо говаривал Самуил, сопоставляя свою каморку с соседней «Азией», обитаемой диким народом.

Самуил поставил свечу на столик у кровати, сбросил тулуп и удобно растянулся на постели с книгой в руках. Но «мечты» мешали ему читать. Тщетно он сосредоточивал внимание; он читал отдельные слова, но не понимал их значения. В груди что-то переливалось, вскипало и болезненно ударяло в голову.

— «Страх всегда был орудием рабства и унижения»... вспомнил он выражение Негорского. И сам он не раз говорил себе это, но...

Рука Самуила вместе с книгой упала, он закрыл глаза, Нездоровый румянец окрасил его щёки, губы сжались, и он долго пролежал так без движения.

— Чего же он боится?

Он пытался убедить себя, что не боится смерти, что мысль о ней ему не страшна... Ему это не удалось, и он сознался себе в глубине своей совести, что только «этот» страх заставляет его переносить все преследования... позорное положение животного на цепи... Только неодолимое отвращение к физической боли, к оскорблениям допросов, к грубейшим поруганиям нежнейших чувств и мыслей удерживали его от сопротивления и борьбы... Он до сих пор приходил в ярость, вспоминая обращение и некоторые выражения своих палачей, во время его ареста. Он чувствовал себя унижённым, поруганным на всю жизнь, навсегда втоптаным в грязь. Ему казалось, что неряшливая, вонючая рука ворвалась тогда в его внутренности, нагло хватала его за сердце, рылась и шарилась в мозговых извилинах. И жгучие отвратительные следы этих прикосновений остались там навсегда, ничем неизгладимые, неизлечимые... Он уже теперь не тот и никогда уже не будет тем, чем был раньше! Он узнал испуг, он запятнал себя уловками, боролся с низменными искушениями, он изведывал отвратительные минуты душевных обмираний, когда всё равно, лишь бы... существовать!

Самуил приподнялся, сел на кровати, хотел встать, так как почувствовал, что опять идёт к нему это страшное, пережитое некогда воочию видение; но он не успел собраться с силами и только упёрся беспомощно руками в колени и открыл широко испуганные глаза.

... Раннее, туманное утро. Во дворе серые, без теней сумерки... В них неясно темнеют серые очертания тюремных построек. Возможно, что скоро блеснёт весёлый, погожий день; он даже чувствует в розовом сиянии, рдеющем уже в вышине, но пока внизу холодно и сумрачно, и отчётливо виднеются только перекладыны виселиц, протянутые над землёю, да кругом шпалеры солдат. Надзиратели не позволяют смотреть, силою стаскивают с окошек; но лишь

только они уходят, Самуил опять прижимает пылающий лоб к холодным, влажным стёклам. Под виселицей уже повисло в белом саване, в ужасном холщовом мешке, молодое, сильное тело... Оно судорожно корчится, мечется, дрожит... Силач, герой!.. Его заставили умереть!.. Его заставили!..

Уже повис! Его мощный, необычный, всеми любимый дух улетел и рассеялся в мировом пространстве... Люди уничтожили его, уничтожили за то, что он любил их больше самого себя!..

Самуил всякий раз переживал вместе с казнённым чувство позорного, беспощадного бессилия. Его горло сжимала верёвка, его связанные позади руки тщетно напрягались; сквозь его мозг проносились мысли, всё те же мысли, за которые они умирали: величественный, потрясающий гимн, угрожающий престолом и богам и обещающий человечеству создать будущее без забот и страданий... ☒☒

Вдруг всё побледнело, закружилось, исчезло... Осталась пустота в сердце, заброшенная сибирская изба и пустой завтрашний день...

Самуил повёл затуманенным взором по стенам своей каморки, поднялся, потрогал бессознательно бумаги на столе, хотел что-то предпринять, но не в силах был одолеть себя... Слёзы заструились у него из глаз; он задул свечу и уткнулся лицом в подушку...

Уже рассвет робко заглядывал в ледяные стёкла, когда заскрипели, наконец, в сенях шаги, и в избу вошёл Воронин, постукивая промёрзшей обувью. Не найдя на столе у себя ни спичек, ни свечи, он отправился за ними в комнату Самуила. Тот пошевелился.

— Что!?. Ещё не спишь?!

— Нет. А что?

— Ничего. Свеча не нужна тебе?

— Нет... а впрочем, принеси, когда разденешься.

Не успел Самуил выкурить папироску, как явился Воронин со свечою в руках, в полном спальном облачении, украшенном только очками. Свечу он поставил на стол, но уходить и не думал, сделал папиросу и, навалившись спиной на дверной косяк, поглядывал исподлобья на друга.

Воронин был моложе Самуила; он был красив, но неуклюж и неряшлив. Чёрные вьющиеся волосы и борода образовали кругом его цыганского лица странную траурную кайму. И не только лицо, но вся его фигура носили обыкновенно какой-то удивительно похоронный, мрачный отпечаток. Впрочем, теперь в грустных глазах его что-то теплилось, что-то весёлое змеилось на тонких губах,

— Что-ж, удираете? — спросил Самуил, догадываясь, чего ждёт от него друг.

— А то как!

— Гм... Скатертью дорога!.. А скоро? Можно узнать?

— Как потеплеет.

— Прекрасно, прекрасно!.. А вы уже решили, что предпочитаете: умереть с голоду, вернуться добровольно, или позволить себя поймать по всем правилам искусства?

— Зачем возвращаться? Впрочем, всё может случиться... А всё-таки и это будет лучше, чем здесь тратить жизнь в бездействии.

— Ого! — протянул Самуил, приподнимаясь с постели и взглядывая с любопытством на друга.

— К тому же, — продолжал тот с непоколебимым спокойствием, — возможна удача. Ведь удалось же Бениовскому¹ и полякам бежать из Камчатки, а простые бродяги ежегодно толпами уходят с Сахалина... Отсюда побег много легче... А впрочем, — добавил он после минутного колебания, — стыдно здесь мирно жить, когда там умирают!

— Милый Ворончик! Вижу я, что пан Негорский совсем переделал тебя на свой образец!.. Недаром так размахивал руками! — вскричал со смехом Самуил. — Послушай, Ворон!.. — добавил он затем сурово и сел на постель. — Есть много способов отправиться на тот свет, и много меньше мучительных. Что же касается возвращения на родину и надежд на деятельность, то мы, несогласные по тем или другим причинам просить помилования, мы должны окончательно с этим... попрощаться... Окончательно!.. Слышишь?

Воронин ничего не ответил. Он только порывисто поправил очки, бросил на землю окурок папироски, повернулся и ушёл. Это означало, что он не согласен.

Вскоре Самуил услышал его протяжное храпение и, усталый, сам немедленно уснул.

II.

Разбудил их сильный стук в двери. К ним ломился кто-то, крепко и упорно, точно стенобитная машина; доведённый до отчаяния, Воронин поднялся, наконец, и пошёл отомкнуть крючок. Не любопытствуя, впрочем, кто пришёл, и не открывая глаз, он, полусонный, побежал тотчас же обратно на кровать, спасая свои голые ноги от струй холодного воздуха, ворвавшегося сквозь открытые двери.

В облаках морозного пара вошёл в юрту низенький, толстенький человек, одетый в коротенький заячий кафтан, покрытый сильно потёртым и порыжелым плисом. Ноги посетителя обуты были в белые, мохнатые якутские «торбаса», а на голове покоилась старая бобровая шапка. Когда он снял её, великолепная лысина засияла в полумраке юрты.

¹ Польский авантюрист XVIII столетия. Бежал из Камчатки, куда был сослан в качестве военнопленного, и погиб в схватке с французами на Мадагаскаре, где основал конституционное королевство.

— Спят!.. Вот наказание!.. — проговорил он громко по-польски.

Никто не ответил, не пошевелился. Тогда гость сдвинул с лица складки большой женской шали, в которую он был закутан с ушами, приблизился к постели Воронина и несколько раз звучно прокуковал:

— Ку-ку! Вставайте, засони!

Воронин и не пошевелился.

— Дудки!.. Шутите!.. Назвались груздями — полезайте в кузов!.. — вскричал пришелец со смехом и принялся дёргать одеяло за угол, подымать и стягивать его со спящего; в то же время он удивительно ловко подражал всевозможным лесным и домашним животным. Тщетно Воронин, поджимая ноги, боролся, придерживал одеяло руками: нападающий щипал его, щекотал, обнажал прямо немилосердно. Наконец, из-под подушки высунулась всклокоченная голова.

— Пан Ян, Самуил тоже спит, ей-Богу спит. Вы только заметьте, как он крепко спит, храпит, ничего не слышит... Вы его пока разбудите, а я минуточку, одну маленькую минуточку... Мне будет довольно!.. Я вас не задержу... ей-Богу!.. — прошептал он заискивающе и опять нырнул под одеяло.

Пан Ян засмеялся и приостановил нападение; в то же время проснувшийся Самуил позвал его к себе: Ян окончательно оставил свою жертву и направился в каморку.

— Как вам не совестно?! — жаловался он, присаживаясь на краю Самуиловой кровати. — Вы себе дрыхнете, как ни в чём не бывало, а моя баба, между тем, с ума сходит, и все давно ждут!..

— Ждут?.. Все?.. Значит, и «господин доктор», и дух отрицания и сомнения?.. А что, они ещё не поссорились?!.. Удивительно!.. Да и жаль!.. — шутил Самуил, потягиваясь и громко зевая.

— Дайте мне, Пан Ян, пожалуйста, табак!.. Мы покурим, пофилософствуем... согласны? А тем временем пусть твои гости поругаются. Ты мне поверь, что это прекрасно действует на пищеварение, а я догадываюсь, что пани Янова наготовила всего больше, чем нужно... Давно мы не виделись с вами, пан Ян! Что у вас слышно? Что поделяваете?..

Вместо ответа, пан Ян достал из кармана большую табакерку из берёзовой коры и, открывши, подал Самуилу.

— А может быть, и вы выпьете «рюмочку»? — спросил он дружески. Самуил с притворным ужасом взглянул на табакерку.

— Ну, нет!.. Я ещё не забыл вашей «рюмочки» с того раза!.. Я уже чихаю, пан Ян... Уберите её!..

Ян самодовольно рассмеялся, погрузил толстые пальцы в пахучий порошок и етарательно зарядил свою «двустволку» (так называл он собственный вздёрнутый нос с большими раздувающимися ноздрями). Он уверял, что в эту «двустволку» можно было поместить «восьмуху» табаку... Конечно, такую

роскошь он позволял себе лишь в то хорошее время, когда из его ноздрей не выростали ещё такие огромные, щетинистые усы, и жилось ему привольно «на службе в Калужской губернии». Теперь обстоятельства часто были стеснённые, и размеры «рюмочки» сообразно этому уменьшились. Несмотря на то, небольшие васильковые глаза пана Яна, по старому, весело, насмешливо и смело глядели на мир из-под лохматых бровей.

— Торопитесь, торопитесь!.. В церкви давно отошла служба, люди идут и нас ждут... — понукал он одевающихся друзей.

Когда Самуил усомнился, действительно ли так поздно, Ян энергичным жестом открыл двери и впустил в избу голоса снаружи.

— Слышите?!

Заглушая голоса мелких товарищей, важно гудел главный колокол Джурджуйской церкви, точно мерно приговаривая:

— Бог ро-дил-ся... Бог ро-дил-ся... Бог!

Был первый день Рождества.

Сегодня, впервые в этих широтах, явилось полностью. над горизонтом солнце. Диск его как раз оторвался от земли, когда пан Ян с Самуилом и Ворониным вышли на улицу. Потoki ярко-золотого, давно невиданного света залили окрестности; заискрились снега розовые от зари туманы приникли в углублениях долин, вдали засинели бледные очертания гор. Украшенный флагами городок, с рядами блестящих на солнце окон, походил на чиновника в праздничном мундире. Звучнее загудели колокола, кто-то в отдалении крикнул, кто-то выругался, запел... Стаи зашитых в меха ребятишек, пухлых и толстенных, точно узелки, поджидая появления солнца на плоских крышах жилищ, вдруг зачирикали, как птицы. Любопытные вышли из домов и, прикрывши глаза ладонью, глядели на Юг. Туда повернули тоже свои скуластые лица якуты, застигнутые солнцем среди озера. Одетые в праздничные белые, жёлтые и чёрные платья, с буфами на плечах и со сборками у бёдер, обшитые чёрными и красными широчайшими каймами, они представляли живописное цветное пятно среди просторной белой равнины. Мужчины обнажили гладко обстриженные головы, женщины наклонили долу свои остроконечные бобровые шапки. Все размашисто крестились и кланялись далёкому солнечному «Белому Богу».

Наискось через озеро, пан Ян вывел своих товарищей на берег и двинулся с ними дальше, вдоль по «улице», в конце которой стояла больница, где пан Ян исполнял должность сторожа.

Квартира его на первый взгляд показалась бы посетителю отвратительной «пещерой», но жилец её утверждал, что она «вовсе недурная». Белые прожилки морозного налёта образовали у её входа какой-то сказочный ледяной свод царства зимы, сквозь который дальше открывался вид на тёмную низкую избу,

полную, в описываемый момент, кроваво-красного зарева, падавшего от горящего на туземном комельке огня. Окон там трудно было доискаться: до того они были маленькие и до того густы были тени наклонных закоптелых стен и откосых углов. Всё не захваченное кругом света пространство исчезало в рыжей полутьме.

В центре света собрались гости пана Яна. С ними были две женщины: жена пана Яна, безобразная якутка, одетая в щегольской русский ситцевый сарафан, и другая, тоже якутка, в туземном платье. Последняя, молодая девушка, всё пряталась в тени за комельком и только, когда поправляла рассыпавшийся огонь или хватала щипцами уголёк, чтобы бросить его в шумящий рядом самовар, из мрака высовывалось её длинная, смуглая цыганская рука и смазливое личико с большими серебряными серьгами в ушах. Пани Янова то и дело переставляла с места на место, открывала и закрывала кастрюли, котелки, сковородки, полные разнообразных джурджуйских лакомств. Пот градом струился по её лицу, а раскрытые от жары губы издавали протяжные вздохи и жалобы. Направо у стола, на кровати, стульях и ящиках сидели гости. По середине поместился Александров, крупный, немолодой уже мужчина, в белой рубаше из грубого тюремного холста. Косматый тулуп, тоже тюремное наследие, он сбросил с плеч, упёрся локтями на стол и, наклонив вперёд плешивую голову, слушал внимательно происходивший разговор. Негорский, тщедушный, среднего роста, болезненного вида шатен, и Черевин, брюнет с окладистой, старательно причёсанной бородой, беседовали, стоя у стола. Среди присутствующих один Черевин был одет по европейски и имел крахмальную сорочку со стоячими воротничками. Рядом с Александровым на кровати сидел Красуский, молодой человек с бледным лицом, точно изваянным из мрамора. Он никого и ничего не слушал; красивые, тёмные глаза он уставил в огонь и задумчиво тербил молодые усики. Далее, уже на ящике, под стенкой, восседали чрезвычайно серьёзные «Иностранные Державы»: высокий, худой, чернявый Петров и низенький, румяный блондин Гликсберг. Из-за них, из самого уже отваленного угла, выглядывала с любопытством пухлая рожица и всклокоченная шевелюра француза Делиля. Он ни на минуту не выпускал изо рта коротенькой трубочки. По середине избы, поближе к входу, лежала на полу большая чёрная собака, ползал совершенно голый ребёнок, а у стены прыгал на привязи пёстрый телёнок.

— Вы ошибаетесь, доктор!.. — резко настаивал Негорский. — Вы ошибаетесь!.. Вы ничего, ни крошечки не добились своей уступчивостью. Вы работаете уже больше года, а разве хоть на атом уменьшилась оттого в окрестностях зараза? Или скажете, что больница стала лучше? Или, может быть, меньше ворует Адрианов? Не живут ли по прежнему больные в отвратительном, грязном хлеву? Не кормят ли их по прежнему гнилым мясом?

Разве туземцы не боятся по прежнему больницы хуже смерти, и разве они не правы?..

Черевин сдвинул брови.

— Возможно. Я охотно сознаюсь, если вам угодно, в моём неумении. Есть грех. Но дело не в этом, а в принципе...

Негорский махнул нетерпеливо рукой.

— Опять!.. Есть принципы и принципы... Не всякий принцип достоин уважения. Я полагаю, что врач должен не столько лечить, сколько стремиться раз навсегда уничтожить источники и условия болезни. Это достойный уважения врачебный принцип. Юрист должен стремиться к уничтожению судов и тюрем.... Законодатель — к замене свода законов воспитанием и обычаями...

— Но что же делать теперь с больными и с преступниками?.. И со всеми прочими?..

— Пусть страдают! — сухо отрезал Негорский. — Нас должна трогать в стократ больше судьба этих здоровых миллионов, которые сделались злыми и больными, потому что нет среди них достаточно смелых и прозорливых людей, владеющих даже своим состраданием, людей, стремящихся все это опрокинуть, чтобы построить новое...

— Пустые слова! История не знает скачков!

— О, да! Она не знает скачков, но смиренно переносит глупости, удобные для её толкователей!.. — вспыхнул Негорский,

— Я же думаю, что революционеры не обязаны что-либо строить. Их задача — разрушение. Строительством пусть занимаются, как и до сих пор, поставщики повседневных, обычных потребностей... — спокойно заметил Александров, пытаясь повернуть спор на принципиальную почву.

— Ну, нет! Мы не согласны!.. — зашумели «Иностранные Державы», Черевин и даже Негорский. Француз тоже выскочил из угла и чрезвычайно решительно положил уголёк в свою потухшую трубочку.

В это время вошли Ян, Самуил и Воронин.

— Что так поздно?.. Ждём, ждём... Мы думали, вы уже совсем не придёте.

— Все пригорело, высохло... — жаловалась пани Янова.

— Наше вино, наше вино!.. Что сварили, будем пить!.. — шутил Самуил, подражая польскому выговору Яна. Он колотил себя в грудь и здоровался за руку с товарищами.

— Да-а!.. Вот кого удостоился видеть... Почтенный бонапартист!.. Сотню лет не встречались!.. С тех пор, как Мусья взял у меня без спроса буравчик, и след его у нас простыл... А теперь как же это так?.. Почему здесь, а не в «большом свете»?.. У господина исправника или другого сановника? — подсмеивался Самуил, здороваясь, наконец, с Делилем.

— И что за великолепный костюм?... Ой!.. ой!..

Все обратили повеселевшие взгляды на Мусью, который представлял действительно замечательную фигуру в своём косматом туземном одеянии, мехом наружу. Бедняга был смущён и, вместе с тем, доволен общим вниманием.

— Я так... я только... я с господами тоже... всегда... желал бы... — бормотал он и, в конце концов, ловко шаркнул ножками, обутыми в белые «этэрбэсы» из конской кожи.

— Начинаем, господа!.. Не пора ли, пан Ян?.. У меня осталось всего четверть часа времени... Вечерком разве опять, может быть, урвусь... — заговорил Черевин.

— Прошу вас, прошу, господа!.. Очень прошу, господа!.. — засуетился хозяин. — По старшинству в петлю, что ли? Или, так как вы, господа, — социалисты, то, может быть, по богатству?..

Он подошёл с полной рюмкой к Черевину, а затем по очереди, как стояли, к другим.

— Вам я и не подаю... а может быть... и вы выпьете для такого торжества? — обратился он мимоходом к Александрову; тот отрицательно покачал головой, и Ян перешёл к Негорскому и Красускому.

— А теперь с вами, баре мои!.. — заговорил он по-польски. — Так как... хотя Бог наш давно уже родился¹, но грустно как-то праздновать одному... С волками жить, по-волчьи выть!.. Больше двадцати лет живу я в этих степях и лесах и никого с родины за всё это время не видел, и говорить уж по-польски забывать стал, как вдруг вы, господа...

Он оборвал и поспешно выпил рюмку. Негорский обнял его и горячо поцеловал в колючие, мокрые от слез и воды усы; вслед за ним наклонился к земляку и Красуский.

— Опять «пшы-бжи». Вечная польская интрига! — прошептал шутливо Черевин. Другие застенчиво отвернулись в сторону, притворяясь, что заняты своими делами, и только Делиль сделал широкий жест сочувствия. Но никто на него не обратил внимания, так как Черевин, как раз, стал прощаться. Ян помог ему надеть шубу, любезно проводил до дверей, затем поспешно вернулся к гостям. Они уже усаживались кругом стола; хозяину пришлось не мало потрудиться, разыскивая нужные стулья и ящики. Наконец, когда всё успокоилось, он сам взобрался высоко на кровать, на женину перину, и, вынув из кармана табакерку, проговорил самодовольно:

— А теперь мы себе погуляем!

Женщины поставили на стол шумящий самовар и стали подавать кушанье.

Но «гулянье» не удалось. Гости водку пить отказывались, чай пили неохотно, ели, как будто страдая зубной болью, и, не глядя друг на друга, сидели

¹ Намёк на то, что русский календарь запаздывает в сравнении с европейским на две недели.

задумчивые и молчаливые. Тщетно хозяин пробовал расшевелить их, у самого что-то «мутило» в душе.

Огонь догорал и тускнел. Куча тлеющих угольев обдавала ещё красным светом сидевших у стола, но углы избы тонули в темноте. Опорожнённый самовар тихо шумел, тихо постукивали чашки, осторожно передвигаемые в темноте, люди молчали, а из соседней избы долетал грустный, однообразный, гортанный напев якута.

Самуил, который большими шагами расхаживал по избе, вдруг подошёл к столу, отыскал дрожащею рукою пустую чашку и поставил её перед Яном:

— Налей!

— Нет, не здесь, не здесь... Пойдём лучше ко мне!.. — быстро проговорил Негорский, накрывая чашку ладонью.

— Почему это не здесь?! Можно и здесь!.. — сопротивлялся пан Ян, но, видя, что гости дружно собираются уходить, подумав, и сам присоединился к ним:

— Хорошо!.. Пускай!.. Но мы и отсюда возьмём бутылочку... Ты с ума сошла?! Давай шапку!.. — крикнул он на жену, вырывая у неё из рук своего «бобра», которого она, с видом возмущения и протеста, прятала у себя за спиной.

— Не посидишь дома ни минуты... Такой большой праздник!.. Их ты больше любишь, чем жену!

— В будни сиди дома — работай; в праздники сиди, потому что праздник!.. Скажи, глупая баба, когда же мне можно ходить!..

III.

Короткий зимний день окончился. Кровавый отрезок зари, очень узкий и очень бледный, чуть окрашивал край небосклона; остальной частью неба уже завладела звёздная, туманная ночь. В этих туманах, подымающихся снизу, точно дыхание засыпающей земли, звёзды на горизонте и летящие вверх искры человеческих огней смешивались в один волшебный, блестящий рой. Дым струился из всех пятидесяти труб городка. Не было окна, в котором не сверкали бы праздничные огни. Только церковь и полицейское управление, два самых крупных строения в Джурджуе, спали в туманах, тёмные и опустелые,

Негорский жил в том конце местечка, где уже начиналось «царство озёр и лесов». Его юрта была маленькая, но чистенькая. Когда гости подошли к её дверям, хозяин пустил их одних внутрь, а сам остался на дворе, чтобы взять охапку дров для растопки, так как хороший огонь в камине очень справедливо причисляется жителями Джурджуя к самым желательным и самым благородным формам гостеприимства. Когда, наконец, Негорский поставил поленья в комельке и зажёл их кусочком бересты, долго бледное, слабое пламя

лизало промерзшие колоды, пока согрело их и охватило золотым полымем. И сейчас же в юрте стало веселее. Загудело в трубе, зашипела, загораясь, смола, и раз — другой задорно выстрелил в середину избы уголёк. Яркий свет поглотил слабое сияние свечей и заглянул в самые отдалённые закоулки юрты. Прозябшие за дорогу ссыльные окружили камин и, опираясь друг на друга, следили с удовольствием за разгоравшимся всё буйнее огнём, вдыхали всем телом тепло, прислушивались к гулу, с каким пламя, дым и искры летели в широкий, вольный свет... Наконец, Самуил тихо запел:

Лита мои Лита молодые!..

— Вправду спели бы вы, Самуил!.. Скука что-то, тоска!.. — заговорили вдруг все.

— Спивать дармо, — болит горло! Вы сначала выпейте настоящую рюмочку!.. — посоветовал певцу Ян на свойственном ему польско-русском жаргоне. Он подал Самуилу чарку, полную водки; тот принял, выпил и обвёл товарищей блестящими глазами.

— Что же вам спеть?

— Зозулю... Зозулю!..

Гей! закувала тай сыва зозуля

Ранним ранни на зори!

Гей! заплакалы тай хлопци молодойци

У турецкой неволи в кайдани...

Чарка все шла по рукам, и словам

— По синьему морю...

вторило уже несколько робких, неуверенных голосов,

— На Украине там солнечко сяе...

гремело уже мощным хором. Пение вместе с дымом вылетало наружу, сквозь широкое отверстие низкой трубы и разносилось далеко по окрестности.

— Тише!.. Чу, слышите!.. Преступники поют! — говорили соседи-казаки и якуты и выходили в сени постоять, посмотреть на звёзды, послушать чужой, хватающей за сердце песни.

— Чужбина!.. чужбина! — вздыхали женщины.

Между тем, среди певцов чарка вращалась неустанно; вскоре все уже пели. Даже Александров что-то мурлыкал. Один Негорский не пел и не пил.

— Зачем? Я чувствую, что и без водки сегодня пьян буду!.. Только пойте! — защищался он от пристававших товарищей.

По мере того, как убывало в графине, менялись мотивы и содержание песен и приобретали всё более и более странный характер. Наконец, Ян, который пил больше всех, вдруг заревел совершенно невпопад и, заглушая товарищей, принялся выводить совершенно самостоятельно.

— Ото ревет!

— И фальшивит!..

— Невозможно!

— Молчать!

— Стыдно!

— Под нары!.. — кричали на него со смехом.

— Что вы понимаете!.. Вы молокососы!.. Да ведь это... самая настоящая! — огрызнулся Ян. — Мы пели её, когда с косами хаживали... на пушки!.. Да!.. Вот как!..

И, упёршись руками в бока, он ещё шире расставил ноги, поднял вверх свою «двустволку» и ревел победоносно:

Как ужасный Лев

Лишь почует кровь...

Дындай!.. Дындай!.. Дындай!.. Дындай!..

Ведь у нас есть Беб¹,

Бояться не след...

Дындай!.. Дындай!.. Дындай!.. Дындай!..

Он больше слов не знал, но так как «дындай» могло продолжаться бесконечно, то и этого оказалось достаточно.

Присутствующие пробовали его унять, но когда это не подействовало, Самуил махнул рукою:

— Оставьте!.. Пусть поёт... ради такого торжества!

Хоровое пение разрушилось, разбилось, расплелось на несколько отдельных песен, слов, мелодий... Всякий напевал, что помнил, знал и любил, а вместе с песнями набежали незаметно... и воспоминания. Голоса постепенно замолкли. Только Ян, хотя и охрипший, ревел по прежнему. Наконец, и он оборвал и оглянулся, изумлённый воцарившейся тишиной.

— Что случилось?

— Ничего.

— А я вам скажу!.. — проговорил каким-то неестественным голосом Негорский. — Я вам скажу: случилось то, что мы... бежим! Я должен вам сказать, я воспользуюсь тем, что все мы вместе, и скажу... Ведь все мы тоскуем, ведь все мы изводимся, так не лучше ли, чем исподволь тлеть, восстать сразу?..

В юрте опять воцарилось глубокое молчание.

— Я тоже бегу... — проговорил решительно Воронин, высовывая из темноты своё похоронное лицо.

Однако, никто не поддержал его; все, как будто, ещё чего-то ожидали.

— Бежим, непременно бежим!.. — повторил воодушевлённо Негорский. — Наш план вполне реален!.. Вы увидите, только послушайте...

¹ Испорченное Бем: Иосиф Бем, генерал артиллерии польских войск; в 1848 году он руководил защитой революционной Вены, а затем, после Горгэя, был назначен главнокомандующим венгерской армии.

Он схватил со стола подсвечник и подошёл с ним к висевшей на стене карте, другие двинулись за ним вслед.

— Вот здесь, — объяснял он, указывая пальцем, — Джурджуй... А тут река., А здесь, вот, её приток Челемся... Посмотрите, как далеко на запад приходится её истоки. Оттуда не больше полутораста - двухсот вёрст к долине Лены... Рукой подать! Хребет не трудный для перевала: низкий и не широкий. Тунгусы обыкновенно этим путём возят в Джурджуй товары... Я их расспрашивал. Одно, говорят, неудобство: нигде нет жителей, исключая окрестностей Джурджуя. Но для нас это-то и удобно... Что вы скажете, а? Допустим, что мы долиной Челемси добираемся до горного перевала. Затем мы переходим его; далее на западном склоне хребта — вот тут недалёко, — как видите, начинается другая речка, приток Лены. Вся, значит, дорога идёт долинами рек. Длина её достигает 900 вёрст, допустим, что всю тысячу. На путешествие уйдёт, положим, всё лето. Тогда мы выберем соответственное место и зазимуюем. Александров и Красусский владеют прекрасно топорами, другие выучатся, не мудрость! Построим себе домик, юртешку, — маленькую, тесную, лишь бы только... Будем охотиться, ловить рыбу... Дичи, всякого зверья там много. Пищи будет вволю, возможно, что ещё скопим запасы. Когда лошади отдохнут и пожиреют после первых сильных морозов, мы их убьём, что нам даст сразу несколько десятков пудов хорошего мяса. Из него приготовим консервы. Весною построим лодку, выждем попутного ветра и поплывём вверх по течению на юг. Там или прямо отправимся в Иркутск, или повернём в Енисейск... Можем тоже удобно спрятаться в полчищах рабочих, отправляющихся на Витим на золотые промыслы. Вероятнее всего, что мы разделимся на несколько партий, и каждая направится, куда пожелает. Но это второстепенные вещи, это мелочи; главное: как выбраться из Джурджуя и как подольше законспирировать наше здесь отсутствие? Лишь бы позволили убежать незаметно несколько десятков вёрст, а там уж свищи по белу свету ветра! Мы спрячемся в горах и будем кочевать, как тунгусы...

— Ну, как?.. — спрашивал он настойчиво и, когда товарищи медлили ответом, добавил горячо:

— Конечно, будет не раз и голодно, и холодно, и много опасностей угрожает нам... возможно даже, что... погибнем... Но в случае удачи, ведь в случае удачи... свобода, воля! Прямо голова кружится... Смелость и молодость всё преодолёют, а терять нам нечего! Что же? Согласны?..

— Совсем нет! — ответил Александров. — Прежде всего таких вещей не решают, выпивши четверть водки!..

— Я не пил! — ответил сухо Негорский. — Но можно и отложить!

Он ушёл от карты, поставил свечу на стол и занялся самоваром, который, забытый, потух и остыл.

Вскоре на столе появилась коврига чёрного хлеба, принадлежащего в Джурджуе к праздничным лакомствам, затем мороженное масло в кусочках, точно сахар колотый, чашка мороженых ягод, холодная жареная говядина и кипящий самовар. Негорский занялся угощением товарищей, — «чем хата богата», — и делал это с присущей ему сердечностью и приветливостью.

Проголодавшиеся гости с некоторой жадностью набросились на еду, но пан Ян властно остановил их, осмотрел внимательно бутылку, содержимое в ней разделил строго поровну между всеми, сам выпил последним, утёр рот рукавом и подсел к холодному мясу, закусывая им с видимым удовольствием.

— Нехорошо это вы надумали, нехорошо! — заговорил он. — Не могу похвалить!.. От этих планов только хуже всегда бывает!.. Ищешь лучшего, а выходит наоборот... Знаю я это не из книг, не с чужих слов, а по собственному опыту... Чем больше тревожишься и хлопчешь, тем хуже!.. Поэтому я теперь уже ничего не предпринимаю и не предполагаю, а живу себе, как Бог велит!.. А вы этим только горя себе больше наживёте!.. Вы, должно быть, думаете, что это шутки, пустяки... наверно, и понятия даже не имеете, что такое здешняя тайга дремучая, какие кругом горы, болота и леса... Знаю я их хорошо, сам хаживал. А по карте так скоро двигаешься, потому что... гладкая! И не столько в горах и лесах суть, как в вас самих... Разве вы знаете, что в каждом из вас сидит?.. Разве вы испробовали?.. Смерть совсем не то, она много легче... Но, когда холод и голод живого доймают, и когда не станет сил и дыхания, тогда...

— Что касается этого, я думаю, пан Ян, напрасны ваши опасения!.. — вставил, насупившись, Негорский.

Ян спокойно взглянул на него и взял из табакерки здоровую понюшку табаку:

— Да вы за что же сердитесь? Я знаю, что вы все хорошие парнюги! Но вы бы спросили меня, старого бродягу, я бы вам, может, кой-что рассказал...

— Рассказывайте, мы с удовольствием послушаем!.. — ответил Самуил.

— Если позволите, я начну с того времени, когда я был на службе в Калужской губернии... — проговорил Ян с широкой улыбкой и опять вынул табакерку.

— Конечно, конечно!.. — ответили ему весело слушатели и плотно придвинулись к столу.

— Так вот, вы знаете, господа, что когда нас, поляков, ловили в лесах в 63 году, то, кто поученее да постарше, тех или вешали, или в каторжные работы ссылали, а молодёжь из простых определяли в солдаты и высылали на службу в глубь России. И собралось, таким образом, в России в каждом полку, в каждой даже роте наших по нескольку человек, даже и того больше... И очень мы с первоначально дружно держались, и уважали нас все и даже боялись... И не только простые солдаты, но даже офицеры. Сам полковник Левченко, хохол,

позвал нас однажды после смотра и говорит: «благодарю вас, ребята, ловко вы служите, а только прошу вас: сидите теперь смиренно! Я сам польскую грудь сосал, понимаю, но... всё пропало, и вы покоритесь!» И приказал нам выдать по полтине на брата и по шкалику водки. Покориться!.. Легко это сказать, но как... покориться!.. И не то, чтобы служба!.. Боже упаси!.. После скитаний в лесах, в полку служба показалась нам легче пера! А были мы все парни удалые, молодёжь, отбор!.. Должно быть, ловкачи, коли нас в стольких сражениях пули не хватили. Не службой мы тяготились, а тоской. Как она пристанет, присосётся к человеку, так будто лягушка за сердце уцепилась! Подерёшься с москалями в кабаке, или прошляешься без отпуска несколько дней по полям и лугам, — ну, и готов!.. Наказывают, в штрафной журнал записывают... На гауптвахту садят, дежурствами донимают... Всё мы терпеливо переносили, всё переносили, только прислушивались, нет ли вестей о возврате... Разно сказывали. Что ни день, то новость! То говорят, что всему конец, усмирена Польша, то — что наши верх берут, пленников захватили много и меняют на своих... Между прочим, прошёл слух, что вся рота наших с оружием и амуницией по поддельным бумагам улизнула на родину. Тут уж никто не в силах был усидеть!.. Стали мы по углам собираться, потихоньку советоваться. Принялись нас ещё пуще стеречь, не пускали из лагерей и казарм ни шагу, даже в караул нас, поляков, за город не посылали, а то часто приходят снять караульного, а на его месте остались только шапка да ружьё, а солдат... адью-фрузью! Был в нашей роте некто Шмидт. Он нам говорил, что — поляк. Шмидт, пускай Шмидт! В наших городах много людей с немецкими фамилиями — правильными оказываются поляками. За такого мы и Шмидта считали, только впоследствии уже оказалось, что он был из немецких переселенцев... На вид казался — мужик ничего. Даже больше: мы его считали за лучшего... Проныра, смекалистая башка... Извернуться ли в беде, штуку ли кому-либо подстроить, властям надлежаще ответить — всё за первый сорт делал! По его совету, мы в начале притаились, стали смиренны, послушны, по службе исправны... А тем временем потихоньку копили деньги, собирали сухари и, когда однажды нас отправили в баню, вместо белья взяли узелки и... адью-фрузью! Восемь нас тогда человек сразу убегло. Всей бандой двинули на запад... Сквозь леса, сквозь дебри, болота и степи, избегая людей, обходя сёла, пробирались мы, точно волки, по ночам в эту нашу милую Польшу... Шмидт кой-что соображал по карте, были среди нас и полесовщики, которые узнавали путь по звёздам. — Долго мы так благополучно странствовали, пока не поели всех сухарей и не пришлось нам заходить в деревни за хлебом. Тут и начались неудачи, прямо отчаяние. Кто пойдёт за покупкой, тот редко вернётся. Выдавал нас выговор. Когда мы впервые увидели издали, как мужики ведут нашего связанного товарища в село, хотели броситься на деревню, сжечь её... Шмидт удержал нас: он всё

доказывал, что не след ради одного стольких людей несчастными делать. Мы решили ходить за хлебом по жребью. С тем, кто уходил, прощались, как с обречённым на смерть. А когда он возвращался благополучно, будто такая охватывала всех радость, — шапки оземь, ур-ра! объятья, пир!.. Чем дальше, однако, двигались, тем становилось хуже и труднее. Несколько раз натыкались на войско, но успевали скрыться. Раз дровосеки хотели нас взять в волость, но мы отняли у них топоры и самих связали, хотя их и было больше, чем нас. В деревне, где волость, и носа показать нельзя было. Шли мы, голодая, питаюсь корешками да щавелем. И вот в такое-то время Шмидт оставил нас. Утром как-то проснулись, смотрим — нет нашего вожатого — убёг! Деньги, карту, бумаги, даже вещи, что получше, все забрал и исчез. Сначала мы опешили, одурели... Куда деться, куда направиться — ничего не знаем... Он за нас думал. Одни говорят: москалям сдаться, другие — изменника искать, третьи — идти, пока сил хватит... Один с горя даже повесился. Ушёл, молча, в сторонку и раньше, чем мы разговор окончили — готов. Тут такая меня охватила злоба, что, пальцы положивши на петлю висельника присягнул я: изменника из-под земли добыть и не простить... И что скажете: мы ведь его поймали! Идёт себе тропиночкой среди хлебов, узелок на палке за спиной несёт, колосья, что под руку на пути попадают, спокойно рвёт и зерно в рот сыпет... Будто ничего не случилось!.. Песенку под нос себе мурлыкает... Вдруг мы поднялись из травы... Побледнел, как привидение, молча руку к нам протянул, будто отталкивает... А мы...

Тут пан Ян значительно улыбнулся и медленнее обыкновенного полез в карман за табакеркой.

— А вы?.. — проговорил кто-то, менее сдержанный.

Вдруг двери юрты с громом растворились и влетел убелённый инеем Делиль, который давно уже куда-то исчез.

— Господа!. Исправник, помощник, командир, Варлаам Варлаамович... весь город... едут... Сейчас здесь будут!.

— Что такое?

— Где?!

— Как?

— Зачем?

— По какому поводу?

— Где же это ты был, Мусья?!

Они забросали его вопросами, в замешательстве поднявшись с мест.

— Где был, там был! — ответил важно француз. — Только, честное слово, не лгу. Черевин их подбил... Вот они уже приехали, слышите?!

Действительно, лошадиный топот и позвякивание колокольчиков вдруг стихли и оборвались у подъезда юрты. В избу вбежал казачий пятидесятник и, придерживая открытыми дверями, почтительно прошептал:

— Его высокоблагородие начальник округа... сейчас будут...

В то же время в дверях показался закутанный в меха мужчина. Гордым движением он сбросил шубу на руки казаку, вежливо поклонился всем головою и сделал несколько неуверенных движений в сторону политических ссыльных, столпившихся в глубине юрты.

— С праздником!.. Развлекаетесь, господа? — спросил он с улыбкой, взглядывая на стоящую на столе бутылку. Ему придвинули стул, но никто из присутствующих не ответил на его вопрос. Между тем, в юрту входили все новые и новые гости и останавливались позади исправника. Становилось тесно и душно; неприятный запах выпитой, прогорелой водки, пряных приправ и турецкого табаку отравили и без того испорченный попойкой воздух избы.

— Что же вы, господа, поделяваете? А может быть, мы помешали? Может быть, какое-нибудь важное совещание? — пробовал шутить начальник округа. По мере того, как он трезвел, он чувствовал всё сильнее двусмысленность того положения, в которое он позволил себя вовлечь. Это был первый его визит к политическим ссыльным.

— Господа, господа!.. Надо жить с людьми и... для людей... — бормотал крепко пьяный Черевин, проталкиваясь сквозь толпу от порога. — Спой что-нибудь, голубчик. Самуил, ты наш... со-ло-вей...

Ссыльные все молчали, сбившись в кучу. Один Делиль пролепетал какое-то извинение. Положение становилось всё напряжённее.

— А нет ли каких-либо жалоб, претензий?.. — спросил вдруг по-чиновничьи исправник, приподымаясь со стула.

— Нет, совсем нет!.. Мы бы их доставили в... полицию! — ответил предупредительно, но твёрдо Александров.

Исправник опять сделал головой общий поклон и, получивши в ответ такое же прощание, кивнул на казака, чтобы тот подал ему шубу.

И гости ушли, как пришли, шумно, надменно, через-чур широко, по-барски раскрывая двери и выстуживая юрту.

II. Леса, болота и горы.

I.

Когда зимние снега оденут землю, когда побелеют от инея леса, окрестности Джурджуя, вся принадлежащая ему горная страна превращается как бы в громадный табор великанов, застигнутых неожиданно зимою в пути,

беспорядочно улёгшихся и уснувших под общим белым покрывалом. Загораются ли над ними розовые зори, серебрится ли лунная звёздная ночь, или солнечный свет сияет радужным блеском, они спят всё тем же сном беспробудным, всё также неподвижные и безучастные. И только в дни особенно тихие и морозные лёгкий туман, дымящийся в глубоких падах и в чащах тайги, намекает, что там, под снегами, что-то дышат, что-то живёт... Изредка прокатится по окрестностям глухой гул, похожий на мощный вздох или стон, и дрогнет от него земля, и посыплется снега и хлопья инея с древесных ветвей.

Долина Джурджуя ничем не отличается от своих соседок. Кругом неё поднимаются такие же зубчатые вершины, белые, дикие, недоступные и совершенно неисследованные — как и кругом других долин; они так же отчётливо обозначаются на тёмном небосклоне и так же мертвенно белы, как их соседки, и придают окрестностям такой же вид холодного, мраморного исполинского кружева, перевитого узором лесов. Кольцо гор, на первый взгляд, плотно смыкалось кругом Джурджуйской долины, но, в сущности, в нём были два пролома — две скалистые щели, сквозь которые вривалась в долину и уходила из неё бурная река Джурджуй, стремительно несущаяся среди караванов гор к далёкому океану.

Маленький веночек пятидесяти джурджуйских домов почти бесследно исчезал в белой снеговой усыпальнице долины. Только узенькие жёлтые нити дорог, сбегających к одному центру, да небольшие порубки по тайге указывали на близость «столицы пустынь», как называл городок местный учитель. Чтобы оценить верность учительского определения, необходимо было пространствовать недели по этим нитевидным дорогам, заскучать по человеческому обществу и человеческому жилищу. Тогда и город Джурджуй казался великолепным. Все дома «столицы», между тем, были отменно плохи, построены в безобразном русско-якутском «общегубернском» стиле. Плоские кровли, стены из круглых брёвен, обмазанных глиной, смешанной с навозом, окна маленькие, двери низенькие, обшитые косматой коровьей кожей. Во дворе обыкновенно помещались амбары с плоскими крышами без окон, иногда, у богатых, соединённые с жилым помещением крытыми сенями.

Таковы были джурджуйские «дворцы».

Среди них, точно дорогой топаз в венце «столицы», горел большими стёклами окон жёлтый дом полицейского управления. Он был покрыт остроконечной кровлей, обладал вполне европейской наружностью и стоял особняком на небольшой площадке, что производило впечатление, как-будто остальные строения пугливо раздвинулись, избегая столь лестного соседства. Ближе всего к полицейскому управлению стояла «караулка» и казённые магазины соли и муки. Далее, на север и юг, рядами тянулись дома местной

аристократии — помесь европейской и якутской архитектуры. Заканчивались они на юге церковью, на севере — кабаком богатого якута Таза. Отсюда венок домов переходил на другой берег озера, где ютились исключительно юрты бедняков. Эти постройки принадлежали уже совершенно к местной архитектуре и напоминали летом громадные кучи навоза, а зимою — снеговые бугры с ледяными оконцами, крошечными, точно глазки туземцев. Посередине этих жилых бугров подымались жерла деревянных труб, вечно изрыгающих дым, пламя и искры.

Цепь строений в обоих кварталах города была редка, так что везде просвечивала тайга; местами лес и болота прямо проникали внутрь города, заставляя улицы делать изгибы и повороты. Случалось, что из кустов уже в самом городе выскакивали зайцы или вспархивали стаи белых куропаток. Обыватели рассказывали, что приходили сюда и лисицы и даже волки, а местный поп, почтенный отец Акакий Ферапонтович, утверждал, что раз повстречался там даже с «окаменелым мамонтом».

Все ссыльные, исключая Черевина, жили в квартале бедняков.

Наступила зимняя морозная ночь, вверху — звёздная, внизу — туманная. Негорский, стоя на крыше своей юрты, тщетно доискивался в расстилавшихся под ним туманах юрты своего друга, Александрова. Она бесследно исчезла в причудливом, мутном узоре белой мглы, тёмных, угловатых пятен строений, трепетных огней в окнах и кровавого блеска пламени, густо вылетавшего из низких труб. Негорский уже собирался спуститься вниз, когда вдруг услышал скрипящие по снегу шаги и заметил знакомую фигуру, бойко шагающую по озеру.

— Пан Ян, вы куда это? — окрикнул он прохожего сквозь сложенную в рупор ладонь.

— Аа?!.. Это вы!.. К Тазу иду, поиграть в картишки!.. Что-то скучно!..

— Не знаете, где Красусский?

— Как не знать! Знаю: сидит у меня и, будто, сапоги тачает!.. Ну и шьёт, чёрт его возьми!.. Если б было шитьё, разве я бы ушёл!.. Конечно, пустое... Старуха моя его ругает, а он втихомолку за Майкой ухаживает!..

— Не говорил он вам: Александров дома, или нет?

— Нет, не говорил. А вы всё о том же, о... своём... Э-э...х! скверно!.. Нет моего согласия!.. Спокойной ночи!

— Что?!. Что такое?!.. Разве случилось что-нибудь новое?

Ян, в ответ, махнул рукою и исчез. Туман поглотил его. Негорский сошёл с крыши. Немного погодя, тепло одетый, он уже направлялся по озеру к жилищу, помещавшемуся на том берегу, прямо против полицейского управления. Но он не сразу вошёл в дом, и долго гулял задумчиво по тропинке, не замечая ни холода, ни скрипа снега, пронзительно звучащего под его сапогами, не

чувствуя, как коченеет на нём платье и как иней оседает на его усах и шапке. Он всё размышлял об Александрове и о своём к нему отношении, он боялся испортить всё дело чрезмерной поспешностью и уступчивостью.

— Ах, это самолюбие, которое примешивается везде и ко всему и всё портит! Неужели нет людей, совершенно свободных от него? Не лучше ли подождать?! Вышло бы много ловчее, если-б этот упрямец сам обратился первый! Насколько я его знаю, прямо не мыслимо, чтобы проект побега не задел, не заинтересовал его!.. Он чувствовал бы себя несомненно обиженным, если-б я не предложил ему! Между тем, он не... является. Что всё это значит не пойму! Как мало в людях простоты? Ведь времени-то мало, а работы много, а тут ещё возись! Или... поведение его означает, что он не согласен?.. Тогда, тогда... мы бы двинулись втроём: я, Красусский и Воронин. Пусть будет, что будет!..

Негорский остановился решительно перед юртой Александрова и взглянул в её тёмные окна.

— Нет его. Куда он мог пойти? Разве к Самуилу. Возможно, впрочем, что он сидит в своей каморке?

Негорский открыл двери и вошёл.

— Кто там? — окликнул его знакомый голос.

— Это я, Негорский. Что так... в темноте? Ради сбережения?!.. Не зажигай, не зажигай!.. — пробовал он остановить Александрова, который чиркнул спичкой. Тот пробормотал что-то сквозь зубы и зажёл свечку. Затем вынул изо рта потухшую трубочку и принялся набивать её свежим табаком из стоящей на столе коробки. Крупная фигура его в коротеньком тулупчике, в меховой шапке на голове, с широко расставленными локтями, казалась ещё неуклюжее при этом кропотливом занятии. Александров помалкивал и оглядывал гостя вопросительным взглядом. Тот разделся, сел, но тоже молчал. Тогда хозяин принялся опять гулять по избе тем тяжёлым, мерным шагом, каким ходят заключённые, привыкшие двигаться на маленьком пространстве.

— Что-ж: гора довольна, что Магомет явился? — спросил, наконец, Негорский.

Александров остановился и поднял брови.

— Согласись, что это прямо позорно, что два честных человека, два товарища, загнанные на край света, прекращают сношения, изменяют дружбе только потому, что один сказал то, а другой другое!.. — начал мягко Негорский. — Или ты нашёл уже такое руководство, такой рецепт, который точно и непреложно позволяет тебе отличить безусловную истину? Разве в сущности мы не стремимся к тому же? Так нет же: всё должно быть по-твоему, всё должно походить точь в точь на то, что исповедуешь ты?

— Вовсе нет! — ответил ворчливо Александров.

— Но ведь не скажешь же ты, что не сердился на меня? Ведь ты две слишком недели не являлся ко мне!

— Да, но и ты не являлся!

— Это другое дело. Я не ходил к тебе и раньше. Так сложились обстоятельства. Ты сам признавал, что у вас невозможно поговорить по душе, что постоянно вертится здесь Мусья или Красусский куёт. Так сложилось, что ты ходил ко мне. Когда ты не пришёл под ряд два дня, я понял, что не хочешь встречаться со мною. А в праздники? как ты со мною обращался? Честное слово, ты много нежнее был даже с... Петровым.

Александров улыбнулся.

— Действительно, ты задел меня, — проговорил он неохотно. — Ты крайне резок в споре. Бьёшь словами, точно палкою. Но хуже всего, что ты извращаешь возражение оппонента, пользуешься его отдельными неудачными выражениями, притворяешься, что не понимаешь противника чтобы смутить его, между тем — всем ясно, что прекрасно понимаешь... Подчас это возмутительно... Я долго мирился с этим, прощал тебе нехорошие выходки, подкупленный твоей горячностью и искренностью. Я предостерегал тебя, что это дурной способ обращения с людьми, что ты не убеждаешь их, а отталкиваешь своей страстностью. В последний раз ты превзошёл самого себя в исступлении...

По лицу Негорского прошла лёгкая судорога.

— Хорошо. Допустим, что я невозможен, но в последний-то раз и ты... Вообще упрекать друг друга нам в тот раз не в чём... Разве ты не сказал мне, что я сознательно подтасовываю факты, что я беру в доказательство из всякого события только то, что мне удобно... А ведь если-б я даже поступал так, то я именно следовал бы твоей теории: ведь нет объективной истины, ведь нет у человечества других мировых мерил, кроме личных ощущений... — защищался страстно Негорский.

— Опять пошла метафизика!.. — проворчал Александров.

— Совсем нет, а впрочем... пусть будет метафизика. Я не за этим пришёл к тебе. Прости мне, если я задел тебя. Дай руку!.. Ты мне дорог, и ты это знаешь!. А теперь ты мне нужен!..

Они обнялись.

— Враг нас давит, а мы ещё ссоримся, друг другу подбавляем горя!.. Странная вещь человеческая природа! — говорил Негорский, беря под руку товарища и прогуливаясь с ним по избе.

— Иногда и ссора пригодится. Сознайся, что, если-б не она, этот отчаянный проект побега не пришёл бы тебе в голову.

— Возможно. И раньше он мне мерещился, но неясно. В эти две недели меня страшно мучила тоска!.. Не с кем было слова сказать. Ты их знаешь: Самуил

остроумен, но холоден, как джудржуйский ландшафт, в повседневных сношениях часто невозможен. Он всё скрытничает, подстерегает всякое слово, ко всякой мелочи придирается. В сущности, порядочный и честный человек, но... откровенничать с ним я не люблю. Петров чересчур влюблён в собственное красноречие, не любит и не умеет слушать других. Гликсберг склонен слушать только Петрова. Словом, не с кем было душу отвести, не с кем поделиться мыслями. Выйду на прогулку, взгляну на окрестности: снег, холод, туман... А вверху всё та же непроглядная занавесь бесконечной, беспросветной ночи. Тишина, только собаки воют. Тьма, назойливая, отвратительная, непобедимая тьма. И завтра, И послезавтра всё то же самое... Ужасная, умопомрачительная тьма! Возвращаюсь с прогулки домой, ничуть не освежившийся, такой же измученный и раздражённый, как и раньше... Тоска разъедает мозг, отравляет кровь, сосёт сердце, гонит прочь сон... грызёт непрерывно, хуже лютого зверя!.. Довольно! Я не в силах дольше терпеть... Почему проект мой кажется тебе отчаянным?

Александров на мгновение задумался, затем взял со стола свечу и повёл друга в соседнюю комнату за перегородку, где стояла его кровать, над которой висела такая же карта Сибири, как у Негорского.

— И я не раз думал о побеге... Впрочем, послушай раньше, что сообщу тебе о твоём плане. Сознайся, что об этих местностях, по которым пролегает твой предполагаемый путь, ты ровно ничего не знаешь. На сведения, почерпнутые из карты, смешно опираться. Ведь . известно, что там никто не был. Большинство местоположений гор и рек назначено прямо наугад, приблизительно, по указаниям туземцев. О характере дороги тоже знаем не больше. Значит, идти придётся наобум, и приготовиться необходимо ко всяким неожиданностям. Приготовления, самые скромные, стоят дорого, а мы бедны, очень бедны. Мы не можем мечтать о покупке лошадей. Впрочем, это не мыслимо ещё потому, что сразу обратило бы на нас внимание. Но у нас и без того нет средств даже на покупку оружия, провианта, одежды, а всё это нужно нам хорошее, новое, лучшего сорта. Из нашего содержания мы не в состоянии урезать уже ни копейки. Мы и без того голодаем. Пособие рассчитано так, что при самой нищенской жизни мы наши месячные «бюджеты» заканчиваем обыкновенно с дефицитом. Заработков нет. Не вижу источника, откуда мы могли бы добыть двадцать, даже десять рублей, а расходы на побег пахнут сотнями. Остаётся пойти в тайгу прямо с топором за поясом и только!

— Значит, ты не согласен.

— Я этого не сказал. Наоборот. Только это уж будет не побег, это будет протест. Пойдём — и погибнем. За то обратим внимание политических ссыльных, брошенных в такие же, как наша, трущобы. Колеблющиеся или

ослабевшие товарищи услышат о нашем протесте, окрепнут, воспрянут духом, устыдятся...

— Или пуще оробеют! — подумал Негорский. — Хорошо, — сказал он громко, — меня, главным образом, интересует на этот раз твоё согласие. Ты беги для протеста. Прекрасно!.. А мы побежим потому, что хотим убежать. Я глубоко верю в возможность успеха. Не так уж всё худо как кажется. Ты только послушай...

Он подсел на кровать к Александрову и, живо жестикулируя, стал ему доказывать. Александров, грузно нагнувшись, внимательно слушал.

— У нас есть кой-какие вещи. Мы можем собрать их и разыграть в лотерею. Мусья прекрасно нам это устроит...

— Ах, этот Мусья! Прежде всего необходимо убрать его самого из нашей юрты и держать всё время по возможности дальше. Он все разболтает.

— Хорошо. Будем его держать подальше, но уже... после того, как он распродаст наши билеты. Затем, как только мы окончательно решим наш побег, я сейчас же напишу к родственникам, чтобы они выслали на имя Таза несколько сот рублей. Таз, тем временем, откроет нам кредит. Я уже говорил с ним об этом, и он почти согласился. Всё нужное нам для прожития возьмём у него, даже лишнее возьмём. Чай, табак мы можем понемногу распродать. Таким образом, мы скопим немного денег. Затем постараемся ещё сократить наши личные расходы. Перестанем, например, есть хлеб, заменим его якутским маслом; бросим курить, переберёмся все в одну юрту...

Он долго перечислял все эти сбережения, не пропуская мельчайшей подробности, благоприятствующей предприятию. Это было удивительное кружево мечтаний и надежд до того тонких и воздушных, что достаточно было разорваться одной нити, чтобы всё расстроилось. Александров часто покачивал головою, но молчал. Красусский, который незаметно вошёл в юрту, остановился в дверях и глядел на них с улыбкой.

— Только ты, Матвей с розгой, да ты, Матвей с дубинкой, согласитесь оба!.. — сказал он вдруг по-польски стих Мицкевича.

— А!.. Ты пришёл. Хорошо. Я повторю тебе всё, к чему мы пришли! — обратился к нему Негорский, поднимая голову.

Он пересказал юноше вкратце возражения Александрова и свои замечания и ответы.

Красусский добавил несколько слов от себя.

— Карту лучше нашей, — кажется, десятивёрстную, — я видел у учителя. Её можно достать. От него также можно получить много сведений относительно дороги. Учительша ведёт торговые дела с тамошними туземцами. Дети многих из них обучаются в городской школе. Учительская кухня всегда полна всякого

рода инородцев. Лотерею тоже не трудно будет устроить при помощи учительши, которая очень к нам расположена.

— Даже к нам... — подчеркнул Негорский, взглядывая исподлобья на Красусского.

— Ну, да! Оба они хорошие люди. — Он даже охотно посещал бы нас, да боится исправника. Как-то он сознался мне, что в глубине души он социалист... — рассмеялся юноша. — Пойду к ним завтра и выпрошу кой-что осторожно. Распродажу билетов тоже беру на свою ответственность. Поговорю об этом с учительшей и с Мусьей...

В конце юноша добавил, что из его вещей, кроме часов, годятся для розыгрыша также охотничьи сапоги с голенищами и «совсем ещё порядочная» куртка. Он выразил при этом сомнение, выгодно ли будет уйти из юрты Негорского ради нескольких рублей сбережения.

Она стоит на краю города, примыкает к кустам и к озеру, оттуда удобнее всего отправлять за город вещи и выводить лошадей. По его мнению, там следовало бы устроить мастерскую, а сухари и мясо сушить в юрте Александра. Сюда придётся никого не пускать; теперь этого нельзя сделать, так как, пока в юрте Александра мастерская, нельзя запретить ходить в неё людям, не возбуждая подозрений.

Они решили попросить Мусью поискать себе квартиру; на его место к Александру должен был перейти Негорский, а Красусский переселялся в юрту Негорского и переносил туда свою мастерскую. В то же время они постановили с завтрашнего же дня начать собирать сведения, искать денег и лошадей... одну лошадь, две лошади, трёх лошадей... сколько возможно... Затем решили исподволь приучать жителей Джурджуя и его властей к своим отлучкам за город, на охоту и подальше в окрестности...

— Действительно. Мы сидели дома, точно сычи... — заметил Негорский.

— Не зачем было! Главное — осторожность!.. Говорить самое необходимое, и только тем, которые участвуют в деле... — заметил Александров.

— Все конспиративные разговоры с «верными людьми» ведут, в конце концов, к провалам и только. Люди невольно выдают себя намёками, недомолвками, замечаниями, по-видимому, невинными и понятными только им. Ненавижу все эти шептания знаки конспиративные, условности, ненавижу конспирацию... Поэтому я рад, что Петров и Гликсберг не участвуют... Опасаюсь я также твоей учительши... Об этой бабе разное толкуют, и не всё хорошее... — обратился он к Красусскому.

— И я тоже... опасаюсь! — сказал значительно Негорский. — Красусский покраснел до ушей, насупился и ушёл вглубь квартиры.

— Нельзя улыбнуться, сейчас сплетни. Правда, учительша хороша собой, но что из этого! Я посещаю их, потому что они меня любят, а любят они меня за

весёлость... Негорский думает, что только ссыльным скучно и тоскливо в Джурджуе!..

Неприятно было Негорскому возвращаться в тот вечер в свою пустую юрту, но делать было нечего. Александров ложился рано и рано вставал по утрам. Под конец он, сонный, вялый, не отвечал на вопросы и, казалось, мало вникал в то, что ему говорилось. Красусский спал, не раздевшись, на кровати. В довершение явился Мусья, помешал занимавшему их разговору и стал рассказывать городские сплетни и слухи. Негорский ушёл, возбуждённый и расстроенный. Когда он подходил к своей юрте, мимо него в морозном тумане промелькнула размашистая, косматая фигура.

— Воронин, это ты?!

— Это ты Негорский!.. Прекрасно... Тебя-то и ищу!..

— Что случилось? Мчишься и сопишь, Точно пароход! А может быть, только так... поболтать!

Воронин долго размышлял.

— Нет!.. В сущности, ничего. не случилось... Но, например, что бы ты сказал, если бы... воздушный шар, а?

— Воздушный шар?! Прелесть!.. Но войдём в юрту, а то холодно.

— Оболочку, вместо китайки, мы бы могли сшить из ситцу, насыщенного непромокаемым раствором, водяным стеклом или мылом, обработанным квасцами... Светильный газ можно получить, перегоняя древесный уголь в жестяных коробках. Я говорил уже об этом с Красусским, и он не видит непреодолимых препятствий. Ведь нам нет нужды высоко подыматься. Лишь бы только немного выше лесу... А ведь как славно полетели бы мы, неправда ли?! То-то джурджуйские обыватели открыли бы рты!.. Понеслись бы мы?!.. Что?!.. Понеслись!..

— Ой, ой!.. И как ещё полетели бы!.. — весело подхватил Негорский.

Друзья вошли в юрту, и долго в эту ночь блестел у них свет в окне.

II.

Исправник слушал, молча, и осторожно скрёб бритвой по своей щетинистой щеке. От времени до времени он помогал себе языком, выпирая вперёд менее доступные для бритвы места, или хватал себя за большой нос и оттягивал его в сторону. Он казался совершенно поглощённым этим делом, тем не менее, внимательно следил в зеркало за удлинённым отражением денщика, стоявшего за ним с утиральником в руках, и за мохнатой фигурой Мусьи, сидевшего поодаль на стуле. Француз говорил неумолчно, поясняя речь широкими жестами. Красный отблеск, бьющий от красных обоев, от малинового одеяла, брошенного небрежно на незастланной кровати

исправника, от тяжёлых алых занавесей и портьер у окон и дверей, странно окрашивал все предметы и лица присутствующих. Начальник округа очень любил красный цвет, который, как будто, делал его «генералом», хотя, в действительности, он был всего только капитаном. По тем же побуждениям, любил исправник и свой «бухарский» халат с красной подкладкой и красными широчайшими обшлагами.

Исправник выпался, красный туман и рассказ Мусьи настраивали его весело.

— Кто женится?! — спросил он неожиданно и положил бритву. Мусья замолк и широко открыл рот, изумлённо улыбаясь.

— Да я этого вовсе не говорил. Я только говорил, что мне приходится оставить прежнюю квартиру, что я новую искал по всему городу, и что все отказываются... В такой мороз не могу же я поселиться на улице, поэтому...

— Но все-таки... откуда всё пошло? Я знаю хорошо, Мусья, что у вашей нации всё начинается от женщины. Шерше ла фам!.. — добавил он с убийственным выговором.

Приятная улыбка разлилась по лицу Мусьи.

— Вот видите, в чём дело: Красусский переносит свою мастерскую в юрту Негорского, а Негорский перебирается к Александрову... А так как Негорский отчего-то меня не любит, то...

— Вот как!.. — протянул исправник. — Но при чём тут я и чем вам могу помочь!?! Не могу же я мужьям запретить опасаться вас!.. Разве, что вы примете православие и поступите в монахи. Впрочем, знаете, вот что сделаем: отправляйтесь к доктору Краснопёрову. Жена у него красавица... Там вам будет недурно. Скажите, что я послал вас к нему. Отлично, великолепно!.. Вот хорошо придумано!.. Я сейчас пошлю с вами казака, чтобы он разыскал вам квартиру; но вы обещайте, что раньше всего отправитесь к доктору. И прямо идите в спальню. Скажите, что эту именно комнату я и отвёл вам, что это... отчуждение в видах государственной пользы... Будете помнить?! А?.. Постарайтесь заметить там всё, что увидите, а затем мне доложите... Поняли?.. Ничего не опасайтесь... Прямо в спальню валите!.. Ванька!.. — крикнул он на денщика, — отправляйся сейчас в караулку и зови сюда немедленно Голиафа! Слышишь! Живо!

Мусья вмиг понял, в чём дело, и глаза у него игриво засверкали. Он немедленно собрался в поход.

— Я пойду вместе с Ванькой. Так будет скорее. Докторша, чего доброго, в церковь уйдёт. Иду, значит. Что они мне сделают, ничего не сделают. Скажу, что вы меня послали. Когда товарищи меня не хотят, пусть знают...

Долго, по уходе Мусьи, исправник улыбался, рассматривал в зеркало своё лицо, покручивал усы и думал об аппетитной докторше и сердитой роже разобиженного супруга.

Обыватели, увидя Мусью, шагающего столь рано по улице, рядом с самым крепким и рослым в городе казаком, по направлению к квартире доктора, останавливались и покачивали значительно головами. Женщины, оповещённые о событии ребятами, не смотря на стужу, выходили торопливо в домашних платьях на улицу, чтобы не лишиться, Боже упаси, интересного зрелища.

Вскоре из дома доктора выскочили обратно Мусья с Голиафом, а затем выбежал оттуда сторож с листом бумаги и помчался, сломя шею, к Черевину. Общее любопытство было возбуждено до нельзя. Мусья был забросан вопросами, но таинственно отмалчивался и только сетовал, что все притворяются его друзьями, а не хотят нанять ему квартиру, Любознательные обыватели обращались к Голиафу, но тот хлопал глазами и уверял, что ничего не знает, так как его дальше кухни не пустили.

Исправник, не смотря на «обиду», какая постигла его официального представителя, был чрезвычайно всем случившимся доволен. Городишко зашумел, точно тронутый улей. Пьяный доктор вышел на крыльцо и угрожал «всей полиции», что ей «поломает кости!»

Джурджуйская оппозиция, с помощником исправника во главе, как всегда в таких случаях, подняла голову. Денисов, полицейский писарь, первый в городе дон-жуан, был замечен, когда входил в дом Козлова, дочь которого считалась красивейшей девушкой города. Об этом сейчас же доложили исправнику.

— Хорошо, я их сосватаю! — улыбнулся начальник и, как гром с ясного неба, обрушился с ревизией на больницу, где Козлов был главным поставщиком продуктов. Оттуда начальство отправилось в школу, где тоже свила гнездо оппозиция. Оно везде нашло большие «беспорядки, упущения и нарушения», и везде раздавались грозные окрики: «под суд!» Все перетрусил, так как расходившееся начальство било в обе стороны по своим и по чужим. В замешательстве дело Мусьи было забыто. Он сам не являлся больше к товарищам; даже за вещами не сам пришёл, а послал якутку Желтуху, в чьей грязной и отвратительной юрте он нашёл временный приют.

Вечером появился у Александрова Черевин. Он горько жаловался на свою судьбу, на ложное положение, в какое его поставила неуместная шутка Мусьи.

— Конечно, он в спальню не проник, его не пустили, но доктор страшно расвирепел и, представьте себе, напал на всех политических, а прежде всего, конечно, на меня. Чудаки! они обязательно требуют от нас какой-то круговой поруки. Никто не разубедит их, что это немыслимо и несправедливо, что мы не можем отвечать за поступки единичных личностей, что среди нас есть самые

разнообразные люди. Даже эскулап, который жил в столице и окончил университет, не разбирает этого и взваливает на нас ответственность за все. Он требует, чтобы мы... влияли на Мусью!.. Остроумно, нечего сказать! Я с трудом втолковал ему, что это не «интрига» политических ссыльных, лучшим доказательством чего служит присутствие казака. Тогда он написал оскорбительное письмо исправнику. Последнему, в свою очередь, сказали, что это я указал доктору на него, как на «зачинщика» всего скандала, и теперь исправник на меня дует, не ответил на мой поклон на улице и притворился, что смотрит в другую сторону. Мне до смерти надоело это вечное влияние между пьяным доктором и самонадеянным «помпадуром». Не знаю, чем всё это кончится! Предполагаю, что устроят меня от больницы и запретят практику. А пока возгорится с поставщиками и фельдшерами вновь борьба из-за каждого грамма лекарства, из-за каждого бинта, из-за полена дров и куска мяса для больных. Мои распоряжения будут высокомерно замалчиваться и оставаться втуне. Уже сегодня Козлов прислал такое мясо, что больные задыхались от одного запаха. Правда, он попался, — исправник устроил, как раз, ревизию, — но доктор будет защищать его назло исправнику, и ничего ему не сделают. Иногда меня, право, берёт охота плюнуть на всё и уйти в книги, в науку, как вы... Но я чувствую, что это мне не под силу. Я, прежде всего, практик, я привык трудиться и жить... Для книжной работы я ещё чересчур молод и в то же время чересчур уже стар для... фраз.

Долго ещё говорил Черевин в этом духе и закончил свою речь выговором товарищам, что они прогнали и оставили без призора Мусью.

— Так вот в чём дело!.. — пробормотал Негорский.

— ...Обычные последствия доктринёрства! — продолжал, между тем, Черевин. — *Pereat mundus!*¹ Он шокировал вас своими выходками. Понимаю. Он, действительно, бывает невозможен, хотя, в сущности, добрейшее существо, добрый и честный малый!.. С этим всякий согласится. Без вашей поддержки он сделается ещё глупее, но лучше не сделается. Между тем, джурджуйские прохвосты перед нами будут упражняться в бесцеремонном обращении с политическими. Мы для них бельмо на глазу. Мы отличаемся от них во всём, точно другая раса людей. Они это сознают и ненавидят нас. До сих пор они относились к нам с наружным уважением, так как мы импонировали им нашей солидарностью, дружностью и нашим... *fraternité*². Удаление Мусьи из нашей среды разрушает это понятие. Попробуйте разъяснить им, что Мусья не наш, что он попал в ссылку случайно, как жертва белого, нелепого террора³, что у

¹ *Pereat mudus!* – часть изречения *Pereat mundus, fiat justitia!* (Да свершится правосудие и да погибнет мир!), приписываемого германскому императору Фердинанду I. – прим. перев.

² *fraternité* – братство (франц.) – прим. перев.

³ Белый террор – общее название репрессий, проводимых роялистами или в более общем плане консерваторами в отношении революционеров, последовавших за революционным эпизодом или покушением на представителей

Мусьи мало общего с политикой, идейностью, общественной деятельностью. Они не поймут вас и не поверят вам...

— Так в чём же дело? Берите его к себе! — вставил неожиданно Негорский.

— Я?.. — удивился Черевин. — Это совсем особый вопрос: могу ли я это сделать? У меня занятие, которое никак не мирится с присутствием этого чудака. Ваше предложение ставит для меня ту же дилемму: Мусья, или больница и практика. И я, конечно, выбираю последнее. Я только таким образом могу использовать свои силы и своё знание. А вы?.. Чем занимаетесь вы?..

Товарищи сильно были раздражены и его доводами, и, особенно, тоном, но молчали. Даже Самуил ничего не ответил и только курил «азартно» папироску за папироской. Воронин вспыхнул было, но Негорский дёрнул его за полу. Черевин ушёл крайне недовольный их поведением и отношением к нему. По поводу политических у него были с обывателями и джурджуйскими властями постоянные столкновения и неприятности, которые он терпеливо переносил за те редкие минуты сердечных с товарищами разговоров, за те освежающие споры и идейные волнения, которые они доставляли ему. В последнее время всё это неожиданно притихло.

— Не скоро увидят меня! — раздумывал Черевин, закутываясь плотно в меховую доху и степенно уходя от дома товарищей в холод и темноту туманной ночи. — Шалые люди!.. Опять, видно, что-то задумали, что скрывают от меня. Хорошо!.. Пусть!.. Но я не обязан гибнуть вместе с ними, особенно, если они не доверяют мне!..

— Зачем вы не сказали ему? — упрекал товарищей Воронин после ухода Черевина.

— Вот что, Ворон, ты днём спишь, а ночью читаешь умные книжки, поэтому, естественно, не знаешь, что творится на белом свете... — пошутил Негорский. — Черевин постоянно вращается среди... этих господ. Для него же лучше, если он не будет ничего знать. Может случиться, что он, лишившись... ясности ума на одной из многочисленных пирушек... нечаянно обмолвится. А после отвечать будет. Черевин недостаточно ловок и опытен в таких делах. Даже теперь: зачем он вмешался в эту нелепую и смешную историю с Мусьей? Зачем он счёл нужным оправдывать себя и нас перед доктором? Зачем впутал в дело исправника? Он мог ведь предвидеть, что эти чинуши друг другу особенного вреда не причинят... Да и скажите на милость, какое нам до этого дело?.. Конечно, теперь всё обернётся против не го. Выходит как будто он защищает нас. Между тем, для нас тем хуже, чем больше о нас говорят и чем больше обращает на нас внимание городская публика... Так-то!

— Пусть всегда события сами за себя говорят. Не следует комментариями усиливать их свыше меры и не следует ослаблять их действия разговорами! — добавил Александров.

— Это верно, но не всегда. С Мусьей следовало обойтись помягче, следовало ему вежливо объяснить, в чём дело. Я уверен, что он сделал глупость из огорчения. Теперь трудно будет без него распродать билеты... — пробурчал Красусский.

Негорский взглянул на него протяжно, и кулак, которым он подпирал голову, тяжело опустился на стол.

— Что-ж делать: где дрова рубят, щепки летят! Если-б мы вежливо обошлись с Мусьей, мы бы никогда от него не избавились. С такими лицами следует обращаться решительно, чувствительность надо отложить в сторону для лучших времён. Впрочем, уверяю вас, Красусский, что Мусья куда меньше это почувствовал, чем вы!..

— Бог знает, куда зайдём, так рассуждая!.. — вскрикнул, вставая, Красусский.

Он жалел Мусью. Столько дней и ночей он провёл с ним под одной кровлей, столько проделал над ним смешных шалостей и получал всегда в ответ всё ту же неумную, но дружескую простосердечную улыбку. Теперь он внутренне никак не мог помириться с обидой «большого ребёнка».

— Чем же он, бедняга, виноват, что попал в ссылку, скорее мы виноваты в его несчастьи!.. — размышлял юноша со всей наивностью своего двадцатилетнего сердца.

Он с улыбкой вспомнил рассказ француза о политическом приключении, приведшем его в Джурджуй.

— Приехал я в Петербург с образчиками галантерейных товаров. Повстречались мы с товарищем из Парижа и отправились вечерком в Аркадию погулять... Болтали мы, болтали... Он бонапартист, я бонапартист... Он бутылочку, я бутылочку... Зашумело у нас в головах. «Знаешь» — говорит он — «спою я тебе хорошую песенку... Тут все её поют... Мотив у неё марсельезы, но слова много жальче...» Если все поют, то и я согласен... «Все поют!» уверяет он. И стал учить меня по-русски:

«Во Францию два гренадера
Из русского плена брели...»

У него был хороший голос, и я недурно вторю. Вскоре окружили нас многие из публики, дамы, кавалеры, барышни!.. Хлопают нам, а когда мы пропели:

«А наш император в плену...»

Кто-то крикнул «браво!» «Бис! Бис!» все закричали. Ну, мы и пропели ещё раз:

«А наш император в плену...»

Нам ещё раз: бис!.. Закрыв я это глаза, чтобы лучше петь и тяну:

«А наш император в плену...»

Вдруг, чувствую, кто-то меня берёт за плечо. Смотрю: публики нет, один полицейский пристав. «Идите за мной!» Зачем? — «Без разговору!» Посадили меня на извозчика и увезли... Без разговору!.. Сочинили протокол, отправили в тюрьму. Долго сидел я в тюрьме, просил, писал, объяснял... Всё тщетно. Наконец, вызвали, стали допрашивать... Хотел я им рассказать всё толком, но они сейчас: «довольно! молчать!.. без разговору!..» Опять посадили в тюрьму, продержали пол-года, а затем прочли приговор: «за оскорбление его величества...» Приговорили в ссылку, приказали что-то подписать и привезли вот сюда! Говорят, действительно, тогда царь никуда не выезжал из дворца и жил, как в плену. Но что же я мог знать? Я им говорил, что только что приехал из Вены. Кивают головами: «ладно!» А когда хочу ещё что-нибудь добавить, сейчас: «без разговору!» Я им толкую, что я... «neutralité» — не помогает! Теперь я уже не... neutralité!.. Теперь я уже знаю!.. Довольно! Теперь пусть они, пусть они берегутся! — кричал обыкновенно в конце Мусья. Красусский вспомнил его вытаращенные глазки, всклоченную бороду, сжатые кулаки и засмеялся.

— Бедняга!.. Завтра обязательно пойду навестить его!..

Когда на следующий день он вошёл в юрту Желтухи, он застал уже у Мусьи Петрова и Гликсберга, пьющих там демонстративно «чай». Это была грозная, хотя и молчаливая «нота» иностранных держав, направленная против Александрова и других «анархистов», не умеющих поступать надлежаще с «товарищами».

— Мы не полагаем, чтобы можно было личность, вопреки её воле, приносить в жертву на алтарь каких-либо идей Идеи, которым это нужно, ничего не стоят. Те только идеи нужно считать своевременными и созревшими, которые понятны большинству людей и которых не нужно скрывать и стыдиться. Что толку в идеях, лишённых оснований, не усвоенных большинством?.. — толковал длинно и скучно Петров.

Прочитайте об этом у Спенсера! — совершенно серьёзно предложил Красусскому Гликсберг.

— Оставьте меня! — отрезал юноша. Он с досадой слушал выходки иностранных держав против Александрова и Негорского, но в спор не ввязывался. Вообще он был не речист, к тому же — по-русски говорил плохо и ударения ставил смешно. Неудовольствие своё он обнаруживал только нервным покручиванием своих усиков. Одно мгновение он хотел уже уйти, но Мусья так жалобно взглянул на него, что юноша вдруг решил остаться и начал просто и весело рассказывать, как он раз заблудился на охоте и познобил себе пальцы, и как его спасали якуты топлёным маслом.

Мусья тоже вспомнил, как раз в Алжире получил солнечный удар. Петров и Гликсберг, сначала возмущённые «бессмысленными разговорами», слушали рассказы очень холодно, но затем сами вспомнили свои приключения, смягчились и просидели, калякая, до поздней ночи.

Мусья с трудом поспевал кипятить чай. Желтуха, которая под шумок сумела всласть попользоваться и хлебом, и чаем своего нового квартиранта, возымела о нём самое лучшее мнение:

— Француз умница, только притворяется дурачком. Вы бы только посмотрели, как с ним целуются «преступники». И какую прорву чая выпили они?! Сейчас видно, что господа! И француз тоже господин!.. — рассказывала она на следующий день посетителям.

Весть о посещении Мусьи товарищами мигом облетела городок и много помогла Мусье в развитии того нового промысла, который он себе придумал. Именно он принялся выделывать из мамонтовой кости недурненькия запонки, мундштуки, трубочки, ручки для перьев и стал разносить эти предметы по домам. Требованиями «торговли» он объяснял милое его сердцу бродяжничанье по соседям. Женщины опять стали встречать его дружеской улыбкой, ожидая от него новостей, сплетен и рискованных шуток; мужчины подсмеивались над ним, допрашивая, что такое он видел в спальне докторши.

Буря, вызванная его выходкой, уже затихала. Последним её отзвуком был «бал примирения», который устроил исправник своим противникам.

Это было замечательное пиршество. О количестве выпитой на нём водки долго ходили легендарные рассказы.

Пан Ян утверждал, что все напились «до зелёного змия». Доктор, не смотря на свой чин «генерала», простил великодушно исправнику, «капитану», все его прегрешения. Помощник всем по очереди целовал «ручку» и, бия себя в грудь, коленопреклонно исповедывал свою вину. Козлов всё время не отступал ни на шаг от Черевина и назвал себя публично «социалистом», за что чуть было не попал на гауптвахту. Был прощён исключительно в виду торжественности общего настроения. Бал окончился великолепным экспромтом, придуманным остроумным Денисовым. Гости стали в ряд, уже безотносительно к своим чинам, а сообразно с ростом и телесным сложением, взяли в руки верёвку, конец которой держал исправник, и, когда он дёргал за неё, удивительно хорошо подражали все джуржуйскому колокольному звону. Затем пели «славу» хозяину, опять пили и опять подражали колокольному звону...

На следующий день устроил «бал» доктор, затем состоялись «балы» у помощника, командира, улусного писаря и прочих административных и торговых столпов города Джурджуя, в том числе и у... Черевина. Все последующие пиры не достигли, конечно, той пышности и блеска, как исправничий, чего требовал и местный этикет, но были достаточно обильно

снабжены водкой, и в конце концов, возимый с места на место в полубессознательном состоянии отец Акакий, возвращаясь после недельного отсутствия домой, опять увидел в роще «окаменелого мамонта». В тот раз он встретился с чудовищем в кустах по середине города:

— Он шёл себе и размахивал трубой! — рассказывал скромно преподобный пастырь.

Пьянство прекратилось только с приходом обоза, состоящего из трёх вьючных лошадей и трёх всадников. Заиндевелые, окружённые облаком седого тумана, розового от вечерней зари, понуждая усталых мохнатых лошадок частыми ударами пяток, они подъехали прямо к полицейскому управлению. Оттуда немедленно выскочил дежурный и побежал к исправнику. По городу, затихшему в послеобеденной дремоте, с быстротой молнии пронеслась весть:

— Почта пришла!

Даже те, кто никогда не получал ни писем, ни газет, зашевелились и покинули укромные углы. Слабо освещённая оплывшей сальной свечкой первая комната полицейского управления исподволь наполнилась казаками, мещанами и местной аристократией. Писарь Денисов благоволил «принимать гостей»; он стоял в глубине комнаты с папироской в зубах, с руками в карманах и нашёптывал избранникам самые свежие известия из «губернии». Ежеминутно стучали двери и входили всё новые и новые лица, внося в затхлую атмосферу канцелярии струи свежего, холодного воздуха и свойственный туземцам запах скотских хлевов, плохо выделанных кож и дешёвой махорки. Перешёптывания всё усиливались, но не переходили известного предела, не заглушали постукивания счётов и торжественных возгласов исправника, его помощника и конвойных казаков, проверявших доставленные почтой деньги в соседней комнате. Сквозь неплотно запертые двери оттуда лился яркий свет и мелькали тени. Вдруг наружные двери стукнули как-то особенно и раздались широкие, смелые шаги. Исправник сразу почувствовал, что пришёл один из «этих», и сдвинул брови.

— Кто там!.. Не пускать никого!.

— Негорский за письмами...

— Пусть ждёт!

Казаки бросились к идущему.

— Нельзя! Вы должны подождать. Его высокоблагородие принимает деньги. Шестнадцать, сказывают, тысяч пришло... — повторили казаки, смягчая приказ.

Негорский подал два пальца Денисову, торопливо протянувшего ему руку, и остановился в сторонке. Сквозь щель в дверях он заметил сильно плешивый лоб исправника, его красное, испитое лицо, наклонённое над столом, и белые руки с золотыми перстнями, быстро перебирающие пачки кредиток.

— Один... два... три... пять... десять... двадцать... тридцать... сто...

— Есть!

— Проверить!

Шарик счётов стучал; пачка, шелестя, летела в сторону помощника, а в опытных руках старого чиновника хрустел новый свёрток.

— Один... два... три... четыре...

Негорский закрыл глаза и пробовал думать о другом... о далёком. Гневное, лихорадочное состояние овладевало им. Чтобы успокоить себя, он принялся считать до ста, до тысячи... К счастью, явился Петров с неизменным Гликсбергом. Разговор с ними немного успокоил его; затем присоединились Самуил, Воронин, наконец, вошёл с шумом Красусский. Казаки расступились перед его размашистыми, самоуверенными движениями, и он, не оповещённый, вошёл бы, по всей вероятности, в следующую комнату, если б его не удержал Негорский.

— Зачем же они не выдают писем

— Деньги считают. Сейчас кончат!

Это «сейчас» протянулось с доброй час. Мелькали тени, постукивали счёты, шелестели бумаги и скоро-скоро произносились числа, однообразные, точио припев акафиста. Красусский приходил в бешенство. Наконец, в соседней комнате водворилась тишина. Стоявший впереди Негорский заметил, что исправник взял пачку писем и вскрывает конверты. Не смотря на продолжительность своего заточения, он никак не мог привыкнуть к этому зрелищу и поспешно отвернул голову. Вдруг он расслышал шёпот исправника. Чиновник нагнулся через угол стола к своему помощнику и с улыбкой показывал ему что-то в раскрытом письме. На жирном, пухлом лице помощника тоже засияла нехорошая улыбка. Красусский, который видел всё это, неожиданно толкнул двери.

— Что же письма?

— А-а?... Это вы?.. Есть одно и для вас, есть!.. — ответил исправник. Взял письмо со стола и принялся основательно взрезывать конверт. Протянутая рука юноши дрожала, глаза его метали молнии. По губам исправника скользнула сдержанная улыбка.

— Да-а!.. Оно... по-польски. Я мог бы вам его не отдать. По-польски я не понимаю...

— Что-о?!

В возгласе ссыльного звучала такая угроза, что исправник с наслаждением погладил себя по подбородку. Он был по происхождению сибиряк, престиж и величие государства мало его волновали. Наоборот: в глубине души он чувствовал некоторое нерасположение к угнетающей и эксплуатирующей Сибирь «Рассеи»; он знал о культурных услугах, которые оказали его родине

ссылные поляки и русские, да и сам, кажется, происходил из Литвы. Правда, его предки давно уже переменили веру, осибирячились, обрусели, тем не менее, ему приятно было чувствовать своё родство с этим красивым, смелым до дерзости юношей.

— Польские письма не воспрещены законом.

— Да, но они должны быть проверены. Полиция не обязана знать все языки или держать переводчиков. Пусть ваши родственники пересылают письма через губернское правление...

— Будут год странствовать. Совсем это не нужно!

— Чего вы сердитесь? Ведь я его вам даю!

Красусский не выразил ни малейшей благодарности; схватил письмо, тут же развернул его и стал на ходу просматривать. Другие ссылные получали свои письма по очереди и уносили поспешно, точно святыню. Самуил, который в этот раз ничего не получил, остался, чтобы захватить газеты и журналы.

— И зачем это вы, господа, пришли? Ведь я обещал вам отсылать всё на дом!.. — мягко выговаривал ему исправник.

— Разве вы не понимаете, Николай Иванович, что для нас это — единственный луч света?! Право, вы могли бы раньше вскрывать пакеты с письмами. Деньги подождали бы без волнения...

— Закон запрещает. По закону, раньше всего должны быть просчитаны деньги... — ответил начальник округа, поглядывая на своего помощника. Тот заёрзал на стуле и пробормотал что-то невнятное. Исправник, под влиянием полочки наградных, пришёл в прекрасное расположение духа; он всегда отличал Самуила, ценил его такт и благовоспитанность; иногда он даже с ним советовался и откровенничал.

— А знаете, к вам едет опять какой-то новый товарищ... Арканов?.. Не слышали?.. Артемий Павлович Арканов, — добавил он, справляясь в бумагах, — с женой, Евгенией Ивановной... Веселее будет! Как хотите, а скучна жизнь без женщин! Разве не правда: «без женщин, без женщин мы точно без души» — запел чиновник, сильно фальшивя.

В воспалённых, сладострастных глазах его засверкали нехорошие огоньки. Самуил поспешно раскланялся и ушёл.

Он направился к Александрову, где обыкновенно собирались ссылные после прихода почты. Все были погружены ещё в чтение писем. Только Негорский, который тоже письма не получил, просматривал номера предусмотрительно захваченных им газет. Когда Самуил бросил на стол новую кипу журналов и газет, присутствующие принялись за них. Низко и жадно наклонили ссылные свои головы над белыми листами, с которых повеяли на них вдруг родные воспоминания; слезящиеся глаза страстно ловили печатные слова при слабом свете сального огарка. Всё для них было так дорого и полно

значения, даже пустые, мишурные фразы, во всём они доискивались тайного глубокого смысла. Красусский не читал газет; с письмом в руке он сидел в сторонке на стуле и смотрел вперёд в темноту.

— От сестры? — спросил его тихонько по-польски Негорский и ласково положил ему на плечо руку.

— От сестры.

— Что же пишет?

— Всё то же. Умоляет, чтобы я... не ослабел! — рассмеялся юноша. — Просит, чтобы я не отчаивался, не женился на иностранке, вернулся чист и здоров. Всё письмо полно заботы обо мне, о себе ничего не пишет; сообщает только, что тоскует...

— Опять!.. Слушайте, опять!.. — вскричал громким голосом Самуил. Заметив, что все глаза обратились к нему, он принялся читать вслух с глубоким волнением. Газета дрожала в его руке и голос болезненно обрывался:

«...Сегодня в нашем городе казнены государственные преступники. С утра улицы, по которым должен был двигаться позорный кортеж, наполнились народом и войсками, построенными в цепь. В открытых окнах виднелось множество женских голов, многие дамы стояли на балконах. Погода благоприятствовала, солнце великолепно сверкало на штыках, мундирах, стенах домов, украшало своим блеском женские наряды. Полицейские в парадных мундирах прохаживались на постах по середине улиц. Глаза публики обращались в сторону городской тюрьмы. Там вдруг раздался и покатился по народу шум, точно вздох, который всё приближался, крепчая, меняясь, превращаясь в говор, в стон, в бурю...

— Едут!.. Едут!

Толпа дрогнула. Одновременно застучали колёса, зазвенели подковы. Из-за угла выскочил отряд конных жандармов. За ними быстро катилась чёрная колесница. Приговорённые в холщёвых саванах сидели, привязанные задом к лошадям. На груди у них болтались чёрные доски с надписью «преступник». Было их два, оба молодые.

Один ослабел, опустился в верёвках, и голова его жалко болталась и подскакивала при каждом стуке колёс о мостовую. Другой, возбуждённый, что-то кричал, чего нельзя было расслышать из-за грохота телеги и топота конного отряда. К тому же и народ шумел. Я стоял совсем близко, но с трудом уловил только: «за вас умираю!»

Толпа вела себя враждебно. раздавались ругательства, угрозы, проклятия, в воздухе замелькали даже сжатые кулаки и палки. И только какая-то очень молоденькая девушка бросила букет цветов, но так неудачно, что он упал на мостовую и был измят копытами конвоя. Девушку сейчас же арестовали. Оба приговорённые с трудом взошли на эшафот. Помощники палача помогали им.

Во время чтения приговора, они были сильно бледны; затем горячо поцеловались. Когда священник подошёл к ним с крестом, тот, что кричал, покачал отрицательно головой. Его товарищ, наоборот, крепко прильнул губами к святому знаку, и палач с трудом оторвал его от креста. Приговорённого подтащили за плечи к петле, ему моментально закрыли лицо колпаком, ужасная скамеечка выскользнула у него из-под ног, и он повис грузно и неподвижно... Другой, который глядел на всё это, вдруг стал рваться из рук палачей. Когда он повис, он долго бился, и заплочный мастер потянул его за ноги...»

— Нет... не... могу... не могу! — простонал Самуил, отступая в тёмный угол избы.

В юрте воцарилось гробовое молчание.

— Вечно и беспощадно... ненавидеть их!.. — прошептал вдруг Красусский, подымая руку.

— Разве это были поляки? — спросил тихонько у Негорского Ян, который пришёл во время чтения.

— Разве не всё равно!? Разве тебе не жалко?!

— Не в том дело: я думал, что это непременно поляки, а теперь вижу, что и русские взялись за ум!..

III

Учитель наигрывал на гитаре и хриплым голосом в сотый, может быть, раз выводил любимый куплет местной баллады:

Сверкнул меч, скатилась голова,
Погибла неверная жена!..
Не дышат лебединые груди,
Никто её любить не буди...

Всем стало скучно. Денисов, принуждаемый подтягивать учителю, давно уже морщился. Наконец, он махнул рукою, вскрикнул: «жги!.. жги!.. жги!..» — выскочил на середину комнаты и давай приплясывать, приседать, семенить ногами с таким рвением и задором, что большой шахматный ковёр из чёрных и белых кобыльих лап, разостланный на полу, взъерошился и пришёл в большой беспорядок. Учителю приказала служанке поскорее убрать ковёр и уже не уходила из комнаты, а, покрасневшая, смеющаяся, глядела на отчаянную пляску и сама слегка пошевеливала бёдрами и поводила плечами. Денисов плясал всё неистовее, и от поднятого им вихря вздымались занавески у окон, трепетало пламя свечей, и даже лампадка зелёного стекла, неугасимо теплившаяся в углу перед образом Николая Угодника, слегка покачивалась на серебряных цепях. Учитель тоже вскочил, принялся живее перебирать по

струнам и подпрыгивать на заплетающихся ногах. Туманы поднятой пляскою пыли, облака табачного дыма, да запах разлитой и выпитой водки делали дальнейшее пребывание в комнате невозможным. Красусский поднялся и стал прощаться с хозяевами.

— Куда? Не пуцу! Сидите, когда вам хорошо! А уйдёте — ничего вам уже не расскажу ни про горы на западе, ни про то, как путешествуют якуты. Ей, ей! Знаю я всё, вижу вас насквозь! Не проведёте меня!.. Не-е-ет! — кричал сильно пьяный хозяин, стараясь поймать гостя за рукав. — Красусский испугался окончательно этих излияний, вырвал руку и ушёл.

С тех пор, как учитель безусловно перешёл к джурджуйской оппозиции, и особенно с тех пор, как Денисов стал в их доме еженедельным гостем, Красусский начал сильно тяготиться своими сношениями с педагогом. Он поддерживал их ещё в надежде на лотерею, последнее финансовое убежище беглецов. К сожалению, и учительша сильно к нему изменилась со времени истории с Мусьей, уклонялась от исполнения обещаний, виляла и хитрила. Она, в сущности, управляла всем домом, поэтому её охлаждение к лотерее лишало последнюю всякой опоры. Тем не менее, Красусский ходил к учителю, ходил потому, что без лотереи... не верил в успех побега, потому что грустил, скучал. Присутствие Денисова и вечное пьянство хозяина раздражали его.

— Хотя бы сегодня: лишь смерклось — уже оргия! — размышлял он, странствуя по окутанному ночью озеру. В душе у него царила такая же тьма и холод, он с отвращением думал о своей пустой юрте, но ещё с большим отвращением думал о юрте Александрова, где он встретит мрачные, угрюмые лица товарищей, подавленных денежными неудачами. Вдруг слуха его коснулись необычные звуки у полицейского управления — скрип саней и шаги людей, приближающихся к нему наискось. При слабом блеске звёзд он заметил четыре человеческие фигуры. Две были несомненно казацкие, в двух других он сразу угадал — по движениям, а ещё больше по говору — давно ожидаемых товарищей.

— Арканов?.. Неужели это вы?!.

— Да это я! А вы кто?

— Я — Красусский.

К великому удивлению конвойных, они бросились друг другу в объятия, как будто знали друг друга сто лет или были родными братьями. Затем юноша робко поклонился второй стройной фигуре.

— Что же вы мне не протягиваете руки?! — рассмеялась она серебристым голосом. — Я ведь тоже товарищ ваш!

— Идём к нам... Тут к Александрову ближе всех... Или, может быть, вы уже решили идти в другое место?.. Вы, верно, прозябли и изголодались!

— Мы ничего не знаем, куда нас ведут. В полиции никого нет, закрыта...

— Надо бы вам к исправнику... явиться!.. — проговорил казак.

— Я тоже думаю, что лучше явиться! — согласился Арканов.

— Зачем же? Пустое!.. Мы напишем письмо, что вы устали с дороги, и что явитесь завтра. Пустая формальность!..

Покончили на том, что казаки пошли доложить исправнику, а приезжие повернули к Александрову. По пути Красусский послал встречного якута к Самуилу и Воронину. Не прошло и полчаса, как все ссыльные, не исключая Яна, собрались в юрте Александрова.

Большая охапка дров, затопленная в плоском якутском камельке, наполнила, как всегда, внутренность юрты весёлым светом, говором, щебетанием, шипением пламени, выстрелами углей и лопаньем согревающихся ледяных поленьев. На столе гостеприимно стоял самовар. Арканова сразу вошла в роль хозяйки и, перебросив через плечо белое полотенце, перетирала чайные чашки. Ссыльные впервые с тех пор, как оставили родину, вспомнили, что совсем перестали это делать. Тюрьмы и нужда отучили их от многих вещей. Грязь и небрежность казались им делом обычным и неизбежным. Теперь эта стройная женщина с золотыми волосами и васильковыми, нежными глазами, как будто принесла им с собой веяние давно покинутой культурной жизни. Все невольно вспоминали забытые привычки благовоспитанности. Александров держался необыкновенно прямо и удивительно долго не ставил локтей на стол, даже трубочку вынул изо рта, и спрятал в карман. Негорский вдруг загрустил. Воронин тщетно пробовал побороть своё волнение, вызванное большим количеством чайных серебряных ложек, вилок, ножей, вообще чайных приборов, которых «хватило для всех».

— Салфетки!.. — шепнул восторженно Самуил и прикоснулся к ним рукою.

Красивая женщина всё это раскладывала на столе и с грустной улыбкой поглядывала на бледные, малокровные лица ссыльных, на их оборванные, лохматые фигуры. Красусский, спрятавшись в дальний угол, глаз с неё не сводил.

— Итак, здесь необходимо жить в юртах. Других более человеческих жилищ нет... Проезжая, я видел, однако, русские дома! — спросил Арканов.

— Есть-то есть. Только необходимо нанять весь дом, что чересчур дорого для наших карманов. Отдельных комнат не отдают в наём жители. Впрочем, обо всём этом и о ценах лучше всего расскажет вам Черевин.

— Кто это такой?

— Это тоже наш... врач, Он не пришёл ещё, нужно бы послать за ним. Верно, не знает!

Раньше, чем нашёлся посыльный якут, пришёл сам Черевин. Он бесцеремонно прервал разговор и заставил сызнова рассказать ему новости.

— С 1878 года, — начал искусственным, скучающим голосом Арканов, — русская революционная партия направилась, как вам известно, по новому пути. Народники после короткой борьбы исчезли. Слабые совсем устранились от всякой работы и превратились в заурядных буржуев, более дельные перешли к террористам. В настоящее время в России есть только террористы, других партий нет. Осталась одна только «Народная Воля»...

— Ого!.. — шепнул Петров.

— Террористы образуют три фракции: террористов-конституционалистов, террористов непримиримых, как мы их зовём — «rig sang», и террористов-народников. Последние происходят от остатков прежних бунтарей...

Тут Арканов принялся обширно и чрезвычайно объективно излагать программы каждой фракции.

— А вы к каким причисляете себя? — спросил неожиданно Александров.

Арканов чуть-чуть смутился.

— Я в праве не отвечать на этот вопрос, — ответил он неохотно, но я скажу: я принадлежу к террористам «чистокровным». Я не считаю конституцию за идеал, который можно написать на знамени, и не вижу другого пути для России, как террор и ещё раз террор...

— Это могущественное средство, но не единственное. Не думаю, чтобы полезно было сужение программ ради тактических соображений! — заметил Александров.

— Конечно, насилие иногда неизбежно, — вставил Негорский, — но есть ли у вас силы и средства для проведения такой программы? На кого вы рассчитываете, раз вы отказываетесь от пропаганды среди масс? Насилие не содержит в себе других идеальных элементов, кроме самопожертвования, — он сделал ударение на «само» — Поэтому оно не обладает притягательной силой, не привлекает последователей. Оно пользуется раньше накопленным политическими организациями капиталом сил и сознательности.

— Как не привлекает?! Язык террора, язык фактов много понятнее и доказательнее толпе, чем сотни брошюр и прокламаций.

— Да, но он волнует души иного порядка, иного сорта!.. — заметил грустно Самуил.

— Этого следовало ожидать. Некоторое время они просуществуют, расточая безумно сокровища, нагромождённые нами, а затем всё рухнет... Своими выходками, покушениями, насилиями они закрыли нам все пути мирной борьбы, а сами... Высоко летают, да где-то сядут!.. Посмотрим!!.. — вспыхнул страстно Петров.

— Вы не считаете конституцию идеалом?. Хорошо. Но я вот что скажу вам на это... — вскричал задорно Черевин.

Поднялся шум, все захотели говорить, убеждать и обвинять друг друга. Арканов глядел на всех спокойно и вдруг поднялся: чёрные глаза его засверкали, чёрная грива волос зашевелилась... Жена его улыбнулась, так как она опять, опять узнала своего милого «Артю».

— Так! Вы смеее утверждать, что люди, ожидающие исключительно смерти за свои деяния, не приносят жертв?! — загремел он неожиданно. — Вы жалеете десяток-другой лиц, умирающих смертью, вы притворно скорбите о пролитой крови и в то же время соглашаетесь на порабощение, насилие, позор, нужду, темноту, страдания миллионов... на жизнь без малейшего луча надежды на улучшение, без слова поддержки... И так всю жизнь... от колыбели до могилы...

Это молниеносное нападение на отсутствующего врага показалось Самуилу немного смешным. Ведь никто не сказал ничего подобного тому, с чем сражался и спорил Арканов!

Последний, оказался, впрочем, опытным борцом, обладал звучным голосом и огненным, захватывающим красноречием. Приводил интересные примеры, употреблял оригинальные обороты. Под конец он всех заставил себя слушать. Но слушали его только Александров да Красусский: первый старательно ковырял в своей трубочке, прочищая её коротенький чубук; второй уставился неподвижно в догоравший огонь и, видимо, был мысленно далеко от спора и споривших.

Неожиданно двери тихонько стукнули.

Глаза всех направились в ту сторону; Арканов умолк. На пороге стоял смущённый Мусья и порывисто мямлял шапку в руках.

— Могу ли... я?

— Это кто? — спросила тихо Арканова.

— Это!.. Это... Мусья! Чрезвычайно почтенный и заслуженный... бонапартист! — рассмеялся Самуил.

— Несчастный человек, которого случай сделал государственным ссыльным! Он — наш товарищ! — резко, почти грубо проговорил Красусский, высовывая из темноты покрасневшее лицо.

Приезжая впервые взглянула внимательнее на стройную фигуру юноши, который весь вечер держался молча в тени и в сторонке.

— Так что же! Идите, милости просим!.. Очень рады!..

— Иди, иди, Мусья!.. Для такого «торжества!» — передразнил Яна Самуил.

Мусья неловко поклонился и подсел к столу. Александров налил ему чаю и придвинул хлеб.

Перерванный спор уже не возобновился.

Вместо того, было предложено и предпринято хоровое пение. Началось оно, конечно, «Зозулей», затем пропеты были все известные присутствующим хоровые и соловые песни. Жена Арканова обладала красивым грудным

контральто. Сам Арканов знал несколько новых революционных гимнов, которые эффектно пропел вдвоём с женою. Даже Ян поддался уговорам и не особенно звучно, но с большим воодушевлением пропел по-польски:

Кто мне скажет, что москали
Стали братьями лохитов,
Тому в лоб пущу я пулю
Пред костёлом Кармелитов
Вот свободы зов, зов, зов, зов!
Мы прольём за него кровь, кровь, кровь!

Когда музыкальные запасы были исчерпаны, кто-то предложил Самуилу прочесть своё последнее стихотворение. Долго противился он и, только когда Арканова обратилась к нему из-за самовара с просительной улыбкой, наконец, согласился, встал и, спрятавшись в тени, начал тихо:

Ночи полярные, бессонные ночи изгнания...

В стихотворении, в сильных и прочувствованных выражениях, довольно звучно говорилось о том мучительном процессе разложения, какой обязательно начинается в душах чутких и деятельных, обречённых на бездействие и уничтожение ссылки.

— Весьма недурно! — похвалил Арканов. — Вы, вижу я, настоящий поэт. Только в начале следовало бы выправить размер...

— Ах, как всё это печально! Неужели всё это действительно так?! — спрашивала Арканова, вглядываясь пристально в лица присутствующих.

Они молчали; наконец, Черевин заговорил о «благодетельном влиянии труда». Опять загорелся спор. Петров возразил, Гликсберг поддержал друга, и разговор грузно вкатился на обычные рельсы никогда не прекращавшихся в Джурджуе прений о свободе воли, о влиянии личности на течение истории, о субъективном и объективном методе и проч. Александров принялся вторично ставить самовар, Красусский подбросил дров в камелёк, Негорский отправился в кладовую за маслом, мясом и морожеными ягодами.

И опять стало в юрте светло и шумно, опять забурился на столе самовар, и Арканова, красиво сгибая стройную талию, хозяйничала среди чайной посуды.

Но в голосах уже не дрожали бурные ноты, все сильно устали, рассуждали вяло, отвечали коротко и неосновательно; наконец, разговором завладел Черевин:

— Попробуем, господа, основательно разобраться в занимающих нас вопросах. Таким только образом мы, раз на всегда, решим наши споры. Другого средства я не вижу. Итак, начнём с самого начала, начнём, с перво-причин, — рассуждал он голосом учёного докладчика. — С того момента, когда плазма, плавая в соответственной среде, обнаружила слегка целесообразные движения, можно сказать, что народилось на земле сознание, взошло семя

разума. В начале это была простая способность различать впечатления, очень элементарная и очень смутная. Эта способность была разлита по всему телу плазмы. Заметьте, господа, по всему телу! Под давлением благоприятных или неблагоприятных обстоятельств, от соответственной или несоответственной на них реактивности, преуспевали в жизни и размножались особые, более приспособленные и одарённые, гибли неудачники. Такова начальная дифференциация ощущений и закрепление их практикой и естественным подбором...

Арканов с трудом сдерживал зевету; Арканова пыталась потихоньку разговаривать с Негорским. Ян взял шапку и попрощался с присутствующими. Один Мусья прилежно слушал и поддакивал.

Слушал также, казалось, и Воронин, но, в действительности, он мирно спал, подперши голову рукою.

— Приезжие, по всей вероятности, устали. Вы, доктор, завтра нам окончите вашу любопытную лекцию. Поздно уже! Ведь завтра вы опять соберётесь у нас? — любезно спросил Негорский.

Все поднялись с мест. Арканов уже открыто зевнул.

— Хорошая у вас шуба! — обратился он к Черевину, с удовольствием осматривая пышную «пыжиковую» доху доктора.

— И не дорогая — двадцать пять рублей всего! — весело ответил тот.

— Действительно, дёшево. Нужно будет подумать о подобном облачении, морозы здешние не шутят. Полюс холода. И выдумало же русское правительство такую трущобу, буквально... свету не взвидишь! Где же это мы сегодня пристроимся, Евгения Ивановна?

Александров повёл их в свою каморку, откуда он уже убрал постель и вещи. Аркановы, при помощи Красусского, перенесли туда всё, что им было нужно в тот раз. Пока Евгения усталыми руками развешивала в дверях плед, вместо занавески, Арканов осматривал критическим взглядом чуланчик, узкую кровать, узенький проход меж ней и стенкой, затем взглянул с отвращением на низкий потолок, на закоптелые стены, на захватанную карту, повёл плечами и выбросил свою постель обратно в общую комнату. Жену он поцеловал холодно в лоб и лёг на землю рядом с Александровым.

В комнате некоторое время сиял слабый свет под покрытым золою жаром, и, нет-нет, сползали с него тёмные покровы пепла, открывая рубиновые глаза горящих углей. Затихли в юрте голоса и движение.

Один Красусский не мог заснуть. Тщетно он смыкал веки, гнал прочь назойливые мысли; они всё возвращались, беспорядочные, перемешанные со странными, причудливыми картинками. Горячая, молодая кровь переливалась в нём, точно ртуть; сердце усиленно билось. Он чувствовал, что если-б прочёл одну страницу какой-либо книги, то успокоился бы и уснул, но он не решался

зажечь свечку, чтобы не разбудить гостей. Гнетущая бессонница мучила его; он вслушивался в богатырское храпение Александрова, улавливал в соседней комнате ровное, мягкое дыхание молодой женщины и всё переворачивался с боку на бок, точно рыба, поражённая острой. Поэтому он чрезвычайно обрадовался, когда услышал в кухне довольно громкий вздох Негорского. Он встал и на пальцах отправился к товарищу.

— Ты, вижу, тоже не спишь? Знаешь что: мы непременно, непременно бежим! — прошептал он, садясь на краю кровати.

— Именно и я думал об этом. Спрячь ноги под одеяло, а то простудишься!

Красусский послушался друга и так, полужёжа рядом, они проболтали вплоть до рассвета.

IV.

Несколько дней спустя Арканова уходила из юрты Александрова в большом волнении.

— Бегут, бегут!.. — повторяла она, идя по озеру. Она торопилась, так как муж ждал её и, верно, беспокоился её продолжительным отсутствием. Ночь была довольно светлая; к несчастью, Арканова, по рассеянности, не заметила хорошо надлежащей тропинки и вдруг очутилась среди неизвестных ей построек подозрительной наружности. Внутри их мерцал свет, и дым струился из низких труб; звучали голоса и смех; Арканова побоялась, однако, войти и спросить дорогу: она опасалась попасть в игорный дом или тайный кабак, всегда полный казаков и поселенцев. Она осматривалась кругом, силясь угадать, где находится, как вдруг заметила тут-же близко, только с другой стороны, юрту Александрова. Она направилась к ней прямо через сугробы снега и очень удивилась, заметив на красном фоне одного из окон тёмное пятно, которое быстро исчезло при её приближении. Осторожные, крадущиеся шаги убежали в противоположную сторону.

— Подслушивают, шпионят за ними... Может быть, всё уже знают! — подумала она.

Запыхавшись, она влетела в юрту.

— За вами следят! Кто-то стоял только что под окном. Я его спугнула. Сквозь ледяные окна прекрасно слышны разговоры...

— И вы вернулись затем, чтобы нас предупредить! Спасибо вам, но это лишнее. Мы знаем, что нас подслушивают. Мы уже не раз ловили любопытных. Мы говорим громко только то, что хотим, чтобы узнали власти. Это для нас даже удобно. О важных делах мы говорим только по-польски или по-немецки...

— А со мной?

— О, тогда никто не подслушивал! — уверил её Красусский..

— Впрочем, они в состоянии затруднить побег, но помешать ему не в силах. Во всяком случае — спасибо вам. Мы поостережёмся. Нужно будет сухари и сушенное мясо перетащить к Яну! — добавил Александров.

Их спокойствие и уверенность приятно подействовали на Арканову. Она расстегнула немного свою шубку.

— Как жарко! Прошу вас, проводите меня кто-нибудь, а то я... заблудилась, в снег попала! — проговорила Арканова, смеясь.

— Вы заблудились? Действительно, вы запыхались... Знаете: сбросьте шубу и отдохните!

— Нет, нельзя! Артемий до смерти, верно, встревожен. Голова его всегда полна ужасных предположений и страхов. Между тем, сам ещё хуже моего разбирается в темноте. Недавно он у нас во дворе заблудился.

Она опять засмеялась.

— Так кто-же из вас будет столь любезен?

Красусский взял шапку и надел тулуп.

— Легко заблудиться, темно... А главное, туман от дыхания не даёт хорошо видеть! — говорил мягко юноша, идя рядом с Аркановой. В его движениях было столько силы и уверенности, что было ясно — он только из вежливости смягчает смешное приключение её мужа.

— Правда, тропинку чуть заметно под ногами. Мне кажется, что когда я впервые ушла от вас, на небе были звёзды, а теперь исчезли!..

Красусский внимательно взглянул на небо и окрестности. Совершилась одна из тех странных местных мгновенных перемен, когда одно тёплое дуновение южного ветерка превращает вдруг прозрачную, морозную зимнюю ночь в ночь весеннюю, тёплую и мутную.

Юноша повернул лицо в сторону ветра и жадно ловил отдалённые признаки весеннего перелома.

Весна!.. весна!.. исчезнут снега, зазеленеют леса, а затем... двинутся и они на поиски свободы и жизни!

Он задумался и не заметил, что его спутница раз и другой споткнулась; наконец, она сама попросила его помочь ей. Он торопливо протянул ей руку и умерил шаги, приноравливая их к её движениям. Шли молча некоторое время, а мелкие снежинки падали им наискось на лица и влажные губы.

— Когда-же... тронетесь? — спросила Арканова, чуть наклоняясь к спутнику.

— Как пройдёт лёд на реке и сбудет разлив. Иначе может речка на пути остановить.

— И вы верите... в успех?

Красусский помедлил ответом.

— Как вам сказать?.. Скорее — нет! Не думаю. Если б у нас были лошади, если б у нас была хоть одна лошадь?..

— Так почему же вы не покупаете? Разве здесь трудно добыть лошадь?

— Очень даже... особенно когда денег нет! — рассмеялся он.

— Та-ак?! Как это нехорошо, что вы не сказали! Ведь этому легко помочь... я попрошу мужа!.. — заговорила она лихорадочно.

— Поверьте мне, что я совсем об этом не думал! — быстро вставил он.

Ему стало крайне неловко. Он не знал почему, но чувствовал, что он не может держаться с ней так просто и откровенно, как со всяким товарищем, что он охотнее пошёл бы в тайгу на верную смерть, чем возбудить в ней подозрение, что он разжалобил её лишь затем, чтобы выманить деньги.

А она, между тем, говорила с горечью:

— И все так! Все вы такие!.. Товарищи, товарищи, а как дело пойдёт всерьёз, начинаете капризничать. Сознаюсь: виновата и я. Должна была сама догадаться и предложить вам, гордецам! Ведь у вас, действительно, такая сквозит во всём нужда. Меня всё это ошеломляет. Я думала, что вы скупитесь, сберегая деньги на побег, что оттого у вас ничего не хватает. Вы просили только о кройке и шитье нескольких предметов для путешествия. Я полагала, что у вас всё есть! А, может быть, что и сухарей, и оружия у вас недостаточно? Бог мой!.. Отправиться так в глухую пустыню безо всего, на верную гибель!.. Вижу, что ссылка действительно ужасная вещь, если так безжалостно гонит людей на всякие ужасы... Мы останемся здесь и узнаем всё это!..

Она невольно вздохнула.

— Вы должны, вы обязаны взять у нас деньги!

Они остановились у ворот квартиры Аркановых.

— Разве вы не войдёте? Войдите, прошу вас! Муж очень вам будет рад! — просила она, придерживая его за руку.

Красусский безусловно отказался; он был зол на себя, на весь мир, а главное — на Арканова, который, наверно, даст деньги...

— Что случилось? Ждал тебя, ждал, самовар остыл, чай перестоялся, а я умираю с голоду. Посмотри, ведь не дурно! — спрашивал жену Арканов, помогая ей снимать шубу и указывая внутрь комнаты, где на застланном белой скатертью столике, при свете двух стеариновых свечей, блестел никелевый самовар и хорошенькие чайные приборы.

— Что?!.. Чем не Европа? Право, у нас лучше, чем даже у Самуила!.. Улыбнись, Женя!.. Похвали меня! Чего ты так запыхалась? Расскажи, наконец, что случилось!

— Я заблудилась, бродила по сугробам, попала в какие-то мало известные углы и, благодаря случаю только, разыскала вновь юрту Александра. Там я попросила провожатого.

— Кто-же проводил тебя?

— Красусский.

— А-а... помню. Такой фатоватый полячек. Почему он не зашёл?

— Не пожелал. Не говори дурно о них: они хорошие, дельные люди. Ты и не догадываешься, что они замышляют... Ах, Артя, у меня такая для тебя новость! Но ты раньше должен обещать мне, что не посмотришь на удобства своей Жени и дашь им возможно больше. Жене ничего не сделается, если она немного хуже поест, или если посидит не при стеариновых свечах, а при сальных. Ведь она приехала сюда не ради удобств...

Она нежно прижала свою голову к его плечу.

— Да что такое? Скажи, наконец! В чём дело?! — спросил беспокойно Арканов.

— Они бегут.

— Кто бежит?.. Когда бегут?!

Он спрашивал, но сам уже догадался, и в уме его молниеносно пронеслось: «Хорошо, что мы своевременно ушли от них!» Но этого он, конечно, не сказал.

Арканова, между тем, повторила ему разговор, происшедший между нею и товарищами в юрте Александрова, сказала, о чём они просили её, и добавила то, что узнала от Красусского.

Лицо Арканова делалось всё мрачнее и мрачнее.

— Безумцы! Я не намерен своими деньгами помогать самоубийцам. Не дам. Их гибель ляжет на моей совести...

— Они и так пойдут. Пойдут безо всего... Ты не знаешь их. Они твои единомышленники, они террористы по крови, по темпераменту, по всему своему складу, родные тебе души. Они точь в точь, как ты, рассуждают... Скажи, разве ты не присоединился бы к ним, если б был один, если б у тебя не было... меня?

— Нет, они не единомышленники мне. Сравнение их с моими сотоварищами звучит для меня кощунством. Те, к которым я причисляю себя, поступают прежде всего разумно, всё соображают, рассчитывают. У них есть царь в голове. Они жертвуют жизнью за достойные цели. А здесь что?.. Разве не безумие, не крайне вредный для всех пуф — этот проект пройти пешком леса, о которых ты ведь имеешь понятие, так как мы недавно проезжали сквозь них.

— Тем не менее, они пойдут, пойдут!

— Пусть идут, дня через три вернутся.

— А если... не вернутся? Господи, я уже теперь вижу их бледных, исхудалых, оборванных, умирающих с голоду в тайге. Если ты им откажешь в помощи, я чувствую, что это видение никогда меня не оставит. Если б они имели хоть... одну... лошадь...

Она закрыла руками лицо.

Арканов молчал. Этот её жест, полный горя и отчаяния, её прелестный лоб, покрывшийся морщинами страдания, её дрожащие губы, сладость которых он знал так хорошо, сильно подействовали на него.

— У нас есть... всего двести! — глухо сказал он.

— Только двести?! — переспросила она удивлённо.

— Ну, да. Мы много издержали в пути. Дам им половину. Не могу ведь лишиться тебя всяких удобств. На эти деньги они купят лошадь, и даже останется на оружие.

— Одну лошадь! А если б ты им отдал все? Ведь у нас будет казённое пособие. Другие живут исключительно на него. Нам пришлют, я с первой почтой напишу матушке.

— Не можем остаться совершенно без денег. У нас могут явиться... дети.

Молодая женщина встала. По тону его голоса она догадалась, что дальнейший спор будет тщетен. — Он привлёк её к себе, посадил на колени и принялся доказывать тихим голосом. В сущности, он поступает так из любви к ней, вопреки своим правилам. Он не должен бы помогать этим вредным попыткам. Революционеры в ссылке обязаны прежде всего стремиться к сохранению своих сил, своей энергии и способностей, должны стремиться к обогащению ума знанием, к изучению языков и практических наук, должны привыкать владеть оружием, уметь пробираться и странствовать по лесам, чтобы со временем, когда родина этого потребует, они могли стать во главе восставших отрядов, как опытные предводители. Чтобы, в случае нужды другого рода, являлись везде умелыми, бесстрашными, образованными заговорщиками. Такие же предприятия, которые затевают Негорский с Александровым, ведут лишь к бесполезной трате сил и средств. Для чего? Кому это нужно и зачем? Погибнут, волки их съедят, и ничего больше!

Хотя сердце Евгении содрогалось от этих приговоров, но рассуждений мужа она опровергнуть не умела, и между супругами произошло примирение.

На следующий день Арканов пошёл к Александрову, положил деньги на стол и сказал с подкупающей простотой:

— Жена передала мне, что вы бежите. Я не соглашаюсь с вами по всем пунктам, но приношу вам мою посильную дань.

Он уклонился от благодарности и не выразил ни малейшим намёком желанья узнать подробности предприятия.

— А мы думали, что он — эгоист и фразёр! Как легко ошибиться в людях!.. — заметил после его ухода Негорский.

Красусский мрачно отвернулся в сторону; Александров кивнул головою и взял деньги со стола.

— Итак, они купили лошадь! — вздохнул исправник, положил перо и взглянул в окно, откуда мощная струя весеннего солнца врывалась в канцелярию. Под его прикосновением повеселел даже скучный присутственный стол, застланный красным сукном, даже докучливо-однообразные кипы бумаг, даже обрюзгшие тома законов и счётных книг как будто дрогнули и попробовали улыбнуться. Металлические зеркала с государственными гербами загорелись радужным блеском, пуговицы чиновничьих мундиров засверкали точно звёзды. Только лица склонившихся над бумагами людей казались в этом ярком освещении ещё более бесцветными, землистыми, губы бескровными и морщинистыми, а глаза тусклыми. Со двора доносились мерные удары каплющей с крыши воды; сквозь сползающие со стёкол зимние морозные узоры виднелись свешивающиеся с навесов кровли ледяные сосульки; серые птички с малиновыми хохолками на лбах перелетали, чирикавая, с карниза на карниз.

— Итак, они купили лошадь!.. Вы понимаете, Владимир Сергеич, чем это пахнет?! Купили лошадь... Это только начало... Но вы ничего не понимаете, вы, вижу я, ковыряете пальцем в носу!

— Нет, я просматриваю инструкции.

— Ну, и что-ж?

— В них ничего не сказано о лошади. Перечислено только, что запрещается врачебная практика, учительство, занятия в фотографических заведениях, в присутственных местах, в полиции... Нельзя заниматься им также в судебных учреждениях, быть присяжными поверенными, аптекарями, фельдшерами, работать в типографиях, литографиях и проч... Нельзя состоять членами обществ... держать оружие, взрывчатые вещества, яды и т. п... Ничего нет подходящего!.. Разве, вот здесь... — добавил он, останавливаясь на одном из многочисленных параграфов инструкции: «На полицию возлагается обязанность следить, чтобы политические ссыльные не обладали предметами, могущими способствовать им в побеге или совершении преступных замыслов»...

Помощник остановился и взглянул вопросительно на «начальство».

— Как-будто!.. Но... ведь и сапоги — тоже предметы способствующие в побеге... Где предел? О лошади там, значит, ничего не сказано... Если станем насильно отнимать, может возникнуть большой скандал, за который тоже нас не похвалят, тем более, если там не сказано прямо: «воспрещаются лошади»... Кажется, что нужно оставить. Много ли одна лошадь на десятерых? Если на ней уедет один человек, то мы его легко поймем; а если все, то далеко не уедут. Пусть балуются! Казака послать на главный тракт, чтобы караулил переезд

окрестным якутам приказать ловить немедленно отлучившихся и провожать в город. А двоих казаков с завтрашнего дня назначить в город, чтобы день и ночь не теряли политических из виду.

— На казаков особенно полагаться нельзя, ваше высокоблагородие! Сами не раз убедились, что они даже караулы при магазинах плохо справляют: вместо себя ставят соломенное чучело, одетое в тулуп с ружьём и папайой!.. Будут играть у Таза, а в отчётах плести всякую чепуху! — вмешался Денисов.

— Можно ли на них положиться, в этом мы скоро убедимся, Ксенофонт Поликарпович! — ответил значительно исправник.

— Лошадь оставим, значит, в покое. А вы как полагаете, Федот Феофанович?!

— Что-ж я?!.. Я тоже так думаю. Тем более, что они не делают никаких шагов. Только вот Красусский возит Арканову...

— Пускай возит. Лучше пусть её возит, чем наших женщин. Чересчур красив, каналья, чересчур красив!.. Только выйдет на улицу, все джурджуйские девушки, женщины, даже старые бабы тут как тут у окон или у дверей. В один месяц всех бы перепортил!.. Ничего бы нам не оставил, Ксенофонт Поликарпович!.. Верно говорю! Лучше пусть возит эту приезжую барыню. Всё равно она нам не достанется... А уйдут... Не уйдут!.. Шутки!.. Сумасшествие!.. С тех пор, как Джурджуй зовётся Джурджуем, ещё отсюда никто не убежал. А ведь перебивало их здесь не мало.

Несмотря на эти доказательства, червь сомнения точил исправника. Когда случилось ему сквозь окно увидеть Александрова или Негорского, ведущих лошадь на водопой, лицо его омрачалось, и он опять принимался соображать и думать: послать ли ему губернским властям рапорт о том, что политические купили лошадь, или нет. Не делая доноса, он всю ответственность брал на себя, а сделав его, рисковал или быть поднятым на смех, или повлиять на уменьшение и без того недостаточного казённого пособия ссылкой. Он прекрасно к тому же понимал, как вообще опасно прижимать неприятеля к стенке, неприятеля, с которым, как никак, приходилось жить тут-же бок о бок. Если б он знал, зачем они купили лошадь? Ну, тогда другое дело!.. Нужно спросить!

Раз, когда Самуил зашёл за пособием в полицейское управление, начальник округа заговорил с ним с невинной улыбкой.

— Зачем это понадобилась лошадь этим господам насупротив? Разве денег стало некуда девать?

— Хотят приучить её к плугу и весною подымут пары. Намерены попытать хлеб сеять.

— Действительно — идея! — обрадовался исправник. — Я готов оказать всякое содействие. Напишу об этом губернатору, сделаю представление. Несколько десятков лет тому назад отец Варлаама Варлаамовича тоже

пробовал сеять ячмень и чуть не получил за это знака отличия. Хлеб хорошо вырос, колосья даже налились, но не дозрели. Местные жители, желая горю помочь, зажгли по углам поля костры, да так и сожгли на корню хлеб... До сих пор заметно за Сорданахом квадратное поле с бороздками, где сеял этот купец.

— Плохо выбрал. Не в долинах сеять нужно, а на откосах. На низах влажно, хлеба нежатся и не дозревают. Товарищи мои разыскали укромное место на косогоре за рекой... — с невозмутимым спокойствием ответил Самуил.

Вскоре лошадь исчезла с глаз полиции; её перевели к юрте Красусского на край города. Обыватели исподволь привыкли к её существованию, а начальство забыло о ней.

Хозяева любили и холили животное, словно игрушечку. Не меньше их любила его и Арканова, что служило достаточным поводом, чтобы оно возбуждало отвращение в её муже.

— Что красивого видишь ты в этой неуклюжей скотине, толстоногой, мохнатой, как медведь?

— Напрасно. Она ловкая. У неё красивая головка, и она отлично бегают. Знатоки уже давали товарищам за неё двойную цену. Утверждают, что она украдена где-нибудь на юге, так как нет в окрестностях таких красивых лошадей; к тому же, продавец якут исчез неизвестно куда. Полиция тщетно разыскивает его...

— Хорошее дело!.. Ещё впутаешься в уголовщину. И откуда ты всё это знаешь?

— Знаю. Ты всё сидишь дома, читаешь или рассуждаешь с Черевиным о начале начал. Даже на прогулку вытащить тебя невозможно. Знаешь, пойдём посмотрим Сивку. Увидишь, какой он умный и ручной. Хлеб у меня из рук берёт, точно собака ходит за мной. А ведь в первый раз, когда я приблизилась к нему, он бросался, подымался на дыбы и кричал от страха и злости, точно поросёнок... Страшно быстро приручился, не правда-ли?

Повинуясь какому-то неясному инстинкту, Арканова никогда не упоминала фамилии Красусского и не поясняла, что это именно он смирил лошадь, приучил кушать с руки сахар и хлеб и склонять красивую шею для ласк. Животное так к ней привыкло, что, ещё завидя издали, начинало ржать и бить нетерпеливо копытом в землю...

Красусский, услышав эти сигналы, бросал самую спешную работу, выходил из своей кузницы и смотрел жадно в ту сторону, в которую лошадь протягивала свою голову.

Ежедневно ровно в полдень ходила Арканова гулять по направлению к кузнице. И по мере того, как она приближалась, идя по белоснежному, залитому солнечным блеском озеру, и день, и окрестности светлели, хорошели в глазах Красусского. Необычная, непонятная радость охватывала его и

исчезала на мгновение даже тоска, вечно глодавшая его сердце с тех пор, как он покинул родину.

— Неужели это тоска по женщине? — спрашивал он себя сурово.

Совість успокаивала его: он сознавал, что родины он не променял бы ни на чьи самые сладкия ласки, но совесть делала ему в тоже время упрёки, что он питает не дозволенные чувства к жене товарища... После некоторой борьбы решил он не выходить больше на встречу искусительнице, вообще избегать её. И вот, в первый же раз, как услышал ржание Сивки, голос и шаги Евгении, ласкавшей и кормившей по обыкновению лошадь, он не вышел наружу и продолжал жестоко ковать железо, усиливая удары молота сообразно с усиленным биением своего юного сердца. Арканова, услышав такой невероятный гром и звон, предположила, что необычный наплыв работы удержал любезного кузнеца у наковальни, и, чуть-чуть задетая и раздражённая, удалилась, не заглянув даже в кузницу.

— Что это у тебя сегодня такой вид, как-будто ты семь деревень спалил, а восьмую собираешься?.. — спросил Красусского за обедом Негорский.

— А чего же мне радоваться?.. Побег не состоится. Полиция догадывается. Нас выслеживают. Два казака постоянно вертятся около кузницы. Вот я им поломаю кости, пусть только попадутся!..

— Прошу тебя, не делай никаких скандалов. В чём тебе мешают казаки?

— Ни в чём! Но не люблю, когда шлятся. Впрочем, что они мне сделают? Самое большее — арестуют. Это не помешает вашему побегу. Пойдёте без меня.

Юноша отвернул лицо, чтобы скрыть блеснувшие у него на глазах слёзы. Александров и Негорский изумлённо глядели на него. После обеда Негорский вышел вслед за ним в сени и попробовал придержать за плечо, но Красусский грубо вырвался у него из рук.

— Красусский... Сигизмунд... А сестра?.. А Польша?.. Смотри, парень, берегись... Не поддавайся!

— Кому? Чему?.. Зачем?.. — ответил высокомерно Красусский и повёл плечами. Деланная улыбка перекосила его губы.

— Вот как!.. Дело, вижу, хуже, чем я думал!.. — шепнул Негорский. Он не смел удерживать больше товарища, который резко повернулся и ушёл.

Негорский долго глядел ему вслед.

— Ах, эти бабы! — проговорил он громко, с неудовольствием, садясь вновь за стол и принимаясь за недоконченный стакан чаю. Александров помалкивал и старательно вытряхивал золу из трубочки.

— Берегись!.. Кого мне беречься? — размышлял Красусский. — Призывает на помощь мою сестру!.. Как-будто я могу... как-будто мыслимо... Ведь она жена товарища... К тому же, русская! Впрочем, я... она мне ни чуть не нравится! Она некрасива. Нос у неё неправильный, неловкие движения, чересчур буйные

волосы, чересчур румяные губы... Она старше меня... А главное — страшно горда и самоуверенна. Ей даже в голову не пришло, что у меня нет времени, или что я не заметил её. Она обиделась за то, что я не вышел к ней!.. Не заглянула ко мне даже в кузницу!.. Хорошо, очень хорошо! Посмотрим!..

Когда вечером он заметил вдали Евгению, идущую под руку с мужем к дому Черевина, решимость его окончательно окрепла.

Работал он усиленно, но работа не спорилась; часто, обозлённый, он бросал молоток на землю и погружался в мрачное раздумье. Мусья, которому пришлось заглянуть в кузницу в один из таких моментов, выскочил оттуда, как ошпаренный.

— Совсем дитю! Не знаю, чего хотят от меня? А говорят, что они суть идеалист... и демократ... — бормотал несчастный француз, убегая.

Красусский тайком вздыхал, но долго не мог уснуть и усиленно размышлял, но никак не в состоянии был составить ни одной жалкой фразы, на подобие тех, которые читал в романах. Это ещё больше утвердило его в мысли, что любовь ему не страшна, что он ничуть не влюблён. Придя к такому заключению, он уснул, спокойный и равнодушный. Но когда по утру проснулся, и весенний солнечный свет заглянул ему в глаза, тоска опять охватила его. Он неохотно принялся за работу,

Между тем, джурджуйские обыватели зашевелились. Тёплое дыхание быстро приближающейся весны, казалось, вывело и их из зимней спячки. Они вытащили из амбаров свои древние, разнообразной формы кремнёвки, ружья солдатские и не солдатские, современные двустволки и мушкеты прошлого столетия и всё это потащили к Красусскому в кузницу, требуя в лестных для его мастерства выражениях быстрой переделки всего этого хлама в лучший сорт дальнобойного оружия.

— Уж если вы возьмётесь, уж если вы обещаете, так мы останемся довольны и поверим без сумления!.. Какое может быть сумление?! У вас, известно, золотые руки. Мы не совсем уже дикие и кой-что понимаем. Вы только постарайтесь, а мы честью, того, отблагодарим!.. И здесь, в Джурджуе, тоже люди живут... Вы не сумлевайтесь!.. Мы тоже знаем обращение, вознаградим труды ваши по заслугам!.. — говорили клиенты Красусского политично и витиевато.

Но если он чьё-либо ружьё не принимал за негодностью, собственник обижался и злословил по всему городу. Целый день с утра продолжалась толчея. Красусский слышал не раз сквозь раскрытые двери кузницы, как его гости, встретившись, обменивались краткими замечаниями:

— Что? Взял?!

— Нет. Сказывает, никуда не годится. Гордец! У соседа-то взял, а у меня не хочет. Насказали, верно, ему про меня, насплетничали!

— Зайду показать свою винтовку. Ружьё важнейшее, только курок сломался. Входил новый заказчик и, снявши у порога шапку, начинал:

— Здравствуйте! Уж вы только постарайтесь, порадейте, а мы не оставим вас без благодарности...

Чем ближе подходил полдень, тем суровее разговаривал с заказчиками Красусский. Шаги на тропинке повергали его в лихорадку, он часто не знал, что отвечает, и с трудом удерживался, чтобы не оставить гостя и не выскочить по-старому на двор. Вскоре обнаруживалась, впрочем, ошибка, и вновь принесённое ружьё удостаивалось такого недружелюбного взгляда, что его собственник просто терялся.

— Что такое?

— Ничего!.. Курочек... маленько не в то место попадает!..

— Поставьте там, в ряду...

— А скоро-ли?.. Можно узнать?!

— Не знаю. Посмотрите, сколько набралось. Всегда так, все сразу... Не могу же разорваться!..

— А по снисхождению своему ко мне...

— Почему же к вам? Сделаю, когда придёт очередь.

Промышленник с ужасом взглядывал на настоящую оружейную кладовую, образовавшуюся под стенкой мастерской, и, теребя шапку, всё ждал более ласкового ответа от строгого «мастера»; но так как Красусский продолжал молча работать, мрачно склонившись к тискам, то несчастный кланялся неловко и уходил в смущении.

Починка оружия, как искусство исключительно знакомое в Джурджуе Красусскому, доставляло ему большие барыши, тем более, что в Джурджуе считалось признаком «хорошего тона» хвастаться работой политических ссыльных. Даже Варлаам Варлаамович, который, по словам исправника, боялся заряженного ружья хуже медведя и ни разу в жизни не выстрелил, обязательно в начале весеннего сезона присылал Красусскому для осмотра и выверки свою заржавленную двустволку.

Работы набралось за этот ведренный день в мастерской пропасть, но Евгения не явилась,

На следующий день погода переменилась, стало облачно, подул северный ветер и поросил мелкий снежок. Красусский дверей кузницы не притворял, хотя моментами холодный ветер залетал к самому станку. Он боялся, что Евгения придёт, а он её не заметит. Вчерашнее её отсутствие он объяснял теперь необычным приливом заказчиков, которые могли испугать её своей мало привлекательной наружностью и попутным посещением кабака. Сегодня зато никого не было, так как ничтожная перемена погоды уже действовала угнетающе на неустойчивое настроение джурджуйских охотников, и они

воздерживались от всяких заказов, как-будто весна и не думала приближаться. Они вдруг забывали о гусях и утках, об охоте и своих ружьях и, точно зимою, грелись у пылающих очагов, играя в карты и калякая.

Наплыв работы не позволил Красусскому предаваться особенному отчаянию; быстро промелькнуло утро, незаметно наступил полдень, и вдруг в отверстие дверей мелькнула тень. Юноша взглянул, и вся кровь сразу прихлынула ему к сердцу; у порога стояла Евгения, осыпанная с головы до ног алмазной снеговой пылью, и с улыбкой смотрела на него.

— Доброе утро! Какая пропасть оружия! Я уже видела ваш арсенал, я заглядывала к вам, но вам было некогда... Простите моё любопытство... Но я была немного встревожена,, Вчера люди валили сюда толпою... Что это означает?! Ведь вот сегодня их нет!.. Не больны-ли вы?. Что это вы так бледны!.. — проговорила она тревожно, переступая порог. Но вдруг умолкла и потупилась, взгляд Красусского и дрожащие его губы сказали ей всё... Открытие поразило её, точно молния... Она не двигалась; не двигался и Красусский, за то им казалось, что земля под ними колеблется. Наконец, Арканова прошептала что-то невнятное и вышла, Красусскому вдруг почудилось, что между ним и ею опустилась навсегда чёрная непроницаемая завеса. Тихая печаль, — серая, холодная — как этот зимний, пасмурный день, охватила его и обессилила сразу.

Того-же дня над ним стряслось ещё приключение, которое при других условиях взволновало бы его гораздо больше, чем стоило; теперь же ему было всё равно.

Чтобы не терять времени утром на лишние переходы, Красусский уже неделю тому назад перебрался ночевать в мастерскую, где в маленьком чуланчике устроил себе постель. Он, как раз, окончил работу, поставил на огонь чайник и присел в своей каморке на кровать, грустный и усталый; в голове у него, как дятел, всё постукивала одна мысль, одна мечта: бежать, бежать, бежать... бежать, во что бы ни стало! Он при свете огарка просматривал свои заметки, карты, маршруты, соображал и сопоставлял разные мелочи, лишь бы занять, чем-нибудь тревожные свои мысли. Вдруг двери широко раскрылись, затем крепко захлопнулись, так что со стен юрты посыпалась земля.

— Осторожно! Кто там?! — воскликнул раздражённо Красусский.

Никто не ответил; в то же время звякнул дверной крючок, и зашуршало женское платье. Юноша вскочил взволнованный и с высоко поднятой свечой вышел из чулана.

— Кто там?

— Тише, ради Бога!.. Спасите... Муж!..

Платок упал с головы гостьи, и Красусский узнал жену учителя.

— Вы?.. Что случилось?.. Вы вся в снегу?.. Мужа вашего здесь нет... Разве кто-нибудь обидел вас? Не исправник ли? Я давно догадывался...

— О да, исправник! Он давно был зол на Денисова, что тот перешёл в партию помощника. Он всё выслеживал меня, и теперь... выдал. Муж застиг меня у него... Я едва успела выскочить по чёрному ходу... Господи!.. Слышите — это он!

На дверь посыпались крепкие удары.

— Пожалейте!.. Ради Христа!.. Не выдавайте!.. Он пьян!.. Он убьёт меня!.. Он ужасен!.. Я сделаю для вас всё, что только пожелаете... всё... — шептала женщина, бледная, как полотно.

— Вы спрячьтесь туда!

Он указал ей на чулан и запер за ней дверь, когда она туда вошла, а затем, не торопясь, подошёл к входным дверям, в которые продолжали сыпаться яростные удары.

— Кто там?! Перестаньте!

— Отпирай, а то дом разнесу. Жена моя... моя жена здесь!.. Я её видел... Отпирай, подлый варнак... вор... Чего прячешься?!

Красусский узнал голос учителя...

— Довольно! Прежде всего попридержите язык!.. — Он поставил свечу на наковальню и быстро отбросил крючок. Крепко дёрнутые двери широко раскрылись. На пороге появился учитель в засыпанном снегом, помятом платье.

— Так вот как! Вот какой ты благородный проповедник!.. Где она?.. Отдай!.. Обоих вас я вот здесь... по закону... сейчас!..

Он обвёл пьяным взглядом избу, предметы, отыскивая, видимо, какое-либо орудие.

— Поликарп Селивестрович! Вы пьяны, — проговорил, сдерживаясь, Красусский. — Советую вам вернуться немедленно домой. Там, верно, вы и найдёте свою жену.

— Не пойду!.. Ни за что не уйду... пока не осмотрю всего... Не на такого напал!.. Шалишь!..

— Вы тут никаких обысков не станете делать. Вы всё это выбейте себе из головы. Пойдёмте домой, пойдёмте, я вас усердно об этом прошу...

— Как так не сделаю обыска? Здесь моя жена!.. Я с тобой вот как поступлю: начерчу углём круг, схвачу и посажу в середину, по пояс в землю вобью!.. Так-то!..

Пьяница подвинулся угрожающе вперёд, но Красусский в ту же минуту схватил его за талию и после короткого сопротивления выбросил на двор. Затем заложил крючок, наскоро надел шубу и шапку. Учителюша что-то ему шептала, но он не слушал и не отвечал. Он разобрал только слова «по гроб доски» и слезливые жалобы.

Со двора, между тем, доносились упрёки и стоны выброшенного учителя.

Кормил я тебя, поил, как друга... И любил её одну... И вот, выбросили меня за двери... Ох, горе моё!

Красусский, выйдя, заметил, что учитель сидит на снегу с поленом в руке и жалобно покачивается взад и вперёд, точно молящийся еврей.

— Кормил я, поил его, как друга...

— Встаньте и пойдём!.. Вы отморозите себе члены!..

— Куда пойду, если она изменила мне?! Казачи сказали, что к Денисову, но я хорошо видел, что сюда!..

— Уверю вас, что жену застанем дома.

— Нет, нет!.. Я не тронусь отсюда... Я просижу здесь до... светопреставления. Ну, скажите, дайте мне руку и честное слово благородного человека, что вы не любили её...

— Даю вам честное слово благородного человека, что не любил её!.. — ответил совершенно серьёзно Красусский. — Пойдём! Наденьте шапку и рукавицы, стряхните снег... Из чего вы заключили, что я ухаживаю за вашей женой? Разве я часто хожу к вам? Разве вы что-нибудь заметили?

— А зачем вы раньше ходили и всё спрашивали про горы? Знаем мы ваши горы... Зачем вам горы?.. Не проведёшь, не надуешь... Шутки!.. — Учитель опять стал волноваться и даже пробовал вырвать у Красусского руку, за которую тот его вёл.

— Я видел, что она тебе нравилась... — начал он опять жалобно, когда попытка вырваться не удалась. — Здесь все так: чем больше обманывают, тем меньше ходят. Знаем мы всё это... насквозь видим друг дружку. А она за это... даёт мне много водки!.. Даёт, сколько хочу!..

Он вдруг ослабел, стал сильно пошатываться, и много прошло времени, пока они добрались, наконец, до школы. Там, к удивлению и беспредельной радости учителя, нашли улыбающуюся и прилично одетую жену его.

— Ах ты, противный, бесстыжий пьяница, где ты пропадал? Я людей уже за тобою послала разыскивать... Мокрый, грязный... Где ты шлялся? Несчастье моё, горе с ним! Напьётся, померещится что-нибудь — и бежит ни с того ни с сего!. Ревнует, подозревает... Всякую женщину тогда принимает за меня... Ищи его, раздевай, как малого ребёнка, а он в благодарность за волосы меня дерёт, за косу хватает! Уверю вас!.. Хотите, покажу вам целую прядь, вырванную у меня этим извергом прошлый раз... я её храню на память!

— Не верьте ей, они сами вылезают!.. — защищался стыдливо учитель.

Красусский хотел уйти, но и муж, и жена удерживали его.

— Умоляю вас, ещё останьтесь, — шептала она. — Исступление скоро вернётся. Тогда кого-же позову я? Уверю вас, что я ни у кого не была, что он всё врёт... Я отправилась только к вам, как к... другу, за помощью... Сама не

помню, что в испуге говорила вам... Он грозил, что убьёт меня... Я со страху с ума сошла!..

Бесстыдная наглость этой женщины поразила юношу, и в то же время его охватывало чувство глубокого стыда и гадливости. Он вспомнил, как ещё недавно он с некоторым удовольствием думал об этой весёлой и пригожей женщине. Теперь он понял, что раз навсегда утратил способность к «таким» похождениям, что остаток «пещерной», по выражению Негорского, неискренности и лжи исчез из его души, той лжи, которую оправдывали даже лучшие из известных ему мужчин.

Нет, он никогда не сойдётся с женщиной, которую не полюбит всей душой! И никогда ни в чём не солжёт он любимой женщине!..

VI.

Этот год был для Джурджуя особенно богат приключениями. Ещё не утихли отголоски скандала с учительшей, а уже надвигалось событие, которое потрясло до основ не только джурджуйский край, но и всё русское государство.

Вёзший весть о нём казак летел, буквально очертя голову. Трупы лошадей бросал по пути, брал от жителей свежих животных и всё мчался и мчался... Спал в седле, ел лишь постольку, поскольку успевал закусить во время хватания и седлания лошадей. В пять дней он проскакал тысячу без малого вёрст. Наконец, он очутился на краю обрыва, откуда виден был Джурджуй. До города осталось всего вёрст семь. Но казак узнал по облакам, низко опустившимся на хребты гор, по одиноким взмётам снега в ложбинах, по колыханию вершин лиственниц на косогорах, что ждёт его ещё тяжёлое испытание.

— Не лучше ли свернуть к жителям... есть тут недалеко!.. — искушал его ямщик.

— Ишь!.. Дикий!.. Слезай с лошади!

Нарочный пересел на лучшую ямщицкую лошадь, снявши с неё предварительно вьюки и всё лишнее; ямщика он оставил на дороге с вещами и сам погнал во весь дух.

В долине подымалась едва из тех весенних непогод, когда, казалось, все ветры, притаившиеся в горных ущельях, слетались туда на последний решительный бой. Сначала выбежал один из них и понёсся по чуть-чуть уже согретой солнцем равнине, победоносно завывая и стряхивая с деревьев уцелевший на них снег. Но не достиг он и половины пути, как с боку набросился на него другой вихрь, вцепился в его тело, смял его, скрутил, и, обнявшись, помчались они уже дальше вдвоём с рёвом и дракой. Их шумные волны заполонили уже почти всю долину, уже достигали противоположных гор, когда вдруг оттуда скатилось плоское, широкое воздушное течение,

незаметно подмыло их и ударило снизу. Метель вдруг уродливо вздулась, бешено закружилась и разорвалась на тысячу вихрей и дуновений. Как стая белых, мохнатых чудовищ, покатила пурга по долине с воем, свистом, ржанием. Ветры кусали друг друга, сталкиваясь лбами, точно разъярённые быки, и секли всё на пути жгутами снега, точно мечами. Леса трещали и склонялись низко под их ударами, точно лёгкие тростники. Ущелья и утёсы ревели ужасным воем, а схваченные водоворотом метели облака смешивались с снеговым туманом и варом кипели, то взлетая вверх, то опускаясь к земле.

Когда эта бешено клокочущая волна ударила в казака, лошадь застонала и зашаталась, а всадник сделал крестное знамение. Вскоре он потерял всякое соображение, где он и в какую сторону должен держать путь. Ветры били его с боков, сверху, даже снизу, выбрасывая на воздух столбы снега, стёртого в тончайшую пыль. По временам, когда бой ветров на мгновение стихал, тяжёлые, влажные хлопья снега сыпались беззвучно с низких туч. Тогда казак чуть приподнимал с глаз меховой наличник и осматривал окрестности, а лошадь чистила заткнутые снегом ноздри о выставленное вперёд копыто. Но затишье редко продолжалось дольше самого крошечного мгновения, а затем опять подымался вой, гомон, и всё опять тонуло в белом, холодном, страшном водовороте. Лошадь храпела, обнюхивая путь, а казак молился. Оба они уже с трудом шевелились, уже замерзали, когда животное неожиданно остановилось и тихонько заржало. Совсем близко спокойно подымалось в мутном буруне большое тёмное здание с остроконечной крышей. Казак опять перекрестился, опасаясь «навождения», но спустился с седла и, перебравшись сквозь сугробы заносов, принялся ногами и руками колотить входные двери.

После долгого стука, двери, те, наконец, чуть приотворились, и в щёлку выглянуло удивлённое лицо полицейского сторожа.

— Из «губернии»... Государь убит!.. Беги за начальником округа!..

Оторопевший сторож хотел было в ответ захлопнуть двери перед носом казака, но тот быстро всунул ногу за косяк...

— Сказываю тебе: царь убит! Бери коня и веди под навес...

Сторож дрожал всем телом и пятился назад, не уверенный: казака ли видит перед собою, или привидение.

Нарочный, между тем, развязал ремни и сдёрнул с головы капюшон...

— Лошадь доспей, а к начальнику я сам схожу... Дай каплю глотнуть топлёного масла... Лёд у меня в сердце!..

Час спустя в занесённых вьюгой до крыш домишек города, у жарко растопленных комельков, испуганные жители рассказывали друг другу ужасную новость. В полиции собрались чиновники, поп и официальные представители города; в юрте у Александра — политические ссыльные.

На дворе всё ещё свирепствовала метель.

— Свершилось!.. Свершилось!.. Со времени Куликовской битвы не случилось в России более важного события!.. Господа, родина наша на новый входит путь... Можете не бежать!.. У нас будет конституция!.. Свобода!.. Цепи рабства порваны навсегда! — говорил возбуждённо Арканов, сжимая руки и расхаживая по юрте.

— Столько жертв!.. Земной бог, перед которым русский мужик ниц падал...

— Несомненно, событие первостепенной для России важности; главное, какое оно произведёт впечатление на простой народ: перестанет-ли он боготворить своих властителей, или, наоборот, возмутится и встанет против освободителей... И то, и это возможно! Кто поручится, что это удачное покушение не поведёт к ещё горшей реакции!.. Как ни как, с именем убитого связано освобождение крепостных миллионов. Лицо выбрано неудачно... Для народа он, всё-таки, был лучшим царём. Я вижу в этом убийстве, как и в других покушениях, только доказательство политического бессилия и политической бестактности партии! — раздражительно доказывал Петров.

— Лучшим царём?.. А сиротские наделы? А земские стражники? А преследование земств, школ?! Допустим даже, что народ выскажется за царя, так разве это доказательство?! Народ, тёмный, обездоленный, жалкое рабское стадо, загнанное и управляемое горстью чиновников!.. — заспорил Арканов.

— Народ, я думаю, или останется безучастен, или набросится на своих угнетателей... Во всяком случае, вспыхнут волнения! — заметил Александров.

— Конституции, может быть, и не дадут, но уступки во всяком случае сделают! — необыкновенно энергично сказал Черевин.

— Это зависит всецело от того, будет ли продолжение... Если у партии есть силы, чтобы вырвать уступки... — вмешался Негорский.

Поднялся спор. Каждый спешил высказать своё мнение, и у каждого было оно особое. Даже Гликсберг, придерживая Воронина за пуговицу, что-то доказывал ему горячо, ссылаясь то на того, то на другого заграничного автора.

— Да, да!.. Именно... Россия! — бормотал тот неопределённо.

— Какая Россия?.. Какое именно?!.. Вы кажется не расслышали?! — горячился Гликсберг. ,

Всех заглушил, в конце концов, бас Арканова.

— Господа, подымитесь хоть немножко над деталями текущей жизни. Отбросьте буржуазную привычку сейчас же требовать за всё наличные деньги. От казни Людовика XVI...

— Тише! Кто-то идёт!..

— Пусть идёт!

Оратор, однако, предусмотрительно умолк. В сенях слышался продолжительный, неопределённый шорох. Очевидно, посетитель не мог найти ремня, заменяющего в Джурджуе дверную ручку. Красусский толкнул

двери. На пороге появился джурджуйский командир, казачий пятидесятник, в парадном мундире и при сабле; казаку, который провожал его, он приказал остаться в сенях. Сам вошёл в избу и двери за собой притворил.

— Исправник просит вас, господа, к восьми часам в полицию.

— Всех?

— Всех.

— Зачем?

— Этого я не знаю!

— Пусть исправник пришлёт нам официальную повестку с указанием дела!

— ответил высокомерно стоявший впереди Арканов.

— Значит, вы, господа... отказываетесь!

— Пусть пришлют нам письменно приглашение, и возможно, что придём! — ответил мягче Самуил.

Командир подумал немного, поклонился и ушёл, позванивая шпорами.

Ссылные стали делать разные догадки: что бы это требование могло означать, — и решили сегодня не расходиться. Александров и Негорский угостили товарищей отличными сухарями и сушёным мясом. Самовар, постоянно подбавляемый, кипел непрерывно.

Вскоре казак принёс формальную повестку, чтобы все, названные по имени и фамилии, явились сегодня в полицию для подписи к присяге на верность новому царю, а завтра принесли её в церкви.

Требование было до того неожиданно, что ссылные смутились.

— Дураки! Какое же значение представляет присяга человека неверующего, как я? — сказал, пожимая плечами Черевин.

— Значит, вы отказываетесь?

— Ну, нет. Я не столько наивен, чтобы позволить так грубо себя обойти... Ведь это явная ловушка!

— Возможно. Но я, даже зная это... не могу... Не смотря на то, что теоретически не вижу препятствий, но... есть что-то в этом крайне гадкое и позорное... Не могу, хотя бы меня за это... сослали в каторгу... не могу... — горячился Петров.

— Я полагаю, что не подлежит сомнению... — начал было Арканов.

— Именно!

— Так!

— Нет!

— Пусть все выскажутся!

Поднялся шум.

— Значит, вы предполагаете, что мой муж готов присягнуть? — воскликнула болезненно Арканова.

— Наоборот, я предполагаю, что никто из нас не станет присягать, что это само собою понятно, и что не стоит об этом рассуждать. Для меня вопрос только, в какой это сделать форме?

— Без всякой формы!.. Разве неизбежно разговаривать разговоры с этими господами? Дело само за себя говорит: не явились, значит — не хотим!.. — советовал Александров.

— Этого мало. Этого они не поймут!.. — ответил Самуил.

— В праве будут подумать, что мы боимся их!.. — добавил Красусский.

— Пусть думают. Тем хуже для них. Какое нам дело, что об нас думает джурджуйский исправник?! Я не склонен разговаривать с ними о моих убеждениях... Ни с кем, даже с министром!.. Смешное заблуждение, что можно убедить их чем-либо другим, кроме силы... — продолжал доказывать Александров.

— Всё-таки что-нибудь ответить нужно. Это необходимо не для них и не для нас, но для... народа, для истории! — Заметил Арканов.

— Именно! У народа только и дела, что заниматься нашими протестами. Я поддерживаю предложение Александрова. Всякий разговор с врагом для него польза, а для нас урон. В разговорах он всегда что-нибудь да узнает; между тем, мы для него страшны, пока мы, как туча: неизвестно, грянет или не грянет гром из неё, — вмешался горячо Негорский.

— Совсем нет! Мы не должны упускать ни малейшего случая для ослабления престижа власти. Мы должны её дезорганизовывать, убивать её авторитет даже в мозгах её сторонников и руководителей, даже в сердцах чиновников и служащих... — доказывал Арканов.

Не смотря на решительный протест Александрова, предложение его провалилось на баллотировке. Ссылные решили отказ свой мотивировать и сочинили для этого следующую формулу: «Отказываемся присягать на верность деспотической монархии».

Черевин всё твердил, что это ловушка, и что он ввиду этого присягать будет. Александров безусловно отказался от участия даже в заявлении.

— Никакой!.. Ни деспотической, ни всякой другой. Результат будет такой, что вас немедленно арестуют — и больше ничего!

— Если не пойдём, тоже нас арестуют.

— Это ещё неизвестно. Над этим им придётся ещё поразмыслить. Отсутствие не есть ещё преступление. Его можно разное толковать. Молчание не наказуется. Отказ же в исполнении требования властей является, во всяком случае, объектом преследования, предусмотренным уложением о наказаниях. Зачем врагу облегчать положение? Молчаливое сопротивление — самое трудное, но и самое могущественное. Разговор с врагом несомненный компромисс...

Замечание о возможности ареста удержало протестантов от коллективной подачи заявления.

— По одиночке ещё хуже.

— Лучше всего послать депутата...

— Это незаконно. Исправник не примет коллективной декларации... Нельзя!

— Пусть не принимает.

— А я повторяю, что это ловушка!.. — твердил Черевин. Негорский враждебно расхаживал по избе.

— Слушайте!.. — заговорил, наконец, он, останавливаясь посередине. — У нас есть запас сухарей, приготовленных для побега, есть оружие и порох для четверых людей. Всё это мы можем легко перетащить сюда... Стены юрты достаточно толсты и обмазаны к тому же слоем навоза и глины... Из сеней можно прекрасно отстреливаться... Мы попробуем защищаться!.. Мне кажется, что мы способны выдержать осаду даже до весны, а тогда, когда сойдёт снег, двинем в тайгу... Пусть Самуил отправляется в полицию с заявлением, а остальные пусть несут сюда вещи... — закончил он и опять принялся ходить по юрте нервными, порывистыми шагами.

Огонь потрескивал в камине, красное его зарево точно кровью окрашивало людей, застывших в раздумьи у стола и на нарах вдоль закоптелых, покатых стен.

— После того, что случилось в России, я полагаю, что даже такой крупный протест не произведёт никакого впечатления!.. — сказал первый Арканов.

— Впрочем... Я согласен!.. — добавил он неохотно, взглянув в сверкающие глаза жены.

Негорский остановился перед ним.

— Мы никого не заставляем. Я сказал только, что мы четверо бегущих, наверно, так поступим. Разве не так, друзья?

Александров, стоявший тут же рядом, кивнул головой. Воронин и Красусский, мрачные и бледные, подошли к ним.

— Лошадь переведём к Яну, пусть пока присматривает за ней.

— Нужно будет в амбаре и в сенях прорубить отверстия для стрельбы.

— Успеем. Времени много. Теперь главное — патроны и пули...

Красусский и Воронин отправились за топорами и оружием в мастерскую.

В юрте воцарилось тяжёлое, мучительное молчание. Нарушило его появление Яна. Покрытый снегом с головы до ног, он вошёл в шапке, взглянул на всех и молча стал согревать прозябшие руки у камина.

— Откуда?

— Звали... к присяге.

— И что же?

— Я сказал им, что я раз уже... присягал горам, долам и полям!.. — ответил слегка изменившимся голосом Ян и стряхнул решительно снег с шапки.

— И вас отпустили?

— А что такое? Я им ничего не сделал...

Он рассказал подробно, как всё случилось.

Когда Воронин и Красусский вернулись с порохом и пулями, Негорский немедленно принялся делать патроны... Ян взглянул на него и грустно покачал головой.

— Стар я для этого, стар, господа. Дети у меня есть, и хотя знаю, что не сладка будет теперь моя жизнь...

— Да. Тебя прогонят со службы. Но если-б ты даже захотел, мы бы тебя не взяли, пан Ян. Мы засядем без женатых и без... женщин!.. — проговорил Негорский, взглядывая мельком на Евгению. Та не двинулась с места, но поморщилась и шепнула:

— Почему же?

Самуил быстро на углу стола писал заявление.

— Господа, подписывайте!

Подходили по очереди. Вдруг с грохотом влетел в юрту Мусья.

— Ты присягнул?

— Присягнул. А что? Мне сказали, что все вы присягнули!

— Да-а!.. А вы забыли:

«A bas la tyrannie!..»¹

Пропел Самуил.

— Так это неправда?! Так это называется обман. Бегу сейчас к исправнику. Я так не позволю... Пусть он вернёт мне мою присягу.

— Не поможет. Что с воза упало, то пропало!

Мусья стоял некоторое время, как поражённый громом. Две мутные слезы покатались вдруг у него по бледному лицу.

— Видите, видите!.. Вы меня отталкиваете, а я ведь всегда... хотел бы... как все!..

Они отказались присягнуть, и, тем не менее, никто их не тронул. Но слабые нити, соединявшие их до сих пор с жителями города, окончательно порвались, и кругом них образовалась совершенная пустыня. Они жили теперь, как на острове. Даже приезжие из дальних окрестностей якуты, которые, осматривая достопримечательности города, считали раньше своей обязанностью зайти к ним в юрту, потоптаться молча у дверей и затем уйти, чтобы иметь возможность рассказывать в своих улусах, как живут «преступники²», даже эти назойливые, бесцеремонные гости исчезли.

¹ A bas la tyrannie! – франц., Долой тиранию! – прим. OCR.

Все знали, что исправник послал в губернию запрос, как поступить с «отказчиками», и все были уверены, что придёт самый строгий приговор, что всех казнят смертью, Александрову же и Красусскому, как «силачам», до казни сломают «правую руку и правую ногу», согласно древним якутским обычаям. Поэтому жители бежали от «отпетых» людей, как от чумы, а миролюбивый Варлаам Варлаамович даже отдавал им за пол-цены товар, когда они заходили в его лавку, только бы поскорее отделаться.

— Чего доброго и меня обвинят, что разговариваю... — жаловался он жене.

— И то правда. А ты знаешь, Варлаам Варлаамович, ты им не отвечай так-таки ни слова: кивай головой и только! Пусть сами доспевают!..

— Ну и сказала! Прямо, как женщина!.. Ведь тогда «они» обидятся. А шутить они не любят!.. Право, горе купцу в такое время!

Жирная, невероятно пугливая жена Варлаама Варлаамовича тяжело вздыхала и зажигала свечу перед иконой Иннокентия угодника, покровителя Сибири.

Никто в городе не догадывался, что в юрте Александрова стоят наготове заряженные ружья, и что там каждую ночь дежурит караульный. Туда никто не ходил.

Даже остальные ссыльные держались вдали от опасного жилища. Воронин перебрался туда со своими книгами; место его у Самуила заняли Петров и Гликсберг, так как прежний их хозяин, старый, правоверный казак Якушкин, отказал им в квартире после отказа от присяги. Красусский тоже ночевал у Александрова, но днём работал по прежнему в мастерской. Там посещал его ежедневно Мусья, которого приютили Аркановы.

Мусья поселился у них в кухне и дал зарок, что он «ногою больше не ступит в мерзком, обманчивом городе!» В награду за такой подвиг он считал себя в праве сидеть в кузнице, где обдeldывал, точил, сверлил и шлифовал свои запонки, мундштуки, трубочки из мамонтовой кости... Во время работы он рассказывал Красусскому свои бесконечные приключения в Швейцарии, Италии, Алжире... Юноша слушал терпеливо эти знакомые, давно всем надоевшие рассказы: наградой ему были те крохотные сведения о Евгении, которые француз доставлял ему невольнo... Иногда, впрочем, переполнялась мера снисхождения Красусокого.

— Замолчите, Мусья! Ведь вы вчера говорили как раз обратное.

— Tiens! Уже молчу. Я не знал, что говорил вам об этом!..

И так, мало помалу, напряжённое, лихорадочное ожидание событий, борьбы, ужасов, всякого рода улеглось и затихло в городе.

Среди политических явилась даже надежда, что распутица, разлив рек, вскрытие озёр и топей задержат почту с ответом из «губернии», что «четыре безумца» успеют тем временем сбежать, а для других дело о присяге окончится

тюрьмой или переводом в отдалённые улусы. И сами «безумцы» ощущали понятную радость, когда тёплые ветры и яркое, жгучее весеннее солнце пожирало снега, когда из-под их истрёпанной пелены выглядывали всё гуще пятна сырой земли, чёрной, бархатной, мокрой, точно свежая плесень. За то, когда в пасмурные дни опять поросил снег и затягивал свои весенние раны, когда мерзлота опять хрустела под ногами, надежды их слабели и возвращалось томление.

В такие дни Арканова не в силах была читать вечерами, вздрагивала при малейшем шуме и посылала немедленно Мусью узнавать в полицию, не почта ли это пришла? Она бледнела и худела не по дням, а по часам; её красивые васильковые глаза ввалились и лихорадочно блестили. Каждое утро выходила она прежде всего на крыльцо осведомиться, какая налаживается погода. Затем глядела мгновение на мрачную, ободранную юрту товарищей, из трубы которой обыкновенно вился дымок, розовый от света зари.

— Что они делают? Дрожат ли и их сердца хоть временами, так же как моё? — раздумывала она.

В её воображении всё с той же силой вставала картина юрты, облитой красным светом камелька, когда Негорский сыпал порох и вкладывал пули в патроны, а в сенях стучали топоры, прорубая бойницы.

Она представляла себе, как из тихой в настоящее время юрты загремят выстрелы, как низко над озером поплывёт белый тяжёлый дым пороха, а внутри польётся кровь, станут умирать люди, товарищи, братья по духу, по взглядам и по стремлениям.

Она страстно желала повидаться с ними, но Арканов не пускал её, угрожая, что застрелится сейчас же, немедленно, но дожидаясь почты, если она туда станет ходить.

— Ходить туда, по моему, то же самое, что и оказать вооружённое сопротивление. Станут искать пособников, привлекут тебя, впутают в судебное дело... а я... не переживу разлуки! А всему причина: беспредельное, непоборимое самолюбие и тщеславие Негорского. Он хочет властвовать, во что бы то ни стало, и ради этого подбил других.

— Ты ошибаешься! — пробовала защищать его Евгения.

Тогда муж её спокойно, методически, разбирая слово за словом все выражения, замечания, мнения нелюбимых им товарищей, вспоминал даже их взгляды и жесты, всё перетолковывая по своему. И ничего не оставалось от этих чутких, смелых, решительных людей, кроме гадости, глупости, упрямства и рисовки...

— А главное: это не произведёт никакого впечатления в России!.. А в этом для меня вся суть!

Молодая женщина стискивала зубы, закрывала глаза и с глубоко затаённой болью ждала, скоро-ли окончит свой «анализ» муж. После того они обыкновенно не разговаривали друг с другом несколько часов, иногда даже несколько дней.

Примирение совершалось обыкновенно при помощи Мусьи, который вернулся к старой привычке: являлся, опять нагруженный городскими новостями, сплетнями и слухами. Затем вечером приходил Самуил или «Иностранные Державы», но никогда никто... из той юрты.

— У нас в Джурджуе образовалась маленькая копия «европейского концерта», — шутил Самуил. — Безумный неосмотрительный народец, строгий нейтралитет разумных и основательных государств и... вооружённый мир... Не путайтесь, не пугайтесь: он у меня дома, где мы ведём длинные и занимательные разговоры с новыми жильцами о погоде, о вкусе чая, о пользе сухой светлой квартиры, о ценности здоровья и хорошего настроения духа, словом обо всём... исключая принципов! Не разрешите ли мне, Евгения Ивановна, провозгласить себя вашим рыцарем и... подуть в самовар!?

— Возьмите лучше сапог Артемия, жаль ваших лёгких и вашей гортани!

— А может быть, споём что-нибудь сегодня?.. — предлагал Арканов.

— Предпочитаю повторить вам мой диалог с нашим «помпадуром».

— Вы, значит, с ним виделись?

— А то как же... «Они» послали за мной собственную лошадь. В последнее время лошадь эта довольно часто... подъезжает ко мне. «Мы, Божией Милостью джурджуйский Повелитель... не чувствуем себя достаточно прочно на престоле. Усматриваем некие признаки, которых понять не можем... отсюда наши разъезды... Шевелим нашими дипломатическими способностями...» Сегодня «они» угостили нас отличной сигарой и спрашивают: «Не находите, что весна в этом году необычно ранняя?!» — Помилуйте, Николай Иванович, смеем ли мы не согласоваться с расписанием, напечатанным с разрешения цензуры! Если кто виноват, так этот смутьян солнце — всё жжёт, ну, от этого и тает... Но разве мы виноваты?.. Для нас всё равно: начальство велит, чтобы была весна — будет весна, а объявит, что воспрещена весна, и нет весны — «Вы всё шутите!» С горя, Николай Иванович, с горя!.. — «Гм! А вот читали вы в газетах про пешехода, что пешком решил земной шар обойти? Интересно, как это он по морю ходит!» — Должно быть, ходит по судну, на котором едет. — «Остроумно придумано! А о чудесном ребёнке, что играет на рояли с завязанными глазами, вы читали?» — Читал о трёх. — Вздох и длительный перерыв. «Как вы думаете: полиция — войско или не войско? Например, в случае войны, можно и полицию заставить выступить?» Теперь я молчу и внимательно осматриваю сигару. «Почему все вы, господа, бросили ходить к Александрову?» Я крепко затягиваюсь и поэтому сейчас ответить не могу, затем я поперхиваюсь, кашляю и встаю. «Вы уже

уходите? Жаль!» — Должен, что-ж делать, Николай Иванович, дом пустой, не заперт, товарищи ушли на прогулку. — «Я вас понимаю. Очень жаль, что всё так случилось. Так мирно жили мы в Джурджуе... Когда я сюда отправлялся на службу, я радовался, что буду вдали от всех злоб дня!.. Ведь жили мы недурно?! Правда?!» — Не могу отрицать... — «В сущности, что такое присяга? Простая форма, каких мы ежедневно совершаем десятки. Ведь вы клянётесь на улице людям, которых почти не знаете!.. Может, вы изменили ваше решение, и я могу донести об этом в губернию?!» Вопрос заставляет меня разыграть роль Катона. — Вы поймите, что нам осталось лишь уважение к самим себе!.. — Жалкое лицо «помпадура» и вместе с тем крепкое пожатие моей руки. «Мне жаль вас!» Полагаю, что ему действительно нас жаль. Вместе с нами он потеряет в Джурджуе. интересный предмет для своих наблюдений... В городе ничего не останется, кроме якутско-казацких драк, полицейских розысков, да любовных похождения Денисова!

Лицо Аркановой покраснело.

— Как так Денисов? Ведь говорили...

В разговор вдруг вмешался Арканов.

— Очевидно, всё-таки, что исправник догадывается. Не окончилось бы это плачевно для тех... Надо их предостеречь.

— Я был у них сегодня утром. Они утверждают, что находятся единственно во власти погоды.

Снег в городе и на окрестных полях исчез. Белел он только ещё в тайге и на горах. Толстые его слои на откосах и вершинах цепей не допускали путешествия горными хребтами. Главное, удерживал беглецов недостаток подножного корма. Бледно-зелёные былинки свежей зелени едва-едва пробивались из недр чёрной холодной земли. Но ссыльные могли теперь спокойно дожидаться лучшей поры. Лёд на озёрах размок, разрыхлился, потрескался; проезд по нему стал невозможен, а летние обходные пути ещё не открылись, по ним неслись ещё бурные потоки весенних вод, и не было нигде на речках ни мостов, ни лодок для переправ. Тот, кто раз попал в хитрую сеть разлившихся потоков, не раз по неделям принуждён был ждать убыли воды, отрезанный от всего мира, заключённый наводнением точно в тюрьме на придорожном холме, где приходилось страдать от голода и холода, где лошади дошли от недостатка корма. Ни одна почта, ни один самый торопливый «нарочный» не осмеливались уходить от жителей в такое время и оставались в том посёлке, где их заставала весенняя распутица.

Ночи, между тем, укорачивались. Они уже не темнели, их сменили две зори — вечерняя и утренняя, которые наступали непосредственно друг за другом, точно взмахи крыльев летящей птицы. У горизонта этих белых полярных ночей, низко над землёю, стлался розовый, светлый туман, а высоко на

небесном своде мягко мерцали звёзды. И были эти короткие ночи замечательно тихи, так как ветры обыкновенно прекращались с закатом солнца, мелкие ручейки переставали струиться, а большие умеряли свой шум. Птицы прятались в траве, и только неясно звучал сонный гомон ночующих где-нибудь на песках гусей, или с дальних озёр долетало лебединое пение.

С восходом солнца всё менялось, точно кто ударил по струнам громадной чуткой арфы — всё вдруг подымалось для кипучей бешеной жизни. В оврагах двигались, плыли, урчали, шумели, бурлили серебристые воды. Забытые остатки льда и снега таяли. Проснувшиеся пернатые вспархивали, принимались кричать, петь, драться, бегать, летать и, точно помня длинную зимнюю спячку, торопились теперь вволю наиграться, настрадаться и до сыта упиться жизнью и любовью.

Нежные, трепетные дуновения ветерка неслись чаще всего с юга и приносили оттуда всё новые и новые полки птиц. Всё воздушное пространство, всё поднебесье было ими полно. Они летели не то в каком-то смятении, не то в упоении, точно листья, гонимые бурей. Но у всякой породы был свой отличный строй и разный способ полёта. Белые лебеди тяжело попевали друг за другом, точно крупные, нанизанные на одну нить жемчужины, влекомые таинственной силой. Гуси летели, построившись углом, утки свёртывались и развёртывались в беспокойную подвижную цепь, точно огромные чётки, брошенные мощной рукой в поднебесье. Иногда они неслись плоской, сбитой, шумной тучей. Мелкие птицы пролетали беспорядочными стаями, похожими на рой, лишённый вожатых и порядка.

Перед этой весенней волной, влажной, тёплой, живой — уходили всё дальше на север мертвенные снега и льды, преследуемые солнцем, разъедаемые водой. За ними тут же следом неслись удивительно близко кудрявые, тёплые тучки, медовые запахи; зацветали в рощицах «нюргусуны» (анемоны), зеленела шелковистая мурава, и лиственничные леса одевались золотисто-зелёным туманом молодой хвои. И лето было тут, как тут!

Евгения, которая впервые видела полярную весну, была очарована бешеным её ходом. Её сердце рвалось за быстролётными птицами. Она с завистью думала об этих четырёх смельчаках, которые вскоре должны были бежать.

Наконец, загрохотали, зашумели толстые льды, и тронулась река.

Ночь была уже не розовая, а золотая, так как солнце уже не закатывалось ниже горизонта. Городок спал в облаках седых дымокуров, горящих у каждого почти дома.

Воронин стоял на страже на крыше юрты, а Красусский осторожно выносил вьюки из мастерской и перетаскивал их сквозь кусты к озеру, где у берега покачивалась маленькая душегубка. Озеро длинное, как протока реки, чёрное, неподвижное, дремало в зелёной оправе лиственничной тайги. Тучи комаров

висели над лодочкой и немилосердно жалили работающих людей. Часть хитрых насекомых провожала всякий раз возвращающегося в юрту Красусского и поджидала его у порога. Поглощённый работой, юноша не обращал на них внимания, и они напивались его крови до отвала. Пот градом катился по лицу молодого богатыря, так как надо было торопиться, а багаж был связан в большие и тяжёлые вьюки.

Вздыхнул свободнее Красусский лишь тогда, когда сел в лодку и оттолкнул её от берега двухлопачным веслом. Воронин побежал вдоль городского берега на разведки, так как лодку могли заметить с дорожки случайные прохожие.

По другую сторону озера тянулись непролазные болота и чаща. Красусский, скрываясь под ветвями нависших над водою деревьев и камышника, быстро гнал лодку тихими, но крепкими ударами весла.

Он счастливо добрался до конца, где низкий, поросший тальником волок отделял озеро от ущелья реки. Здесь должны были дожидаться его Негорский и Александров, но юноша тщетно высматривал их. Даже Воронин исчез, принуждённый обходить широко здесь раскинувшиеся трясины.

Красуский ждал некоторое время, затем протяжно свистнул. Ответный свист раздался совсем близко, но люди не показывались. Красусский поднялся в лодке и, опираясь на весло, прислушался. Вдруг с боку совсем неожиданно вынырнул из кустов Негорский.

— Кругом топко. Нельзя подойти с лошадей. Нужно будет кладь перенести на руках, а лодку перетащить пустую.

— Много времени уйдёт, а в городе вот-вот проснутся.

— Самуил, Петров, Арканов помогут нам.

— Разве они пришли?.. Все?..

Негорский кивнул головой. Щёки дрогнули у Красусского, он быстро нагнулся и поднял тяжёлый вьюк. Здесь не было необходимости остерегаться, как посреди города, но зато липкая грязь мешала им, а необходимость торопиться раздражала.

Между тем, всякую минуту мог подойти якут или якутка, разыскивающая потерявшихся за ночь коров, или просто мог явиться прохожий, заинтересованный необычным шумом в неурочном месте. Тем более следовало не мешкать, что как раз недалеко проходила тропинка, по которой рыбаки отправлялись из города на реку, так как здесь был самый короткий и удобный переход к ней. Все политические, не исключая Гликсберга, принялись поспешно разгружать лодку, но некоторых узлов никто не в силах был поднять, исключая Красусского и Александрова. К сожалению, последний держал Сивку, который, напуганный необычным движением, стриг ушами и

подымался на дыбы. Красусский, выбросив груз на берег, сам попробовал вытащить лодку, глубоко засевшую в тине.

— Пошлите всё к чертям и помогите мне! — крикнул он, наконец, товарищам, выведенный из себя неудачей своей попытки и комарами, которые, пользуясь его незащищённостью, напустились на него в то время, как он наклонился над водой, и прямо не давали ему вздохнуть.

Когда лодка общими усилиями была, наконец, вытащена из трав и болота на открытый берег, Александров, согласно указаниям Красусского, сделал наскоро из ремней шлею, лошадь запряг в лодку, а в последнюю ссыльные положили груз. Сначала Сивко весело дёрнул, но когда почувствовал на шее давящую петлю, когда услышал позади себя шуршание волочащегося корыта, — бросился в сторону с храпением, принялся лягать и ломать кусты. Красусский с трудом удержал охвативший его гнев: он больно дёрнул лошадь и рука его невольно коснулась висевшего у пояса ножа. Вдруг он заметил по ту сторону волока Евгению, бледную и испуганную. Всё время сильно занятый выгрузкой, он не успел даже повидаться с ней и поздороваться. Теперь её широко раскрытые глаза и страдальческое лицо поразили его, как удар дротика. Он мягко подошёл к лошади, так некогда любимой ею, и принялся ласкать животное по лбу и шее, как это делала она, и говорить ему её нежные слова. Лошадь мгновенно успокоилась, доверчиво положила свою морду на его плечо и перестала дрожать и лягаться. Когда её вторично запрягли, она потащила лодку.

Осталось вещи и лодку спустить с высокого, крутого глинистого обрыва вниз, где плыла широкая, стальная лента реки, изрезанная полосами золотого солнечного блеска и чёрными, длинными утренними тенями берегов. Тут опять с Сивкой возникла возня: он никак не хотел спуститься по крутой тропинке. Тщетно Александров и Красусский пробовали стащить его за повод, лошадь вставала на дыбы и встряхивала ими над пропастью, точно бубенчиками. Собравшиеся внизу товарищи с трудом удерживали крик ужаса. Пришлось Красусскому повести животное в обход по дальнему, пологому спуску. Тем временем Александров перевозил на тот берег вещи и Негорского, Воронина и Самуила, который собрался проводить их в горы. Красусский, придя, нашёл на берегу только Петрова, Гликсберга и Аркановых.

— Торопись, торопись! — прикрикивал на него дожидавшийся его в лодке Александров.

Комары, летавшие кругом густым облаком, отравили прощание. У всех, однако, слёзы заблестели в глазах, когда они обняли этого последнего товарища, идущего, по их мнению, на верную гибель.

— До свидания, до свидания! Возвращайтесь, если вам не повезёт. Мы тут будем возможно дольше скрывать ваше отсутствие. Возвращайтесь!

— Прощайте, прощайте! — повторял юноша, не подымая упрямо ни глаз, ни пасмурного лица.

Когда он робко протянул Аркановой руку, последняя, как и другие, подставила ему для поцелуя щёку. Красусский, взволнованный, прыгнул в лодку, которую Александров немедленно оттолкнул от берега. Повод натянулся, лошадь подалась, но в воду идти не пожелала, пока Петров не ударил её крепко прутом сзади. Тогда она решительно прыгнула в воду, пошла, а затем поплыла с развевающейся гривой и раздутыми ноздрями. Быстрина подхватила и лодку, и лошадь. Оставшиеся на берегу ссыльные не уходили до тех пор, пока беглецы не причалили к противоположному берегу. Тогда замахали им платками и закричали ура!

С противоположного берега донёсся слабый ответ и шапки взлетели там вверх. Затем беглецы ещё раз поклонились им и исчезли.

Когда, возвращаясь обратно в город, оставшиеся с высоты обрыва взглянули на противоположный берег, они заметили там лишь борозду покачивающихся верхушек тальников и белое пятно лошади, мелькавшее там и сям сквозь частяк.

Ближе, в глубоком ущельи, с глухим шумом мчалась стальная змея реки. В зеркальных её изгибах отражались, дрожа, жёлтые пески мелей, бледно-зелёные прибрежные тальники, тёмные обрывы и, дальше, синие вершины гор, покрытых лесами и увенчанных ещё снегами. Этих гор под голубым сводом небес виднелось там необозримое море.

VII.

Приречный лес отделялся от нагорных лесов обширными густо населёнными лугами.

Когда беглецы вышли на их опушку, трубы многих юрт уже дымились, и заметно было движение. Пришлось подождать ночи, так как никоим образом нельзя было рассчитывать проскользнуть мимо якутов незаметно. Беглецам, понятно, не хотелось оставить никаких указаний, в каком направлении они исчезли в горах. Они спрятались обратно в чащу и там развели огонь. Александров вынул косу, посадил её на ручку и накосил для лошади травы. Беглецы не отпускали её с привязи, опасаясь, что она вернётся за реку. Сивка стоял в облаке дыма, защищавшем его от комаров, и жадно жевал сочные травы, а ссыльные легли спать, закутавшись с головами в дорожные заячьи одеяла. Было, правда, вследствие этого и душно, и жарко, но иначе комары не позволили бы сомкнуть глаз.

Разбудил Красусского сильный треск в кустах. С ужасом заметил он, что нет на месте Сивки, но скоро успокоился, сообразив, что нет также Александрова, и

что, значит, он повёл лошадь на водопой, при чём захватил с собой и чайник для воды на чай. Красусскому оставалось только помыться в ближайшей луже, подправить огонь и ждать. Между тем, проснулись и остальные беглецы. С Александровым пришёл Самуил, который вчера вернулся в город, а теперь опять явился, чтобы проводить их дальше.

— Что слышно?

— Ничего. Всё по-старому. Мы решили по очереди утром топить у вас в юрте, чтобы жители по отсутствию дыма не догадались...

— Э-э! Лучше оставьте. Ещё придерутся к вам, когда всё откроется. Если сегодня ночью нас не поймают, то хотя бы завтра и поднялись розыски, пиши пропало! Сам ведь чёрт не догадается, в какую мы направились сторону! Бездорожица тем и хороша, что лишена направления.

— Всё-таки мы решили скрывать возможно дольше ваше отсутствие. Сегодня я с Петровым заходил. Такое обидное охватило чувство, когда мы оглядели ваши пустые углы, что Петров решился... просить вас...

Он не договорил и принялся смущённо ковырять палкой в золе; беглецы долго молчали.

— Поздно! — ответил, наконец, Негорский.

— Пусть бы пошли... Это нам не помешает!.. — поддержал Самуила Александров; он осмотрел товарища каким-то особым, новым и пристальным взглядом.

— Побег не фарс. Ни вещей, ни сухарей не запасено... — страстно воспротивился Негорский.

Никто ему не возразил; действительно, с присоединением новых лиц, опыт побега превращался в шутку.

— А Аркановы не собираются бежать?!

— Нет, только мы... трое!..

Опять все задумались.

— Так что же? Что мне ответить?

— Поздно. Могли подумать зимой... Будьте рассудительны. Если убежим, пришлём вам денег для лучшего побега, а если погибнем... так без вас.

Самуил всё ковырял в золе, не подымая глаз.

— Красусский, время вьючить лошадь, солнце низко!.. — прервал молчание Негорский.

Пока заседлали и нагрузили лошадь, солнце побледнело и спряталось за вершины гор, золотой блеск дня сменился медным светом летней полярной ночи. С реки повеяло холодом; тучи комаров опять набросились на путешественников, лишь только они оставили спасительный круг дыма. Воронин не успевал сгонять их с Сивки махалкой из конского хвоста. Лошадь ляглась и плясала под тяжестью вьюка.

Шли беглецы всё без дороги, чаще, параллельно к реке, осторожно обходя населённую долину. Немного впереди шагал Красусский с двустволкой на спине и подавал сигнал, можно или нельзя идти дальше. Так пробрались они незаметно до большой прогалины, по которой пролегла главная дорога в Джурджуй и где стояла юрта паромного перевозчика Галки. Здесь лес обрывался, и им предстояло пройти по открытому месту. Обойти место это нельзя было, так как прогалина подходила к самому краю речного обрыва, а с другой стороны соединялась с целым рядом обширных болот и открытых сенокосов.

Беглецы остановились и зорко осматривали окрестности. Оказалось, что обитатели юрты уже спят. Из трубы подымалась едва заметная струйка дыма. Красусский ушёл вперёд на разведку. Коровы мирно лежали у дымокуров, и только собака сдержанно твякнула с плоской кровли жилища, когда Красусский подошёл ближе и приложил ухо к пузырчатому окошку юрты. Юноша отлично слышал спокойный храп спящих и дал товарищам знак рукою. Быстро, точно тени, двинулись беглецы поперёк прогалины. Испуганная собака залаяла отрывисто и сердито. Красусский стал у дверей, готовый, при малейшем движении внутри, войти туда и развлечь якутов разговором. К счастью, это оказалось лишним. Никто не проснулся, и слышные незаметно исчезли в противоположной чаще. Обрадованный Красусский поспешил присоединиться к ним, как вдруг в глубине тропинки, прорезывавшей наискось лес, заметил идущего якута. Юноша остановился и подал товарищам тревожный сигнальный свисток. Якут заметил его и тоже остановился. Некоторое время он присматривался к нему издали, наконец — узнал и приблизился.

— Кайсе нучча-мастер!.. Что ты сюда поделывай?.. — спросил он ломанным русским языком.

— А ты что?

— Я корову таскай... Корова потырал.. Ты её видал? Пёстрый, белая лоб... рог аламай!..

— Да, я видел её в том конце сенокоса.

— Сёп!.. Короба!.. А что она там доспел?.. — допрашивал удивлённый якут. — Ты пошто туда ходи?!

Красусский заметил свою неловкость.

— Да иди ты, куда собрался!.. Чего торчишь!.. — вскрикнул он сердито. Якут мешкал и подозрительно поглядывал на кусты. Вдруг Сивка, мучимый комарами, задвигался и забил копытами.

— Это что?

— Женщина!.. Говорю тебе уходи!..

— Мой женщина?

— Да нет же!.. Убирайся!.. Уйдёшь ли ты, наконец, косою чорт?.. — закричал ссыльный, наступая на якута.

Дикарь поспешно попятился и ушёл. Только у самой юрты он оглянулся и набожно перекрестился.

— Тангарам (Бог мой)! Убить хотел!.. Непременно мою корову украл. Корошо слышно было, как билась в кустах. Глаза-то у разбойника, как у волка! Эх, сквозь меня проткнул! Хорошо, что руками не тронул. Подавись ты моей обидой, русский пёс!.. Ух сие!.. Дьяволы!..

Он ещё раз, в заключение, перекрестился и вошёл в юрту.

Это был единственный человек, которого беглецы встретили по дороге. Отсюда они лесной тропой вполне спокойно проникли в жерло горного ущелья. Высокая сопка с лысой, мрачной вершиной, до половины поросшая тёмной тайгой, покрывала всю падь своей длинной тенью. Солнце как раз пряталось за ней. Было влажно и прохладно в ущельи и, тучи комаров увеличались. Путники, не обращая внимания на их нападения, остановили лошадь. сняли с неё свои узелки, взвалили их на спины и взяли ружья в руки. Теперь они могли уже двигаться свободно, не опасаясь шума и остановок. Самуил жалобно поглядывал на товарищей и на вздымавшиеся впереди горы.

— Будьте уверены, что если мы не погибнем, то вырвем вас отсюда! — пробовал утешить его Негорский.

— Должно быть, вышлют нас в улусы за отказ от присяги!

— И нас выслали бы, если-б мы отложили побег...

— Торопитесь, торопитесь... лошадь не стоит... Комары!..

Самуил прощался без нежностей и поцелуев, простым пожатием руки. Только Воронина он придержал, привлёк к себе и обнял за шею. Но молодой человек вырвался у него из рук, так как товарищи уже уходили.

— Прощай!

— До свидания, до свидания!.. Обними оставшихся в городе.

— Не забывайте о нас. Черкните несколько слов, как только вырветесь на волю...

— О, будь спокоен! Не забудем... До свидания! — Воронин пожал ещё раз руку друга и побежал вслед удаляющимся. Самуил вздохнул.

Дно оврага, которым беглецы двигались, покрывал густой, узловатый, невысокий тальник, спутанный прямо в войлок. Маленький, болотистый ручеек журчал под низким сводом кустарника; местами он широко разливался, образуя кочковатые, злачные трясины.

Избегая чащи и трясин, путешественники поднялись повыше на косогор. Там Красусский без труда отыскал старую охотничью тропинку, с которой он ознакомился ещё раньше в одну из своих охотничьих экспедиций за рябчиками. Местность отличалась мрачной дикостью, но когда-то, очевидно,

часто посещалась. Путешественники то и дело встречали истлевшие, жердяные треножки для петель на зайцев, низенькие изгороди для куропаток, горностаевые пасти; в одном месте над самой тропой висела вниз остриём стрела, — несомненное доказательство, что здесь часто ястреба и вороны надоедали охотникам, забирая пойманную в ловушку дичь. Дальше на суковатой, матёрой лиственнице беглецы заметили остатки скотской кожи с рогами и копытами — якутскую шаманскую жертву. На ветвях там и сям висели цветные тряпки и пучки белого конского волоса. Но по мере того, как путники углублялись в горы, следы людей исчезали, дорожка суживалась и местами совершенно терялась под слоем опавшей хвои и мхами.

Беглецы двигались всё медленнее, встречая всё больше затруднений. Лошадь скользила по влажному уклону; упавшие деревья часто заставляли путников кружить стороною; сучья то и дело задевали за вьюки, и топор неустанно был в деле. Непривычные странники обливались потом, комары мучили их, узелки и оружие казались им теперь непосильно тяжёлыми. Воронин уже не заботился о Сивке, не охранял его от комаров; лошадь сама тоже не особенно защищалась, измученная тяжестью вьюков, напуганная скользкостью почвы. Прожорливые насекомые облепили всё тело лошади, сплошь, будто чёрная краска; они лезли ей в глаза, забирались в ноздри, заставляя несчастное животное постоянно фыркать и махать головою. Когда, в довершение всего, к полудню появились оводы и стали с ужасным жужжанием пролетать над крупом лошади, последняя окончательно взбесилась и то и дело бросалась на деревья, стаскивая с себя вьюки, лягаясь. Раз она чуть было не скатилась в пропасть и не увлекла с собою туда Красусского. Приходилось её успокаивать, седлать и вьючить всякий раз сызнова.

Между тем, путь становился всё хуже; мрачная, хилая тайга, полная лесного лому, опрокинутых пней и глубоких ям, обступила путников со всех сторон. Влажный воздух, пропитанный затхлым запахом гнили, плесени и грибов, затруднял дыхание. Ноги неуверенно ступали по толстому ковру лишайников, под которым прятались предательски глубокие промоины, полные воды.

Беглецы бесконечно устали, но всё ещё не решались остановиться, так как всё ещё за ними в пролёте пади виднелась вдали Джурджуйская долина, подёрнутая жарким солнечным туманом. Они ясно различали серебряную ленту реки, озёра, даже отдельные дома и золотой крест церкви, мерцающий точно пламя среди тёмного облака расстилающихся там лесов.

Беглецам вполне справедливо казалось, что они чересчур ещё близко от города, что там могут заметить дым их костра. Они решили дотащиться до первого поворота ущелья. Поворот, по-видимому, был недалеко, но добрались они до него только вечером. Когда горы сомкнулись позади они сбросили немедленно свои ноши и развьючили лошадь. Красусский зажёл костёр, другие

принялись развязывать узелки и вынимать провизию и посуду. Александров пошёл за водой. Дым прогнал докучливых комаров, ☞ путешественники пообсохли, подкрепились, но не повеселели. Натруженные ношами, воспалённые спины их страшно горели, отекавшие, окровавленные ноги возбуждали отвращение к мысли о завтрашнем походе. А ведь ждали впереди десятки, даже сотни таких походных дней!

— Привыкнем! — утешал себя и других Негорский.

— Только бы избавиться от проклятых комаров!

— Повыше должны дуть ветры, там будет меньше комаров, а здесь ничего не поделаешь! — ответил Красуский.

Ночью, когда затих даже тот лёгкий ветерок, который дул весь день, комаров собрались такие тучи, что путники не на шутку испугались. Это был какой-то живой водопад, крылатый поток, ниспадавший стремительно на их лица, заставлявший зажмуривать разболевшиеся глаза, забивавший рты и ноздри. Этот непрерывно льющийся поток кусал их, жёг, щекотал, доводил до отчаяния, до безумия не только болью, но и бешеным, неумолчным жужжанием, похожим на гудение степного пожара.

— Что-же ждёт нас завтра?.. Проклятая казнь не унимается... И ничем её не победишь!..

Они разложили кругом венок костров. Сами сели в центре среди густого дыма и невероятной жары, поставили там же и Сивку. Тот грустно повесил голову, закрыл веками слезящиеся глаза, нижнюю губу страдальчески опустил и не ел ничего, не смотря на то, что Александров накопил ему на берегу ручья вкусной, сладкой травы.

Без перчаток и «сетки» люди не осмеливались носа высунуть за пределы дыма. «Сетки» представляли ситцевые мешки с вставленным в них для лица квадратом чёрной «волосяной сетки», такой же, какую употребляют пасечники при взламывании пчелиных сотов. Они затрудняли дыхание в такой мере, что надевшему её казалось, будто в его рот засунута пакля. Тем не менее, беглецы принуждены были постоянно носить эти сетки, и есть, и пить и даже спать в них, так как поддержание огня, достаточного для защиты от насекомых, оказалось чересчур затруднительным и утомительным. Всю ночь они дежурили поочерёдно, рубили дрова и подбрасывали их на огонь. Как только дым редел, комары пробирались в середину свободного от него воздуха, таились у земли, ползли длинными разведочными отрядами и, отыскав свои жертвы, прожорливо бросались на них. А кругом тёмная крылатая хмара, гуще дыма и чернее его, диким, гневным жужжанием подбадривала своих смелых пластунов.

На следующий день путники встали от сна, опухшие, окровавленные и, конечно не выспавшиеся. Лошадь жалобным ржанием просила пить; у неё тоже

бока провалились, глаза налились кровью и взгляд стал тускл и апатичен. Казалось, она говорила людям: «убейте меня, я в ваших руках, но не мучьте таким образом дольше!»

Утренний ветерок слегка поразогнал крылатых наездников.

Беглецы за чаем составили военный совет, как им защититься от неожиданных врагов. Красусский, лучше других изучивший на охоте условия таёжной жизни, советовал подняться выше и пойти «гольцами».

— Там всегда дуют ветры. А за водой или сеном сходить одному из нас много легче, чем так мучиться всем. Можно будет и лошадь свести вниз, п сено на ней же вывезти наверх. Я думаю, что там в щелях сохранились ещё снега. У них и будем останавливаться ради воды...

Товарищи послушались его совета.

Подъём на высоты был очень труден. Копыта коня и ступни путешественников срывали то и дело покровы лишайников и слой торфа с влажных скал и скользили вниз. Сивка несколько раз тяжело упал, а более слабые Воронин и Негорский прямо задыхались под тяжестью своих узелков. Даже Александров с удовольствием вздохнул, когда все остановились, наконец, на краю редкого леса, на половине подъёма, и когда свежий, приятный ветер дунул им с ущелья прямо в лицо.

До вершины хребта было ещё далеко; впрочем, не представлялось необходимости и взбираться туда. Комары и здесь надоедали уже настолько мало, что с ними можно было помириться.

Путешественники проверили по компасу, что горб горы слегка поворачивает к западу, с лёгким уклоном к северу, что в общем отвечало желательному направлению.

— Немного на юг, немного на север — это не важно! Главное, чтобы поскорее уйти возможно дальше и... затеряться в горах! — доказывал Негорский.

— А все-таки лучше бы идти по хребту с той стороны ущелья... — заметил Воронин.

— Почему?

— Потому, что он поворачивает к югу, а это всё-таки приближает нас к цели.

Красусский рассмеялся.

— Оба хребта соединяются у истоков речушки, куда мы и по этому пути дойдём!..

Они пошли дальше краем леса, опасаясь уходить далеко от топлива, воды и травы. Путь оказался хуже вчерашнего. Каменные осыпи сохранили, под покрывавшими их лишайниками, острые края, которые резали и кололи, точно гвозди, ступни путников сквозь тонкие подошвы якутской обуви. Они двигались местами, как по пылающим угольям. Сивка часто спотыкался и ущемлял копыта в опасных дырах; тем не менее, благодаря отсутствию

комаров, он шёл сегодня много бодрее... Это поддерживало и беглецов, заставляя их забывать о собственных мучениях. Под вечер падь стала заметно суживаться, леса редеть, хиреть, опускаться всё ниже по откосам гор. Хотя ветер ослабел, ночь провели путники спокойно. Они избрали для ночёвки открытое, возвышенное место, где всё-таки немного «подувало», принесли дров, травы, воды, наелись и выспались при богатейшем костре.

Дальше на пути лес рос уже только на дне ущелья, у самого ручейка, и вскоре рощи его стали исчезать, обнаруживаясь там и сям лишь в виде маленьких островков хилых, кривых, карликовых особей с засохшими обломанными вершинами. Наконец, деревья совсем перевелись, остались только кусты чёрного спутанного тальника да маленькие лужайки прелестной горной муравы. Меж крупными стенами мшистых скал мчался с бешеной стремительностью ветер. Комаров и след простыл. Сивка во время обеда, впервые пущенный свободно, выкатался на траве, выпорскался так, что утёсы гудели, точно от ружейных выстрелов. Затем он принялся разборчиво знакомиться с содержанием заманчивого лужка. Беглецы подсели к огню, над которым подвесили на замысловатом сибирском шестке котелок и чайник.

— Ах, если б не эти узлы!.. Они нас погубят, они нас задавят!.. У них есть свои достоинства, но только на остановках... В дороге они давят, как петли виселицы, и не позволяют забыть, что мы всё ещё в пределах русского государства... Впрочем, ещё можно сказать в их защиту, что они убеждают наглядно и ощутительно в великом значении экономических факторов: если б у нас были деньги, у нас была бы другая лошадь, если б у нас была другая лошадь, у нас было бы прекрасное расположение духа и, пожалуй, остроумие... — рассуждал насмешливо Негорский, согревая свои разутые ноги у костра, в чём подражали ему и другие.

— Ба! Если б каждый из нас сидел на лошади, то пятки у нас были бы целы!..

— И побег, наверно, удался бы! Мы проехали бы уже теперь вёрст сто!..

— И теперь убежим!

Никто не спорил, но все невольно взглянули в ту сторону, где мощный узел утёсов, нагих, грозных, спутанных точно комок окаменелых туч, замыкал ущелье.

С этой стоянки беглецы пошли дальше по дну ложбины, полному громадных валунов и плоских осколков обвалившихся скал. Ручеёк исчез под ними, и только звонкое его лепетание говорило о переливающейся ещё в глубоких щелях воде. Растительность совершенно погибла в потоках камней. Когда встретила ещё раз лужайка трав, Александров, предвидя, что она будет последней, настоял, чтобы у ней заночевать. Один из путников пользуясь свободным временем, должен был отсюда отправиться для осмотра перевала. Взял это на себя Красусский. Вернувшись, он сообщил, что за версту дальше

ущелье заперто отвесной недоступной скалой, и что только после продолжительных поисков ему удалось отыскать в складках утёса «нечто в роде подъёма»...

Он не взбирался на него, так как, в сущности, у них нет выбора, нет другой дороги: они или должны вернуться назад, или пройти туда.

Ночью ветер превратился в настоящую бурю. Под его ударами камни выли, точно стаи голодных собак. Облака острой каменной пыли неслись по ущелью. Беглецы с трудом ступали по большим, гладким каменным плитам; лошадь часто помещалась на одной из них всеми четырьмя ногами и затем боялась шевельнуться, справедливо сознавая, что достаточно с её стороны малейшей неловкости, чтобы покатиться вниз на острые грани. Приходилось её постоянно успокаивать, ласкать, поддерживать и подталкивать, чтобы склонить к дальнейшему движению. Беглецы понимали, что потеря лошади равнялась полнейшей неудаче и, поэтому, вели лошадь крайне осторожно, как по стеклу, то и дело развьючивая её и сами на руках перенося кладь. Ветер нередко их самих чуть с ног не сшибал; разбитые и израненные ступни с трудом цеплялись по скале.

Иногда Сивка после минутной остановки вдруг, неожиданным прыжком, побеждал препятствие. Путники убедились в большой сметливости, смелости, ловкости и старательности своей лошади и научились ценить и уважать животное.

Наконец, после продолжительных трудов, путешественники добрались до отвесной стены, запиравшей ущелье. Кругом подымались высокие утёсы, точно облицовка исполинского колодца. Дно площадки покрывал толстый слой зернистого снега, усеянный обломками камней. С краю ледяного поля протекал, журча, чистый ручеёк.

«Нечто в роде подъёма» оказалось до того крутыми и узкими карнизами обрыва, что провести по ним вьючную лошадь было немислимо. Беглецы развьючили Сивку и пустили его разыскивать себе пропитание меж валунами, где прозябали жалкие травы и кусточки неведомых никому растений. Воронин занялся варкой обеда, а остальные с невероятными усилиями потащили вверх вьюки.

Узенький каменный гребень перевала, на который они взобрались, соединял горный хребет, по склону которого они пришли сюда, с другим хребтом крайне мрачного вида, хребтом ещё более мощным, приподнятым и корявым. Там ничего уже не было видно, исключая нагих, мшистых вершин и серых утёсов, ничем не отличавшихся от низко над ними плывших туч.

Поэтому путешественники очень обрадовались, когда заметили ниже, по другую сторону седловины, такое же ущелье, как то, по которому добрались сюда. Очевидно, здесь был горный узел, сюда звездообразно сходились

долины. По другую сторону перевала тоже лежал пласт снега, и тоже из под него струился ручеёк. Можно было, значит, надеяться, что пониже найдут они и корм для лошади, и дрова на костёр. Стрелка компаса сказала им, что ущелье идёт к западу, но, в противоположность только что пройденному пути, оно отклоняется не к северу, а к югу. Это обстоятельство смутило их немного, но другого выбора не было...

— Тем лучше!.. — доказывал Воронин. — Там было к северу, а здесь к югу, значит — направления выровняются!..

На перевале дул до того пронзительный ветер, что оставаться там было очень неприятно. Они поторопились спуститься вниз. Кладь скатили без труда, но с лошадью вышла большая возня. Её пришлось связать и спустить на верёвках, точно барана. Когда и сами они сошли вниз следом, то были настолько измучены, что решили заночевать у первого кормовища. К сожалению, ущелье оказалось бесплодным, как городская мостовая, и они принуждены были лошадь заседлать, навьючить и пробраться с ней по таким же, как вчерашние, обвалам версты две вниз.

До лесу добрались только на следующий день. И опять тучи комаров заставили подняться на косогор гольцов. Ветер дул иногда до того слабо, что под защитой кустов насекомые опять набирались смелости и скоплялись кругом путников в громадные тучи. На высотах же было скользко, и камни ранили по прежнему ноги.

Так они долго двигались по влажному горбу горы, а кругом подымались всё такие же каменные, мшистые, холодные горбы. Внизу в ущельи шумел ручеёк, и колыхались леса.

Путники думали, что так будет всегда, как вдруг за поворотом перед ними открылся неожиданно просторный, великолепный вид. Внизу расстилалась долина, поросшая тёмными лесами и прорезанная рекой. После бесплодных скал и узких подвальных теснинах эта плодородная равнина показалась им чудным видением. Солнце золотило её, а сверху омывало необъятное море синего воздуха. Отдельные полосы и уступы лесов отделялись друг от друга нежными зубчатыми линиями. А там и сям, точно дорогие жемчужины в бирюзовой оправе, блестели каймы бледных озёр.

— Что это такое? — спросил изумлённый Негорский. — Неужели это уже один из притоков Лены?

— Нет, это Джурджуй! — ответил спокойно Александров. — Нужно возвращаться!

— Джурджуй?! Ты с ума сошёл?

— Совсем нет. Посмотрите, как поблёскивает за рекою церковный крест.

Это была жестокая шутка для их израненных ног. Когда, отступив за поворот долины, они устроили стоянку, долго не говорили друг другу ни слова, сидя мрачно у огня.

— Нечего делать. Придётся слушаться компаса и следовать его указаниям, не прельщаясь удобствами дороги... — ☒ сказал, наконец, Негорский.

— Не везде пройдёшь прямо. Опасаюсь, что подобная ошибка повторится не раз! — сказал Красусский, внимательно осматривая карту.

— Что-ж делать!.. Идти необходимо!..

Укладываясь спать, все вздыхали, и только Сивка бойким фырканьем выражал своё удовольствие по поводу обилия пищи.

На следующий день они вернулись к перевалу и направились оттуда к тем невыразимо мрачным горам, вид которых так поразил их в первый раз. Подъём не оказался особенно трудным; наоборот, взбираться по крутым откосам было много легче, чем ползать и прыгать вниз по горным развалинам и валунам. Самая вершина хребта представляла умеренно поднятое волнистое горное плато. Открытые долины и гребни возвышались и подымались там с мягкой плавностью. Но лишь только перевалили несколько таких хребтов, и за ними исчез малейший след лесных долин и речных падей, путешественников охватило жуткое чувство, почти робость. Они поняли, что предстоит пройти огромное взбаламученное, бесплодное море камня и льда, покрытое тонкой плёнкой однообразно грязно-зелёных мхов и лишайников. — Нигде ни деревца, ни кустика, ни куска нежной, яркой зелени и ни... капли воды. Вздутые гряды бугров да мох, мох без конца, а за этими буграми новые ряды точь в точь таких же возвышений и необозримые пространства таких же мхов. Тишина. Даже ветер не шумел, так как в полёте своём он не задевал ни за что. Пусто. Даже птицы не залетали сюда, не надеясь на поживу. Красное солнце всходило над мёртвым океаном и отбрасывало длинные, бледные тени от приподнятых волн земли на пологие её провалы. Облака беспрепятственно, как по морю, тащили по этим пустыням пятна своих тёмных отражений.... И лишено было это окаменелое море убаюкивающего душу движения своего водяного собрата...

Не удивительно, что в сердцах беглецов поселилось холодное беспокойство, что они тоскливо посматривали с высот на ломанную линию беспредельного горизонта, на бледно-голубое небо, безотрадно смыкавшееся над серой, необозримой пустыней. Они почти механически подымались и спускались по склонам холмов, мхи расступались под их скользящими ступнями, обнажая ледяную подпочву. Их размокшая от сырости обувь путалась кругом ног, точно отвратительное тряпье. Днём их жгло немилосердно солнце, а ночью они дрожали от холода. Если хоть на мгновение затихал ветер, тучи комаров нападали на них немедленно, собираясь неизвестно откуда. Защищать же себя

было здесь нечем, так как влажный мох и сырой, ползучий тальник горели крайне плохо...

С неделю беглецы пространствовали в этой нагорной тундре, и всё это время прошло, точно в бреду. Они почти что лишены были огня и воды. Под конец двигались вперёд без всякого увлечения, будто лунатики, подчиняющиеся тайному, властному повелению. Долго ли это продлится? Хватить ли сил? Когда, наконец, зашумят опять кругом весёлые леса, заблестят реки, и они прильнут потрескавшимися губами к холодной, чистой воде? По этой воде они тосковали с такой же силой, как в длинные полярные ночи тосковали по солнцу. Всё время у них была только какая-то болотная гуща, мерзко вонявшая мхами, которую они в очень скромном количестве находили кой-где в углублениях почвы или собирали за ночь в нарочно ради этого вырытых ямах. Сивка, лишённый настоящего корма, ел всё: побеги тальника и ползучей берёзы, даже лишайники, но исхудал так, что у него остались одни кости да кожа; частенько он спотыкался, падал, несколько раз разбил себе в кровь морду, колени и чуть не выбил зубов. Слабел он, видимо, с каждым днём, и у беглецов не оставалось другого выхода, как или облегчить лошади кладь, или ждать с часу на час, что она упадёт от истощения.

— Посмотрим наш багаж. Выбросим всё лишнее. Может быть, день — два придётся ещё идти, а там доберёмся до водораздела и спустимся в долину притока Лены... — подбадривал товарищей Негорский.

Но при этом он избегал глядеть им в глаза. Красивое, мужественное лицо Красусского высохло и потемнело, как клюв орла. Крепкое, дюжее тело Александра сгорбилось и одряхлело; грузные его ноги ступали, тем не менее, всё с тем же упорством, точно собирались оттолкнуть от себя прочь земной шар. Чёрные, добрые глаза Воронина поражали товарищей скрытым, молчаливым страданием. Юноша никогда не жаловался, но громко стонал сквозь сон. Эти стоны слышал не раз Негорский, который спал мало, ел и того меньше и чувствовал, что потому только живёт, что горит.

На следующий день, когда путники распределяли между собою вещи, отобранные у лошади из вьюков, — Негорский взял незаметно долю Воронина и поделил её с Красусским. Но когда сам он поднял свою ношу, то понял, что долго не выдержит и, может быть, сегодня ещё упадёт. Шёл он всё медленнее, всё чаще соскальзывал вниз, падал на колени и на ладони. И, не смотря на то, сердился, когда товарищи поджидали его.

— Идите!.. Чего смотрите!?! Подождите меня на стоянке... Найду вас, не бойтесь, по следам... Ведь здесь никого, кроме нас, не было и нет!..

Александров и Красусский, которых исхудалые лица налились опять кровью и покраснели от натуги, сомнительно переглянулись. Солнце жгло, точно в

Сахаре, и красное облако солнечного удара не раз затемняло взоры и им — силачам.

— Ты должен отдать часть своей тяжести. Мы положим её на лошадь... Ничего от этого ей не сделается... Несколько лишних фунтов!.. — усовещевали они Негорского.

— Что ещё?!. Прошу вас, оставьте меня в покое!

Они решили на ближайшей остановке отнять у него ношу силой. Но когда, после ухода их, Негорский что-то особенно долго не являлся, Красусский снял свой узелок и отправился искать товарища. Он нашёл его лежащим ничком на покатости соседнего бугра. Дорожный мешок придавливал его плечи, содрогающиеся страдальческой дрожью. Но он не был в обмороке, так как нетерпеливо пошевелился, услышав шаги.

— Что с тобой? — спросил Красусский, садясь около товарища и пробуя отстегнуть мешок с его плеч.

— Не тронь!

— Встань. Тебе эта ноша чересчур тяжела. Я говорил .. Не огорчайся... Что из того, что ты слабее нас!..

— Ах, оставь меня! Я хочу здесь остаться!.. Возьми вещи и иди... Уйди, говорю тебе... Лучше пусть меня... волки съедят...

— Не будь чудаком!.. Подымись!..

В это мгновение удушливый кашель потряс Негорского.

Когда Красусский подхватил его под мышки и насильно приподнял, струя алой крови окрасила губы больного и слёзы покатались у него из глаз.

— Ты видишь, я умираю... Бросьте меня... Простите!.. Не увижу Польши...

Красусский вбежал на вершину холма и позвал товарищей.

VIII.

Украшение Джурджуя — его знаменитое озеро, лежащее по середине города, — носило некрасивое название. Окрестные туземцы прозвали его насмешливо, уже после основания города, «Морем навоза», и это прозвище удержалось за ним. На первый взгляд озерко казалось, впрочем, хорошеньким, чистеньким водоёмом, а в солнечные дни блестело, как зеркало. Сор и нечистоты исчезали для глаз под тонким слоем воды. Облака, небо, далёкие горы, зелёные берега, опрокинутые изображения домов образовали чудесную, живописную кайму кругом его чёрного диска. Местные женщины прекрасно знали, что в этом диске они могут, не подымая даже головы, разглядеть из окон дома, кто приближается по улице с той или другой стороны.

Был хороший, ведренный день. Жена учителя сидела у открытого окна с рукодельем на коленях и тонким сопрано напевала:

С парохода дым струится,
Сердце чувствует обман...

Вдруг она замолкла и принялась чрезвычайно прилежно шить. Учитель, расхаживавший размашисто в глубине комнаты, остановился и взглянул на улицу. Предательское «Море навоза» сказало ему немедленно, что недалеко на берегу стоит «личность мужчины» в серой блузе, подпоясанной якутским серебряным поясом.

Лица незнакомца учитель не мог рассмотреть в неясном отражении, но прекрасно заметил шляпу-цилиндр. А так как цилиндр в Джурджуе имел один Денисов, то учитель, чрезвычайно заинтересованный, с раздутыми ноздрями, ждал, что будет дальше. «Личность» не шевелилась, белая шея его жены, склонившейся над работой, не двигалась. Зато грудь её вздымалась так сильно, что покоившихся на ней нити бус и поддельного жемчуга шелестели, точно их пересыпали с места на место. Продолжалось это, однако, чересчур долго для джурджуйских обычаев, и учитель нетерпеливо высунул голову в окно, чтобы посмотреть, что такое задержало гостя. — Денисов, заметив его, сейчас же вежливо ему поклонился.

— Что вы делаете, Ксенофонт Поликарпович?.. Что случилось?!

— Собаки!..

Он указал на противоположный берег, где стояла юрта Александрова. Стая косматых собак что-то терзала там жадно; немного спустя сквозь разбитое окно выскочил ещё один пёс с каким-то предметом в зубах.

— Давно уже там не топится... Совсем походит на нежилое здание, а теперь... вы видели!?.

— Они говорили, что за рекой приготавливают пашню под посев какого-то ячменя...

— Э-э!.. Шутки извольте шутить!.. Я думаю, эта затея с ячменём плохо кончится для нашего «помпадура». Будут перемены... да, перемены! Знаем мы о том кой-что! Неужели вы, Поликарп Сильвестрович, всерьёз полагаете, что люди вроде Александрова или Негорского способны увлечься мужицким делом?

— Почему же нет? Красусский тоже образованный, а кузнечит.

— Кузнечит!.. Поликарп Сильвестрович, знаем мы что куёт он, какое горячее железо... Нарочно! Бабник он просто, и всё тут. Мастерская его существует лишь затем, чтобы женщин наших легче ему было к себе сманивать; маяк один, чтобы предлог был ходить к нему: кольца, серьги, застёжки... Застёгивает!.. А доходы у него совсем другие... Галка на днях видел, как он корову...

Но почтенный Денисов не окончил своего интересного рассказа, так как вдруг увидел вблизи себя... привидение. Глаза горели, как уголья, а чёрное, высохшее лицо походило на клюв орла. На спине болталась двустволка, а у

пояса — нож. Привидение, нужно думать, не слышало ничего, но прошло мимо разговаривающих с такой стремительностью и энергией, что хотя и не взглянуло на них, — Денисов, со всей доступной ему вежливостью, снял почтительно свой прелестный цилиндр и долго продержал его над головой.

— Видели вы? Зашёл к Самуилу! Бегу сейчас к исправнику — доложить!.. До свидания!

Вечером город был крайне взволнован известием, что политические вернулись из-за реки и принесли больного Негорского на носилках. Черевин побежал к товарищам.

— Болен, а?.. Како-так! Пожелали быть умнее моего дедушки!.. Задумали сеять в горах. Ну, и получили ячмень! Эх! эх! Земля наша — мёрзлая штука, не расейская, а сибирская она земля!.. — торжествовал Варлаам Варлаамович.

Настроение духа у исправника сразу улучшилось. Он объявил немедленно большой «кутёж с пьянством» в следующее воскресенье, а к больному отправил казака с вопросом, не нужно ли вина или хинина.

Зато помощник нос повесил.

— Как же так: бежали и вдруг — здесь?! Дурак Козлов, всегда меня устроит!.. — раздумывал он печально о своём последнем доносе, который опять оказался ложным.

— Вот так фарт!

ЧАСТЬ II.

I.

Тусклый свет дождливого дня с трудом рассеивал мрак юрты Александрова. Оголённая от всякой мебели и посуды, проданных ради побега, она представлялась ещё беднее и невзрачнее, чем раньше. Тёмные бревенчатые стены мрачно склонялись над низкими нарами, покрывая их грязными тенями. Бумага, заменявшая в окнах разбитые стёкла, глухо и назойливо хлопала под ударами ветра. Серые струйки дыма, выдуваемые сквозняком из камина, вешались у закоптелого потолка, точно проникший снаружи осадок противных ненастных облаков.

Ссылные молча ели обед. Мягко постукивали деревянные ложки о дно чашек. Красусский первый утёр рот и встал, Александров вытащил кисет и трубочку.

— Зачем это вы мяса не едите? Я тоже не стану... Довольно!.. Я здоров... Никаких привилегий!.. — сердито проговорил Негорский.

Товарищи ничего ему не ответили, но украдкой жалобно взглянули на его мертвенно-бледное лицо.

— Я уйду. Скоро смеркается!.. — неохотно пробормотал Красусский.

— А чай?.. Ты сегодня оставил бы охоту... Непогода, всё равно ничего не убьёшь!.. — заметил Александров.

Юноша с неудовольствием мотнул головой, надвинул на уши меховую шапку и вышел. Грязный, серый, скользкий от продолжительного дождя, городок приник к буграм, окружающим озеро, точно стая мокрых куропаток. Мутные, густые, как пиво, волны «Навозного моря» сонно набегали на размокшие берега. Свинцовые тучи низко плыли в даль, поливая окрестности мелким дождём, а внизу, под серыми облаками, колыхался и шумел чёрный спутанный лес, уже линявший и лысевший под влиянием приближающейся осени.

— «Ничего не убьёшь!..» — раздумывал с досадой Красусский. — Терпеть не могу предсказаний!.. И глупо, и портит настроение. А раз у человека нет настроения, тогда ему, действительно, не везёт. А что, если в правду ничего не убью?.. Припасов нет... Опять просить Черевина или Аркановых... Наверно, пошлют меня... Терпеть не могу всего этого!.. Все, в сущности, голодаем... «Иностранные державы» притворяются ещё, что у них кой-что есть, но и у них... носы заострились. Этот опять болен. Доктор приказал кормить его мясом, а мяса-то во всём городе ни куска. Нужно бы корову или телёнка купить на убой, да об этом и мечтать нечего... Необходимо что-нибудь убить, хоть одну штуку... Мы, здоровые, кой-чем перебеёмся, чаем да грибами... Не пойду к Аркановым ни за какие сокровища... не пойду!..

Он поднял воротник своей куртки и углубился решительно в чашу, напитанную водою, как губка. Струи воды полились на него из тронутых ветвей. Молодой охотник, преодолев первое неприятное ощущение, уже равнодушно пробирался в кустах, не обращая внимания ни на сучья, ни на сырость, только ружьё тщательно припрятал под полу куртки, чтобы оно не замочило. Движение согрело его, охота увлекла исподволь и прогнала прочь мрачные размышления. Он обходил по очереди озёра, подкрадывался осторожно к новым местам среди трав, прыгал по кочкам болот, пробирался осторожно среди частяка и неоднократно простаивал долго с вытянутой шеей под ливнем и ветром, слушая, не раздастся ли желанное кряканье уток среди шума плещущей кругом воды и хлещущего дождя.

Тщетно: только ветер уныло посвистывал в гуще тайги. Мелкие четвероногие попрятались в логовищах, прозябшие птицы забились в траву. За то кругом, на жёлтом лесном листопаде и среди потемневших от влаги мхов, блестела пропасть грибов. Никто не собирал их здесь, не препятствовал им размножаться. Были среди них и старые, с трудом подымавшие на тоненьких ножках свои громадные, почерневшие шляпы, были и молодые, едва пробившиеся сквозь слой земли. И все они, видимо, чувствовал себя прекрасно:

лбы их блестели от здоровья и наслаждения холодными дождями, хранившими их от червей.

Красусский принялся собирать в платок грибы. Хотя он знал, что сегодня нечего рассчитывать на добычу в лесу, хотя он промок и прозяб, но не торопился обратно домой, избегая встречи с Евгенией, которая в сумерки обыкновенно посещала их юрту. В начале, пока Негорский опасно болел, товарищи приходили частенько и просиживали долго, но по мере того, как миновала гроза смерти, а оставалась только тоска да нужда, отношения, сильно охлаждённые побегом, делались всё натянутее и мало-помалу свелись к просто приличным... Одна только Арканова не оставляла их до конца и ежедневно вносила в их мрачную юрту частицу иной, лучшей жизни, скрытой, точно лучистая теплота, во всей её милой фигуре, в золотистых волосах, в голубых глазах, в певучем и выразительном голосе, в изяществе движений и благородстве мыслей.

Когда Красусский, мокрый и грязный, вошёл в юрту, она ещё сидела там и, склонившись к столу, слушала рассказ Негорского. Должно быть, они говорили о нём, так как вдруг прекратили разговор, и молодая женщина подняла на юношу глаза, полные особого расположения.

— Что же? Напрасно трудился!?! Садись, самовар ещё не остыл! — обратился к нему Негорский.

Красусский мрачно и холодно поклонился Евгении, положил платок с грибами на полку и отправился в другую комнату переменить своё промокшее платье.

Негорский подбросил углей в самовар.

— Разве ты пойдёшь сегодня в мастерскую? Право, не стоит... Остайся... Ветер, да и дождь льёт, как из ведра.

— Необходимо. Я обещал на завтра окончить заказ.

— Вы позволите мне подождать, пока вы окончите ваш чай? Ужасно одной скользко идти!.. — сказала ему Евгения.

Действительно, было скользко и темно, и ветер сбивал с ног на болотистых покатосях улиц. Но всё это не было новостью для ловкой, сильной и смелой гостьи. Красусский догадался, что приглашает она его ради чего-то другого, и сердце его болезненно и вместе радостно сжалось.

— Должно быть, принесла чего-нибудь и не смеет отдать прямо Негорскому. Александрова нет, так хочет всунуть мне... Или, возможно, хочет расспросить о чём-нибудь... — тщетно успокаивал себя юноша. Волнение охватывало его всё сильнее и сильнее. В склонении головы, каким он ответил на предложение, Евгения без труда подметила затаённое неудовольствие и непонятную по отношению к себе суровость и холодность. Когда они очутились одни среди

тёмной улицы под ветром и дождём, Евгения, вместо того, чтобы принять протянутую ей руку товарища, спросила его просто:

— Я с удивлением замечаю, что вы на меня сердитесь. Скажите мне откровенно: чем и когда обидела я вас, так как, могу вас уверить, сделала я это нечаянно.

— Вы, право, не обращайте внимания на... мои странности... не стоит! — ответил юноша изменившимся голосом.

Этот голос выдал бы его несомненно, если-б не порывы ветра, мешавшие говорить и слушать.

— Сознайтесь, что для вас неприятна теперешняя прогулка со мной... Вы не любите нас... филистеров. Мне необходимо поговорить с вами с глазу на глаз, чтобы вырешить некоторые вопросы и чтобы избежать в будущем недоразумений. Как вы помните, муж мой заявил, что он не принимает лошади, которую вы предложили ему взять обратно. Деньги за эту лошадь были вычеркнуты из нашего бюджета, и мы не считали её нашей собственностью. Но местные обыватели, по-видимому, другого мнения. Кто-то им сказал, что лошадь принадлежит нам...

— Это мы им сказали. Вчера приходил к нам якут и спрашивал, не продадим ли мы ему лошади.. Мы его направили к вам.

— Действительно, приходил якут и спрашивал, сколько мы хотим за лошадь. Должно быть, тот самый покупатель. Он очень хвалил лошадь и давал за неё шестьдесят рублей. Говорят, что это очень хорошая для Джурджуя цена. Так вот, если-б мы знали, что лошадь вам уже не нужна, мы бы продали её, а деньги отдали бы вам. Кажется, вы нуждаетесь в них... Нас удержало от продажи только соображение, что, может быть, вы... у вас есть новые планы... и что вновь купить лошадь будет много труднее в виду возросшей бдительности полиции...

— А вы справлялись об этом у Негорского?

— Нет. Я с ним не говорила. Я вперёд знаю, что он посоветует лошадь продать и от денег откажется. С ним теперь чрезвычайно трудно об этих делах разговаривать. Он стал чрезмерно мнительным и подозрительным... Чуть что не так, — съёживается и уходит в себя. Между тем, я уверена, что он мечтает по прежнему. Он сегодня ещё доказывал мне, что побег возможен и что он не удался только по недостатку средств. Я хотела бы узнать, что думает по этому вопросу Александров? По моему мнению, он рассудительнейший из вас и, к тому же, отличный товарищ. У него нет вашей гордости и мелочности, которая так затрудняет с вами всякие денежные и вообще... вещественные отношения... Он лишён совершенно закоренелых собственнических предрассудков.... Моё, твоё, его... А в сущности, всё принадлежит тем кто больше в данный момент в этом нуждается. Разве не так? Разве вы не поделились бы с товарищем, раз у

вас было бы случайно больше, чем у него? Ну, скажите мне откровенно, как товарищу, как сестре: нужна вам будет лошадь, или нет? Примите ли вы деньги, если мы продадим лошадь? Мне ответ нужен немедленно, так как якут обещал придти завтра утром.

Смущённый Красусский молчал.

— Вы не отвечаете... — продолжала робко Евгения. — Вы, верно не доверяете мне? А вы не знаете, что я очень часто думаю о вас. Мне жаль вас, мне страшно жалко вас!. Я уже узнала изгнание и поняла, сколько вы перестрадали здесь в продолжение стольких лет. Чтобы вырвать вас из этой могилы, я готова... мы с мужем готовы — понравилась она — на всякие жертвы. Правда, мы немного можем помочь, но ведь... шестьдесят рублей... немного! Впрочем, суть здесь в лошади. Сознайтесь: вы опять что-нибудь затеваете? Негорский сказал мне вскользь, что одной лошади мало; что для успеха побега нужна лошадь для каждого из участников. Значит, нужны четыре лошади. Нужно пытаться добыть их именно столько... В крайнем случае две, три лошади... Всё-таки это лучше, чем одна. Говорят про вас, Красусский, и про Александрова, что вы прекрасные ходоки и справляетесь прекрасно в лесу и без лошадей. Я скажу мужу, чтобы он лошади не продавал... на всякий случай. Мне кажется, что вы ни в каком уже случае не сдадитесь!?

Она рассмеялась.

— Если б я была так сильна и вынослива, как вы, или если б у меня были крылья, полетела бы я, поверьте мне, и всех бы с собою захватила!

— Вы... очень добры! — ответил Красусский с заметной грустью в голосе. — Вы угадали: я должен бежать, и я убегу непременно. Для меня нет другого исхода... Но я не могу воспользоваться этой лошадью!

— Почему же? Вот видите, какой вы нехороший! Я удивляюсь: с каких это пор вы получили такое отвращение к этому животному, ведь оно вам раньше нравилось. Лошадь, по справедливости, ничья. Она принадлежит желающим бежать. Что с того, что мы за неё уплатили? Ведь мы уплатили за неё деньгами, приобретёнными нами без всякого труда. Вы вернётесь к людям и сторицею вернёте им эти деньги, работая для освобождения всех... Господи, сколько великих слов по такому ничтожному поводу! И так решено! Я скажу мужу, чтобы он не продавал лошади. Он бы и так не стал её продавать, если б не то, что он хочет держаться вне малейших подозрений и... приключений. Он надеется, что ему сократят срок...

Она вздохнула и задумалась. Они молча двигались некоторое время.

— До свидания! Благодарю вас. Вот поворот здесь... Вот дорожка в кузницу, да и к нам отсюда недалеко.

Она крепко и длительно пожала ему руку.

— Пусть Артемий Павлович поступит по-своему. Пусть не стесняется сделанными нам обещаниями. Я советую лошадь продать, но... не сейчас. Пока ещё лошадь нужна Яну. Он возит на ней сено. Покупатель на эту лошадь всегда найдётся, лошадь хороша, и даже очень хороша. Худо только одно, что мы сказали, что она ваша: в случае чего — полиция может придраться к вам. Поэтому я решительно советую лошадь погоя продать...

Они разговаривали некоторое время, стоя на перекрёстке дорог; затем Красусский попрощался с Аркановой, и молодая женщина ушла по направлению к своему дому, но вскоре Красусский опять нагнал её.

— Пусть Артемий Павлович непременно продаст лошадь, пусть продаст её завтра же!.. Я раздумал... Пусть продаст немедленно! Мы не возьмём ни денег, ни лошади!..

И раньше, чем она успела спросить, что всё это значит, он поклонился и исчез в темноте. Евгения задумчиво вошла на крыльцо своего дома. Отсыревшие двери беззвучно обернулись на петлях. Арканов сидел в креслах у стола, где всегда занимался, писал и читал. Отёкшая сальная свеча отбрасывала слабый жёлтый свет на груды книг и бумаг. С левой его стороны, под стеной, помещался Самуил, а с правой — Черевин.

— Извините, я забыл, что вы находитесь в творческом периоде, и что вас в настоящее время интересует исключительно... статистика.

Арканов сдвинул брови.

— Я вас не понимаю. Когда же это я исповедовался вам, что меня интересует, а что нет? Могу вас уверить, что мои убеждения не так легко меняются, как, по видимому, здесь к этому привыкли, но... всякому овощу своё время!

— Именно. Обстоятельства складываются так, что теперь из всех действий самое подходящее... умножение. И, кажется вы, Артемий Павлович, делаете в этом направлении всё возможное. Жена ваша сильно похудела... — рассмеялся Черевин.

Арканов брезгливо улыбнулся, собираясь ответить, но заметил жену, и разговор оборвался.

— Наконец-то! Что так долго?!

Молодая женщина, задетая шуткой доктора, не отвечала и, здороваясь, не взглянула на Черевина.

— Барыня чего-то сердита! А между тем, самовар кипит, всё есть, всё готово... Супруг собственноручно его поставил. Осталось заварить чай и дать народам что-либо закусить...

Евгения зажгла свечку и ушла внутрь дома. Самуил встал и пошёл за ней.

— Позвольте, Евгения Ивановна, помочь вам, дайте свечку!

— Благодарю. Не беспокойтесь!

— Я только что вернулся от исправника! — добавил тихо Самуил.

— И что же?.. Он спрашивал о лошади?

— Именно. Он спрашивал: правда ли, что вы уже продали лошадь якуту, так как он сам желал приобрести её.. Вы только вникните, какая это хитрая штука!.. Удивительно тонко! Лошадь ему ведь совсем не нужна, их у него две.. Я думаю, что и якут подставной, и всё прочее.. Там что-то подозревают, там беспокойны и всё это устроено с целью выпытать истину и отобрать лошадь..

— Что же на это Артемий? Вы ему говорили?..

— Я ответил, что лошадь продана!.. — крикнул из другой комнаты Арканов.

— Лошадь нужна ещё Яну. Он возит теперь сено. Он почти год присматривал за лошадью, и я нахожу неудобным отымать её у него именно теперь. Пусть бы пользовался ею до весны!

— Предпочитаю дать ему несколько рублей на наем другой, чем ждать, пока эту у нас конфискуют и, вдобавок, придерутся ещё к нам. Я уверен, что полиция пронюхала истину, и вот-вот возбуждено будет следствие. К тому же, наши донкихоты оказались настолько остроумны, что объявили, что лошадь принадлежит нам...

— Это действительно неосторожный поступок, — согласился Черевин.

Евгения с гневом поставила чашку на стол.

— Вы всегда стараетесь напугать моего мужа! Откуда сейчас следствие? Все поднадзорные на местах, никто их не видел в горах... Всё не больше как досужия догадки!.. На догадки и сплетни нет лекарства!.. Чем больше на них обращаешь внимания, тем они становятся назойливее... Когда мы достигнем желательной для вас степени осторожности и прозорливости, мы будем пугаться собственной тени... Всё малодушно и неосновательно!.. Нервы и только...

— Не понимаю... Про какую такую «осторожность» говоришь ты, Женя?! Никогда трусом я не был, и ты не вправе говорить мне такие вещи!.. — вспыхнул Арканов. — Я согласен рисковать, когда нужно, но не ради чьих-либо фантазий, не ради романтических parties de plaisir... на это я не согласен. «Я здесь тоскую, я так тоскую по родине, что, ах, не могу дольше выдержать и сделаю глупость, а другие пусть меня с опасностью жизни выручают... Это всё-таки занятнее, чем здесь гнить в бездействии...» — заговорил Арканов, забавно подражая голосу Негорского.

— Могу вас уверить, господа, что солоно бы пришлось нам, если б их поймали в бегах или если б они благополучно ушли. Судя по тому, до чего доходил накануне их возвращения этот наглец Козлов...

— Об этом Козлове я расскажу вам, господа, удивительный анекдот... — вставил Самуил, видимо стремясь перевести разговор на другую тему. — Вхожу я как-то в полицию и слышу невероятный крик. Что такое?! Вижу, стоит у дверей бледный, дрожащий Козлов, а исправник ругает его и грозит кулаками.

Обычная сцена. Мимо проходит Денисов с кипой бумаг и книг. Одна из них падает на пол у ног Козлова. Денисов наклоняется, чтобы поднять её. Испуганный Козлов, который, как вы знаете, «эмирячит», моментально ударяет что есть мочи меж лопаток Денисова, тот летит кубарем... Козлов пугается окончательно, истерически корчится, бормочет «ду... ду... ду...» и собирается драться с самим исправником... Тот хохочет, а с ним вместе вся полиция. «Берите его!.. Расстрелять!.. Повесит!..» — кричит помпадур, а Козлов тем же голосом повторяет: «Берите его!.. Расстрелять!. Повесить!..» — «Кого?» спрашивает исправник. — «Кого?» повторяет Козлов. Словом, зрелище не хуже, чем у Таза в кабаке...

— Верх комизма приключения с здешними «эмиряками»!.. — заговорил Черевин. — Нужно наблюдать, например, старика Виссариона. Страстный охотник, но после каждого выстрела ружьё бросает на землю и в продолжение пяти, по крайней мере, минут ходит кругом него, вскрикивает и кудахтает, точно курица. Ребятишки толпами за ним бегают и устраивают кругом старика настоящие «тетеревиные пляски», а Виссарион посередине прыгает и старается проделать то же, что и они...

Пошли рассказы об «эмиряках». Черевин закончил их научным объяснением болезни и пересказом того, что о ней есть в литературе. При этом намекнул, что и сам собирает по этому вопросу материалы, которые надеется со временем обработать.

Хотя некоторые из этих рассказов не лишены были действительного комизма, Арканов заметил, что грустное лицо жены не прояснилось, и что она ни разу не улыбнулась. Вопреки обычаю, он не останавливал гостей, когда те собрались уходить, и как только они исчезли за дверями, быстро заложил крючок и, вернувшись, приткнулся к коленям жены.

— Что же... что же?.. Душа улетела?.. Всё нет её!.. Нет!.. Королева моя сердится, ненавидит меня?! И за что же? Разве мы не были паиньками?! Она приписывает нам разные нехорошие побуждения, осуждает нас на долгие часы одиночества, а мы... ревнивы!.. У нас сердце щемит, когда мы не видим её долго... Никто никогда так не будет любить её, как мы, верноподданные рабы её... О. наверно, никто!..

Он пробовал схватить её за руку и привлечь к себе, но Евгения отодвинулась в сторону.

— Ты огорчаешь меня, Артемий, ты не всегда таков, каким я желала бы видеть тебя...

Арканов поднялся.

— То есть, каким именно?

— Я знаю, что ты добр и... не скуп, но иногда из-за пустяка ты выходишь из себя и делаешь больше шума, чем стоит. Ты сам не замечаешь, как постепенно

делаешься всё более и более... осторожным, предусмотрительным, подозрительным... Часто ты теряешь в этом всякую меру... В то же время ты становишься всё более и более самоуверенным и не позволяешь сделать себе малейшего замечания. Я всё это вижу. и всякая пылинка на тебе заставляет меня страдать неимоверно. Почему, например, ты настаиваешь на продаже лошади? Не думаю, чтобы ты придавал значение глупым слухам и угрозам полиции. Ты для этого слишком умён. Сознайся, что тебе просто... жаль шестидесяти рублей. Ты боишься. что нам не хватит, что мы принуждены будем отказаться от кой-каких удобств... Конечно, ты тревожишься не из-за себя; я знаю, что ты думаешь о моих удобствах... Для тебя это мелочи, ведь ты переносил по тюрьмам куда большие лишения... Тебя мучает мысль обо мне, но... если б ты видел какая там... нужда?!. Прямо — нищета! Голод...

— Опять просили тебя о чём-нибудь? Это, наконец, бессовестно! Если-б они были порядочные люди, то они с бóльшим достоинством переносили бы последствия своих ошибок. А они что же?.. Обобрали Черевина, вогнали в долги Самуила и Петрова... Дня не проходит, чтобы ты им чего-нибудь не понесла... Что это?

— Да, ведь, они не просят... Я сама заставляю их чуть не насильно принимать эти пустяшные товарищеские услуги.

— Э-э!.. Знаю я: не просят, но принимают и... поедают!.. Легко геройствовать на чужой счёт! Весь этот побег не больше, как скверная ширма для отвода глаз... В сущности... эксплуатация товарищеских чувств!..

— Артемий, что ты?.. Подумай! Ты без всякого основания обвиняешь людей, которых, в сущности, не знаешь, которых ты даже не пытался узнать! Ты почти не бываешь у них и осуждаешь их так сурово... А между тем, это в высшей степени благородные, честные люди, огненные, чуткие души, чистые сердца!..

— Словом — совершенства! Я не хожу туда и ходить не намерен. Пора и тебе перестать туда шляться. Негорский уже здоров. Просто неприлично! Дня без них прожить не можешь. Хотелось бы мне знать, который это из них такой... благородный магнит?! Или всё вместе?! Один разлагающийся полумертвец, другой верзила молчит, курит трубку и сплёвывает... Остаётся эта прилизанная кукла, полячек-подмастерье...

Евгения встала, губы её дрожали.

— Никогда я не думала...

— Не думала?.. Прекрасно... За то думал я! Прошу вас с завтрашнего дня туда без меня не ходить. Я предпочитаю, чтоб вы теперь огорчились и даже рассердились на меня, чем чтобы дело зашло... неисправимо далеко. Да, я убью тогда вас или себя, или...

Арканов возбуждённо зашагал по комнате. Евгения отвернулась к окну. Далеко в темноте, по ту сторону озера, мерцал огонёк. Евгения без труда узнала свет в мастерской Красусского.

Благородное, энергичное лицо юноши, склонившееся над верстаком, невольно всплыло перед ней. — «Прилизанная кукла, полячек-подмастерье!..» вспомнила с горечью слова мужа и вдруг почувствовала, как между её прошлым, настоящим и будущим разверзается какая-то ужасная, туманная бездна...

— Послушай, Артя!.. — рванулась она в испуге к мужу. — Зачем ты сказал всё это? Зачем? Зачем терзаешь себя и меня?! Кому это нужно? Разве я дала тебе для этого малейший повод? Скажи, зачем это, зачем?!

— Не знаю!.. — ответил Арканов с подавленным страданием.

Она молча прошла по комнате; теперь он стал на её место у окна.

— Артя! — проговорила, наконец, она тихо, приближаясь к нему. — Мне не страшно изгнание, холод, голод, нужда... Меня пугали всем этим, когда я собиралась ехать вслед за тобою... Я готова на всё, на всё... Я всё разделю с тобою... только... будь добр, будь чист, будь... как раньше!..

— Словом, не продавать лошадь? — прервал её шутливо Арканов. — Ну, пусть останется, пусть останется, проклятая... Только ты успокойся, милая, золотая моя!..

Он стал перед ней на колени, обнял её, целовал и ласкал. Она противилась, пока не заметила страдания в его взгляде, тогда она склонилась к нему, и слёзы их смешались вместе.

Когда муж уснул, и она осталась одна со своими мыслями, усталая и обессиленная, её охватило неожиданно чувство глубокого стыда и унижения.

— Это уже второй раз! Я чувствую, что таким образом ничто не изменится. Что же делать? Как быть?! — спрашивала она сама себя, погружаясь в тяжёлый, беспокойный сон.

II.

Лошадь не была продана. Арканов объяснил покупателям, что они ошиблись, что лошадь принадлежит не ему, и отослал их к Александрову. Исправник не решился последовать этому совету, и всё дело затихло.

Евгения Ивановна перестала посещать товарищей. В замен явился у них раз и другой Артемий Павлович и любезно пригласил их всех заходить кой-когда к ним пить чай.

— У нас удобнее собираться. У нас квартира больше и самовар объёмистее! — объяснял он.

Александров ходил несколько раз к Аркановым; Негорский привык к этим вечеринкам и посещал их довольно усердно; Самуил затащил туда даже Воронина, который после побега вновь зачудил, перестал мыться, причёсываться. и, босой, полу-одетый, проводил время, лёжа в полутьме на своей кровати, где он спал или читал вперемежку. Чтобы пойти на вечеринку, ему пришлось одеться, что он сделал с большой неохотой, под сильным давлением своего давнишнего друга. Но в другой раз он решительно воспротивился всем покушениям на своё одиночество:

— Зачем?.. Не пойду!.. Слова, слова, слова!.. Слышал я их достаточно!

Не посещали Аркановых совершенно Красусский и Петров.

— Не выношу террористов!.. — резко ответил последний Самуилу, когда тот спросил о причине такого бойкота. — Они толкнули Россию на опасный путь. Они закрыли возможность другой работы. Крикливой, эффектной, поверхностной агитацией они увлекли людей на ложный путь и сделали их неспособными для серьёзной революционной работы. Они вызвали реакцию и преследования... Они губят бесплодно сотни золотых сердец. Я ненавижу их!.. Я не в состоянии спокойно слушать их доказательств... Их теории — разврат ума!..

И он долго не ходил к Аркановым, но всякий раз посылал Гликсберга и подробно расспрашивал его обо всём, что происходило на вечеринках. Друзья опять жили вместе у того же казака Якушкина, которому патриотизма хватило едва на два месяца; затем он сдал комнатку политическим ссыльным, так как никто другой снять её не пожелал.

Возможно, что под влиянием происходивших у Аркановых прений, Гликсберг незаметно стал эмансипироваться.

— Знаешь что, Петров, дружище, я прихожу к заключению, что умеренная агитация... при умелой пропаганде... может дать хорошие результаты. Конечно, основа — пропаганда, но, ведь, крайне трудно провести резко границу, где кончается одна, а где начинается другая... Скажи мне, например: расклейка прокламации будет ли агитацией или пропагандой? Я думаю, что умеренная, повторяю — умеренная...

— У-ме-рен-на-я... Думаешь?.. Ну и думай! — отрезал Петров, отвернулся от друга и весь день рта не раскрывал.

В тот вечер Гликсберг не пошёл к Аркановым, но, так как твёрдый друг его и на следующий день не разговаривал с ним, то на третий день мягкий Гликсберг поддался искушению и в сумерки исчез вместе с Самуилом.

— Ведём пропаганду и агитацию в самом вражеском стане и, по-видимому, с хорошим результатом... — сообщал таинственно Самуил Негорскому. — Вот выйдет штука, когда Гликсберг проснётся в одно прекрасное утро вполне определившимся террористом и скажет это Петрову, как подобает честному

товарищу. Зрелище достойное созерцания! К тому идёт! Бедняга Гликсберг принуждён слушать Арканова, так как он влюблён в его жену. В спорах по тому же поводу принуждён уступать ему, соглашаться, а вслед за согласием идёт... убеждение. Сам я слышал, как он вчера сознавался прекрасной нашей Цирцее, что даже у Маркса, Спенсера, Милля, Лассалья, Конта, Дюринга, Канта и многих прочих социологов, экономистов и философов можно найти верные доказательства в пользу... террора! Конечно... в редких исключительных случаях...

— А он, без шуток, влюблён? Бедняга!... Откуда ты знаешь это?

— О, у меня на этот счёт рысьи глаза! А ты разве не влюблён в неё?

— Я?.. Нет!.. — ответил серьёзно Негорский. — Все вы рехнулись. И чем всё это только кончится? Хотел бы я знать!..

— Для некоторых это окончится... несколькими сонетами! — с кривой усмешкой ответил Самуил. — Но «Иностранные Державы» лопнут, и лопнут... многие расчеты и планы. Доктор превратится в ещё более умеренного оппортуниста... и так далее.. Вообще, нам угрожает революция. Я ничего против этого не имею. Такая скучища, что с отчаяния и дебош учинить можно, и влюбиться можно. Женщина хороша собой, нежная, чуткая, поэтическая, как лунный свет, как запах цветущего жасмина... Я, не размышляя, отдал бы год жизни за маленькую веточку этого цветка...

Негорский не ответил. Он глядел вперёд задумчиво, не замечая ничего кругом и всматриваясь в нечто, невидимое другим.

— Я уже не... мечтаю. Я — живой мертвец и Воронин тоже...

Прошло несколько дней. Не смотря на то, что Петров опять стал разговаривать с другом, Гликсберг не рассказывал ему больше подробностей о вечерах у Аркановых и возвращался оттуда с особенно таинственным и многозначительным видом. Обеспокоенный этим, глава союза не выдержал, и однажды вечером, когда собравшиеся у Аркановых весело болтали, распивая чаёк, двери неожиданно открылись, и на пороге появился высокий, тощий, помужички в скобку подстриженный Петров. Он поклонился присутствующим и снял запотевшие от холода очки. Хозяин и хозяйка поднялись и подошли к гостю.

— Наконец-то и вы удосужились!.. Здравствуйте! Милости просим сюда... Вы сегодня герой вечера!..

«Герой» был немного смущён и нервно поглаживал свою козлиную бородку. Он не глядел ни на Самуила, ни на Гликсберга и всё откашливался, как бы готовясь излить немедленно своё негодование, ради чего, собственно, и пришёл.

Но оппозиционное настроение его выразилось исключительно в этом покашливании, так как Арканов мгновенно прозрел его намерения и всё время

помалкивал, глядя на гостя смеющимися глазами. Петрова смущали и сердили эти пронизывающие взгляды и он, по всей вероятности, не утерпел бы и вспылал по самому нелепому поводу, если б не Арканова, которая, желая уничтожить общую неловкость и напряжённость, обратилась умоляюще к Самуилу:

— Скажите нам что-нибудь, прочтите ваши последние стихи... Ведь вы обещали!

— Ничего я не обещал, я не помню своих обещаний... — защищался Самуил.

— Обещал, обещал... не увиливай! — вмешался Негорский.

— Если так, то придётся согласиться... Раз все против меня, значит — у вас есть свидетели, а у меня их нет!

Самуил отошёл в угол, опёрся плечом о стенку, подумал и вдруг, вместо обещанных стихов, запел мягким, грудным голосом:

От Севильи до Гренады
Льются песни, серенады...
Кровь струится и напев
Под окном у нежных дев...
«Приходи ты день великий,
Заря новых, ясных дней!
Пусть польются для свободы,
Как лилися для любви,
Ваша песнь и кровь!
Мы к цепям уже привыкли.
Победила нас судьба,
Жаль нам песен для любви,
Жаль нам жизни для свободы,
Всё ведь тлен и плесень!»

Грустный напев давно оборвался, а слушатели продолжали сидеть неподвижно в глубоком раздумье. Первым поднялся Арканов, прошёл с опущенной на грудь львиной головой и проговорил с театральным жестом:

— Нет! Не так уж всё худо!.. Мы ещё в состоянии отдать за свободу жизнь!..

Никто ему не ответил, но настроение было нарушено, и по углам поднялись шёпот и разговоры. Петрова, который давно не слышал пения и не находился в столь многолюдном обществе, охватило сильное волнение, у него щекотало в горле, и слёзы то и дело навёртывались на глаза. Он не в силах был теперь ненавидеть даже «разбойников-террористов», он привстал и, после маленькой запинки, проговорил глухим голосом:

— Господа, прошу минуту внимания...

— Тише... Петров говорит... Слушайте..

— Господа, товарищи!.. Общий враг преследует нас, объединяют нас страдания... в этом забытом Богом углу... Словом, мы люди, объединённые ужасами изгнания и, к тому же, лишённые родины, возможности полезно трудиться... находясь в среде, с которой ничто нас не связывает, где не хватает самых необходимых элементов души... и, наконец... того...

Оратор вдруг умолк, растерявшись, тщетно стараясь поймать рвущуюся нить рассуждения... И, вместо продолжения речи, он сказал просто, с присущей ему детской, милой, застенчивой улыбкой:

— Господа, предлагаю, чтобы мы приступили к выработке такой программы, которая объединила бы все партии...

— Ур-ра, Петров! Молодцы пропагандисты! — раздались аплодисменты, и громче всех рукоплескали хозяева.

Петров поморщился.

— Я предлагаю это, не шутя!

— Конечно, не шутя! — сказала Евгения, приближаясь к нему с дружеской улыбкой. — Всем сердцем поддерживаю ваше предложение. Меня давно огорчает странная и грустная рознь, какую я замечаю среди ссыльных. Все ведь мы братья по духу и страданиям...

— О, да!.. Жаль только, что в... очень общих очертаниях.

Поднялись споры, шум, среди которых на мгновение возвысился голос Негорского.

— Во всяком случае, нас всех, несомненно, объединяет стремление к свободе...

— Настолько, насколько объединяют людей сонные мечтания! - вставил Арканов.

— Почему же сонные мечтания?

— Это не ответ... Таким образом мы ни к чему не придём...

— Раньше всего необходимо выяснить основные принципы... — раздались голоса.

— Извините, господа, но я думал, что мы рассуждаем о самых обыкновенных житейских отношениях, общепринятых и позволяющих общаться даже с Гаврилой Гаврилычем... — попытался перекричать других Черевин.

— Даже... с полицией! — шепнул Негорский.

— Этого я не сказал.

— Но... делаю!.. — заметил кто-то из угла.

Черевин покраснел.

— Позвольте, если мы начнём с личных нападок, то ни к чему не придём. Лучше оставим. Неужели вы требуете, чтобы я из-за ничтожных причин оставил практику, больных и госпиталь?..

— Мы ничего не требуем. Вы можете продолжать играть в карты и напиваться с исправником и другой полицейской шушерой. Прописывайте касторку и другие снадобья, кому вам вздумается, действительным и мнимобольным... Только нас вы тоже не осуждайте. Мы думаем, что действительно нуждающиеся в вашей помощи сами пришли бы к вам, даже если бы вы и не водились с джурджуйскими ташкентцами. Во всяком случае, те неприятности, на которые вы так часто жаловались нам, ясно указывают, к чему приводит всякая непоследовательность! — доказывал Негорский.

— Вы их совсем не знаете. Пальцем пошевелить мне они не дадут, раз я порву с ними сношения. Всякого больного, который обратится ко мне, исправник посадит в кутузку... Вы рассуждаете, точно маленькие дети!

— Мы рассуждаем как люди, которые пошли в ссылку, защищая своё человеческое достоинство.

— Хорошо достоинство: уйти от всего, прекратить с людьми сношения и скрестить на груди в бездействии руки... Легко оставаться беспорочным в пустыне...

— Что-ж поделаешь?! Другой дороги нет!

Опять зашумело, как в тронутом улье.

— Позвольте, господа!

— Прошу слова...

— Что такое?!. Всё это пустые звуки, бесплодные, бездоказательные звуки...

Тщетно взывал громким голосом Гликсберг:

— Господа, господа, потише! Я предлагаю парламентский режим... Пусть каждый говорит по очереди, порознь... Все зараз — толку не добьёмся!

— Прошу слова...

Никто не повиновался. Каждый обращался к своему ближайшему соседу и громко высказывал ему свои мнения, а тот слушал в это время другого или сам говорил. Мысли, накопившиеся в минуты продолжительных одиноких размышлений, торопились вырваться наружу. Наконец, ораторы устали, затихли и принялись искать свои шапки. Программа, объединяющая все партии, не появилась и в этот раз. В комнате после сходки остался только большой беспорядок, много табачного дыма в воздухе, много папиросных окурков на полу да грязные чашки от чая на столе.

Евгения после ухода гостей принялась немедленно за уборку комнат, раскрыла настежь двери в сени, подмела сор и принялась мыть посуду. Арканов ходил широкими шагами по комнате.

— Вполне приличный jour-fixe! — проговорил, наконец, он с лёгкой усмешкой и зевнул. — Ничуть не хуже столичных. Всё налицо: пение, споры, даже... флирт! Но всё это крайне однообразно, всё повторяется: те же шутки, те же словечки, те же рассуждения... Тошная, бесплодная фразеология!.. Разве что

Петров внесёт на некоторое время разнообразие! Одна надежда на него. Все уже были, не от кого ждать спасения... Воронин больше не явится, он не простит нам, что по нашей вине ему пришлось умыться... — Про Красусского Арканов умышленно не вспомнил и испытующе взглянул на жену. Лицо Евгении оставалось так же грустным и спокойным. Тогда он подошёл к ней, взял её за талию и повёл гулять по комнате.

«Всё ведь тлен и плесень...»

пропел он тихонько. — Знаешь, Женя, я одного теперь страшно желаю, — ребёнка. И правду сказать не «только для себя, сколько для тебя. У меня есть труд, есть наука. Когда я погружаюсь в мои книги, спокойствие нисходит на меня. В тюрьме или в ссылке, везде научные исследования сохраняют свою силу, свою прелесть... От них веет чем-то чистым, возвышенным, далёким от будничных мелочей...

Евгения мягко отвела его руку. Он был так занят своими рассуждениями, что не заметил её движения. Он остановился у стула, положил руку на его спинку и продолжал уверенно:

— Негорский подтрунивает, что я избрал для моих исследований статистику. Между тем, убедительнее всего говорят цифры...

— Он подтрунивает не над статистикой, а над тем, что в Джурджуе вообще ничем серьёзно заниматься нельзя.

— Я отказываюсь понимать это!.. Почему же? Я выписал много сочинений. Я намерен учиться, намерен ковать оружие, чтобы со временем пойти в бой во всеоружии. Возможно, что нам придётся здесь прожить годы, в виду этого нужно подумать, чем бы полезно заполнить время. Тяжесть у меня свалилась бы с сердца, если бы у нас были дети. Я буду всё время занят и боюсь, что ты будешь чувствовать себя одиноко...

— Я понимаю тебя, Артя... — ответила со вздохом Евгения, — но ребёнок в этих условиях.. его появление угрожает большой опасностью... Возможно, что я бы осталась здесь навсегда...

Она взглянула на него своими большими, синими глазами. Он не дал ей закончить и закрыл рот поцелуем.

— А я так страстно желаю... вернуться на родину... хотя бы со временем, когда-нибудь... после долгих лет... — добавила она шёпотом, тихим, как вздох.

III.

Ненастье окончилось, и наступили сухие, ясные, холодные дни второй половины осени. Болота покрылись тонкой плёнкой льда, на озёрах подмерзали берега. За ночь белый иней выцветал на земле, точно первый отдалённый знак идущей зимы. Под холодным её дыханием сочная,

однообразная до сих пор зелень тайги нарушилась и обнаружила всё богатство своих оттенков, исподволь превращаясь в золото, коралл и кровь осеннего листопада. Медовый запах заструился из вянущих лугов, рощ и лесов, в тени деревьев запахло вином, спелыми ягодами и влажными лишайниками. Комары и мошкара исчезли, в воздухе носились везде длинные, серебристые нити паутин «бабьего лета». Земля подсыхала, съёжились порыжелые травы, и там и сям из-под них проглянули узкие, твёрдые тропиночки, точно жилы и мышцы, выступающие под засыхающей старческой кожей.

Пришло время прогулок по окрестностям, и джурджуйские обыватели спешили им воспользоваться. Красусский ежедневно видел из окна своей мастерской джурджуйских дам, в сопровождении своих мужей или в обществе подруг идущих к реке — обычному месту прогулок высшего джурджуйского света. Иногда они направлялись туда одни, вместе с маленькими прислужницами, исполняющими роль испанских «дуэний». Тогда любопытные соседи обязательно подсматривали за ними, надеясь где-нибудь подметить кавалера, направляющегося в тоже место по другой дороге.

Красусский тоскливо глядел в голубую даль, где блестели синие озёра. Но уйти туда ему нельзя было: приближался осенний перелёт птицы, и держала его в мастерской напряжённая работа, починка вечно испорченных джурджуйских ружей. Приходилось работать усиленно, в виду краткости срока работ и необходимости заработать за это время возможно больше. С концом перелёта изломанные ружья прятались жителями в амбары до будущего года.

В том только случае, когда Красусский невзначай встречался с Евгенией, он, не смотря на работу, на некоторое время уходил с ружьём в тайгу. Он чувствовал тогда неодолимую потребность утомления, потребность подышать чистым воздухом лесов, освежиться новыми впечатлениями, чтобы удержать волнение, угрожавшее вновь подняться в его душе.

— Я был страшно неосторожен, я был непростительно неосторожен... Что же мне теперь делать!?! — спрашивал он сам себя, стараясь инстинктивно избегать всего, что могло бы ему напомнить дорогое лицо. Но он замечал его везде: красные плоды шиповника напоминали ему губы, голубое небо — глаза, колеблемые ветром стволы стройных берёз — гибкий стан. Тем не менее, юноше было лучше в лесу, чем среди людей. Часто ночью он по долгу просиживал над озером с ружьём на коленях, дожидаясь перелёта уток. Красный отблеск зари потухал медленно на чёрной поверхности воды, звёзды зажигались в её глубине, а кругом сторожили берега чёрные силуэты деревьев и кустов да чёрная лента чащи. Красусский прислушивался к замирающим голосам земли, к сухому шуму ситников, которые шелестели в порывах ветерка, точно кто-то невидимый, читая старую, огромную книгу, вздыхал и

перелистывал засохшие её листы. Исполдволь все мятежные думы и желания замирали в его душе, он погружался в тихий, ровный полу-сон, полу-бдение...

Мрак густел, бесследно поглощая всё кругом, и только рассыпанные в беспредельном пространстве сонмы звёзд бледно мерцали в высоте...

— Так пройдёт вся моя жизнь... Затем превращусь в старую, засохшую мумию!.. — шептал юноша, очнувшись, и отправлялся, не торопясь, в свою пустую юрту.

Однажды вечером он повстречался с товарищами, которые вышли полюбоваться рекой в лунном освещении. Он пробовал пройти не замеченным, но они обступили его и позвали с собою.

— Не будь чудачком! Иди!.. Разведём костёр, испечём картошки, приготовим шашлык...

Красусский уступил. Недалеко от того места, где во время побега переправлялись за реку, ссыльные сложили и зажгли большой костёр. Мусья, Черевин, Самуил, Гликсбергъ, Петров, даже Арканов пробовали прыгать через огонь, как это принято в ночь на Ивана Купалу. Евгения смеялась и хлопала в ладони, когда они при неудачном прыжке попадали в дым, чихали и обжигали себе бороды и усы. Красусский не принимал сначала участия в играх; ему было неприятно хвастать перед этими «горожанами» своей ловкостью и силой. Но «Иностранные Державы» не отставали от него.

— Да прыгни же!.. Покажи, как это следует делать!..

И юноша прыгнул, и ему было лестно, что Евгения вдруг перестала смеяться.

Александров всё время лежал, вытянувшись на песке, жмурил глаза и тянул трубочку; Негорский задумчиво глядел в огонь и, казалось, не замечал, что происходило кругом.

— О чём же?.. Всё о том же? Оставьте!.. Живите просто, как все, как мы... — обратился к нему Черевин.

Негорский болезненно улыбнулся.

— Я мог бы ответить вам тем же: забудьте, кто вы, и живите, как я...

— Опять споры! Кто сегодня осмелится серьёзные поднимать вопросы, тот не получит картошки!

— Вполне правильно!.. Не давать им картошки!.. — шаловливо кричали присутствующие.

— Вот вы, очевидно, не особенно занимаетесь теориями... Вы крепки, деятельны и прыгаете, как олень, о вашей силе тоже рассказывают чудеса. Вы берёте жизнь, как она есть, и не смущаете себя рассуждениями. Счастливец!.. — хитро восхвалял Красусского Арканов. — Почему же это вы, никогда не заходите к нам? Заходите. На днях я собираюсь прочесть мой реферат о законах параллелизма, проявляющихся в социологических явлениях, и о теории волн...

— Хорошо, приду, — пробурчал Красусский и стал на колени рядом с Евгенией, чтобы пособить ей резать на куски мясо для шашлыка.

До поздней ночи гуляли, веселились и пели песни над рекой политические ссылынные. Голоса их то порознь, то хором долго смешивались с плеском реки, с потрескиванием костра и шумом лесов... Долго неслись они в даль, где на сонных струях обмелевшего Джурджуя нежное сияние луны отбрасывало дрожащую серебристую дорожку, и холодные туманы нависали у тёмных обрывистых берегов.

IV.

Несколько дней спустя Арканов объявил товарищам, что вечером будет читать реферат, и просил их всех пожаловать пораньше.

Красусский, хотя и обещал, что придёт, не особенно торопился. Сумерки наполнили собой его комнатку и мастерскую; ярко сиял четырёхугольник окна, полный лунного света. Красусский нарочно не зажёл свечи, чтобы не привлечь кого-нибудь из проходящих мимо товарищей.. Он тихонько лежал на кровати, подсмеиваясь в душе над своей выдумкой, уверенный, что ему удастся обойти друзей и «не почтить своим присутствием торжественного выхода авгура». Вдруг двери стукнули, и загредел голос Негорского.

— Что же это, Красусский? Ты не собираешься? Арканов готов подумать, что ты боишься его иностранных слов. Ты должен пойти! Сегодня не обычное собрание как всегда, а особенное!.. Будет бой, будем воевать!.. Я бы очень желал, чтобы ты при этом присутствовал. К нам, «крайним», начинают относиться пренебрежительно... А относительно тебя этот господин полагает, что, раз ты говоришь мало, то совсем не думаешь...

— Пусть полагает!..

— Совсем нет! Если-б дело касалось исключительно твоего самолюбия, ты бы в праве был поступить, как тебе угодно; но здесь разыгрывается куда более крупная ставка... Ты в последнее время устранился совершенно от нашей жизни и ничего не знаешь о происшедших в ней изменениях. Этот свежеприезжий барин совместно с Черевиным образовали нечто в роде дуумвирата, выработали программу «сохранения сил» и, ради великого будущего, пропагандируют сближение с джурджуйскими обывателями, т.е. с полицией, с кулаками, взяточниками и прочими мерзавцами... со всеми теми, с кем мы до сих пор боролись. Они толкуют о неизбежности формальных уступок, об «игре в карты» ради... хороших отношений, о «выпивках» ради высших идейных соображений, о «труде» ради проведения своих взглядов в жизнь, т.е. о торговле с туземцами, так как кроме огорода и мастерской, какие у нас уже есть, я никак не могу сообразить, чем больше мы здесь заняться

можем. Если-б не сопротивление Аркановой они давным, давно провели бы на практике свои проекты. Так как прямо им сломить её не удалось, то они хотят это сделать косвенно, — оставить её в меньшинстве. Теперь подбирают себе сторонников, пробуют вызвать прения, рассчитывая побить нас в теории на голову и сделать смешными в глазах этой женщины... Всё, в сущности, из-за неё!.. Но всё это вздор! До сих пор я слегка с ними спорил, присматриваясь к их игре и стараясь угадать, что всё это значит, сегодня я дам им решительное сражение... Ты должен присутствовать! Зайдём за Ворониным. Как ни как, мне будет приятнее, и... и у меня будет много больше остроумия и задора, когда я буду чувствовать вас рядом с собою... Пойдём, дружище, к Воронину. Может быть и он расшевелится от этих прений... Может быть, и для всей нашей колонии это будет началом конца. Может быть, опять заживём, зашевелимся, заволнуемся... Ах, как необходимо, как страшно необходимо нам что-нибудь такое, что расшевелило бы нас. Мы засыпаем, нас давит кошмар будничных и пошлых чувств и делишек. Мы погружаемся в губительный, мертвящий, иссущающий сон. Мы живём жизнью мелкой, противной нам всем, мы глупеем... Нет, право, собирайся, идём!.. Разве ты не чувствуешь, что всё, что мы делаем здесь в ссылке, недостойно нас, ниже нас!..

Он чуть ли не за руку вывел на улицу Красусского и то же самое сделал с Ворониным.

Когда они втроём вошли в квартиру Аркановых, Аркадий Павлович уже читал свой реферат. Он приостановил чтение и, не двигаясь с места, ждал терпеливо, пока не утихли голоса, шорох платьев и движение стульев. Прибывшие оскорбили его своим опозданием, и он неохотно вкратце повторил начало доклада.

Читал Арканов хорошо, спокойно, внятно, немного однообразно, был очень чуток к малейшему звуку или движению своих слушателей, сейчас подымал вверх голову и ждал, молча. Когда Арканова вышла на цыпочках в соседнюю комнату, чтобы налить по стакану чаю вновь прибывшим, Арканов позвал её бесцеремонно:

— Женя, ты, вижу, совсем не слушаешь!..

— Да нет же!.. Я здесь слышу прекрасно...

Самуил взглянул насмешливо на сидевшего рядом Негорского.

— Разве станешь возражать? По моему, его бы следовало убить молчанием. Прениями ты убьёшь нас всех, мы уснём вечным, непробудным сном... — написал он ему на кусочке бумаги. Негорский кивнул головой и слушал дальше всё с тем же не ослабевающим вниманием, следил за цифрами, изречениями, цитатами, рассуждениями, которые лились обильной струёй. Всего там было понемногу: физики, химии, даже геологии и астрономии. Теория волнообразных колебаний проплывала по известной классификации наук

через все отрасли знания, чтобы в конце концов через биологию и психологию проникнуть в социологию... Путь был длинен, труден и... извилист. Самуил чертил на бумаге фигурки, Петров с трудом подавлял зевки, Гликсберг смущённо играл часовой цепочкой, Черевин беспокойно поглаживал бороду, Мусья спал, склонившись на руку. Все вздохнули и дружно поднялись, когда Арканов перевернул последнюю страницу.

— Господа, прежде всего прошу вас поужинать!.. — обратилась к ним Евгения.

Гости окружили приготовленный в сторонке стол и принялись молча есть.

— Так... как-же? — спросил после некоторого молчания Арканов.

— Очень недурно. Я бы одно только лишь заметил: цитаты... — начал было Гликсберг.

— Что... цитаты?

— Мало... разнообразны.

Присутствующие громко рассмеялись. Гликсберг обиделся.

— Чего смеётесь?.. Именно были пропущены многие серьёзные авторы...

Арканов пренебрежительно повёл плечами.

— Например, кто?

— Хотя бы... Кант.

— Не беспокойтесь, товарищ Гликсберг... не беспокойтесь!.. — насмешливо вставил Самуил. — Хотя и нет Канта, цитат совершенно достаточно, и они являются... лучшей частью реферата.

Арканов выпрямился. В воздухе запахло столкновением. Черевин и Евгения приблизились к Арканову, другие ссыльные бессознательно собрались в противоположном углу около Негорского. Тот, молча, доедал холодное мясо и допивал чай. Гликсберг переходил от одной группы к другой, Мусья и Воронин стали совсем в стороне.

— Главный недостаток этой работы... — начал, наконец, острым голосом Негорский, — это совершенная её ненужность, совершенная бесплодность. Прежде всего, какая её цель, и что в ней стремится доказать автор?

— Какая цель?.. Очень просто: я пытался исследовать научный закон! — ответил Арканов.

Негорский криво усмехнулся.

— Станный научный закон, опирающийся на усмотрение своего изобретателя. Что свет, теплота, звук, электричество расходятся волнами, из этого ничуть ещё не следует, что вся вселенная дрожит и волнуется... Я не буду касаться основного понятия движения, которое, быть может не более реально, чем иные «категории» человеческого мышления, — повторил Негорский одно из более частых выражений Арканова... — как, например, пространство и время... Может быть, и движение — представление также субъективное и

условное... Я решать этого не берусь... Пусть этим занимаются специальные исследователи и учёные... Нам следует, полагаю, прежде всего обратиться к вопросам более простым и более близко нас касающимся. Вы доказываете, что всякое течение и всякое действие в человеческих обществах принимает волнообразный характер, что оно обязательно состоит из двух дуг, обратно выгнутых: из акции и реакции. Вы приводите целый ряд исторических доказательств, из которых злостный слушатель мог бы заключить, что, так как это непреодолимый мировой закон, и мы уже находились в акции, то теперь мы, естественно, должны попасть в... реакцию. А ведь это совсем не так!.. Та же история, которая доставила вам столько неопровержимых доказательств, доставляла и всегда будет доставлять не меньшее число и не менее неопровержимых доказательств и совершенно другим, часто как раз обратным теориям. Я, например, на основании той же истории совсем иначе представляю себе процесс развития человечества. По моему, он является бесконечной цепью неустанной борьбы, неодолимым и самодовлеющим движением в высь, без отдыха и отступления... Последнее для него гибель... Движение это меняет внешние формы, приспособляется, но ни остановиться, ни попятиться назад оно не может, так как его законом является постоянное стремление к полноте жизни, к счастью, наслаждению, к совершенству... Но допустим, что я не больше, как странный, ребяческий мечтатель, незрелый ум, на которого в сущности и внимания-то обращать не стоит. Так возьмём другую теорию, которую исповедует наш друг Александров и которая прекрасно объясняет нам, что приводимые примеры легко истолковать и в другом смысле... Товарищ Александров, как это мы многократно слышали, доказывает, что в человеческих обществах, от самого их первообразования, всегда и везде параллельно развивались два сосуществующие течения: аналитическое и синтетическое. На эту нить превосходно нанизываются все — и давно прошедшие, и современные события. Эпохи разделяются на созидательные и разрушительные, люди — на революционеров и тружеников. У этой теории такие же универсальные замашки, как у вашей теории, Артемий Павлович. Александров также охотно проводит свои параллели и в других областях знания, применяет их в физике, химии, геогнозии и проч. Но что из этого? Какое нам дело до всех этих законов? Я думаю, что наши законы мы носим в самих себе. Мы несём их, как орудия, и употребляем, как оружие для завоевания главной нашей цели, главной цели жизни, для завоевания себе возможно полного счастья. А одним из первых условий этого счастья есть самоуважение. И вот, я в силу этого самоуважения принуждён отказаться от всей вашей теории — акции и реакции, которая, в сущности, не более как пустая и опасная шутка. — Нет, не туда наша дорога, милые товарищи! И вы, Артемий Павлович, лучше, чем открывать и выдумывать псевдонаучные

законы, соединитесь с нами и направьте свои способности и средства к скорейшему открытию выхода для всех нас из... египетского пленения, в котором мы задыхаемся, в котором мельчаем и гибнем!.. А выйдем ли мы оттуда по волнистому или спиральному пути — это не важно. — Не правда-ли?

Никто не ответил ему. Все были смущены резкостью его тона и необычным заключением.

— Вы, значит, предлагаете новый побег?

— Новый? Нет, я предлагаю всё тот-же старый, так как я всегда предлагал его и вечно предлагать буду...

— Даже после того, что случилось?.. Вы.. вы!

— Да, я. Вообще, я требую. чтобы политические ссыльные прежде всего бежали, чтобы они мечтали о побеге, чтобы их кровь, мозг, сердце, лёгкие пропитаны были жаждой побега, чтобы она была сутью их жизни, как единственная форма борьбы за свободу, доступная им в их положении... Иначе им грозит позорная смерть заживо... — закончил Негорский, слегка бледнея.

— Вы смеее говорить это?.. Вы, который своим легкомыслием уже разбили один побег... — вскричал Арканов.

— Это вас не касается! — вменялся резко Красусский.

— Как... «не касается?!» Разве мы не подвергали себя опасности и ответственности? Разве вы не пользовались нашей помощью?! — гремел Арканов.

— Артемий!!.. удерживала его жена.

Но Арканов уже сорвался и понёс. Он облил неудачных беглецов потоками укоров и порицаний, так что те молча взяли за шапки. Тщетно останавливала их Евгения, они удалились и унесли с собою её мечты о дружбе и единении всех товарищей по несчастью.

— Ты чересчур резко напал на него! — упрекал Александров Негорского. — Следовало хоть немного щадить его самолюбие...

— Тогда мне пришлось бы всё пощадить, так как там нет ничего, кроме самолюбия. Ты не замечаешь всей его замысловатой и коварной политики. Он в каждом деле, в каждом возникающем вопросе доводит свои требования до таких крайностей, что предложения падают сами собою. Выходит очень благородно, очень революционно и крайне... подло, так как, в сущности, он нравственный банкрот, и если-б слова его приняты были нами за чистую монету, он первый преспокойно отказался бы от них под благовидным предлогом. Рассуждения его приблизительно таковы: так как мы не можем добыть немедленно полную свободу и объявить в Джурджуе конституцию, то мы должны помириться с своей судьбой и со всем, что из сего истекает.. То была акция, а это реакция — по закону волн в социологии... Арканов эгоист, ревнивец; он тревожится за жену, он опасается, что она заметит, какой у неё

муж молодчик, и бросит его... Отсюда все эти истории, лекции, доклады, рефераты, желание сыграть учёную роль, отсюда и социологическая теория, оправдывающая отступление. Рассуждение было и будет. всегда лакеем наших страстей!..

Красусский шёл позади. Слова «ревнивец»... «тревожится за жену»... ужалили его в самое сердце.

— А а-а! Вот как?.. Хорошо же!.. — повторял он несуразно, блуждая мыслью по каким-то тёмным и противным закоулкам собственной души.

V.

Следующие несколько дней Красусский провёл в крайне удручённом состоянии духа. Осенний перелёт окончился и вместе с тем прекратились работы в мастерской. Вынужденная праздность увеличивала его тоску. Он не в силах был ни читать, ни заниматься науками, так как малейшее напоминание о родине, о женщинах, о любви, о другой, милой жизни в милой среде — вызывало в нём жгучее страдание, доводившее его до умопомрачения.

К счастью, пришёл в город пан Ян, заглянул в юрту Александрова и напустился на приунывших и раскисших друзей.

— Что случилось?! Чего носы повесили? Сидите грустные, точно курицы на яйцах... Приходите ко мне. Такая там красота... Все горы кругом в кораллах, в золоте, в шёлку... Ягод пропасть! Где ляжешь, там, не двигаясь с места, сыт встанешь! На деревьях рябчики, точно индюки, сидят и тетерева не хуже лошадей!.. Выпейте по рюмочке и... айда!.. Право!..

Он постукивал по табакерке и протягивал её друзьям.

Негорский, который мрачно погрузился в чтение книг, на мгновение поднял склонённую голову, Александров пробормотал что-то невнятно; один Красусский дал уговорить себя.

— А может кто-нибудь ещё? Может быть, Петров или Самуил?

— Никого не приглашай больше, никого!.. Прошу тебя в этот раз, пан Ян!

С потерей места больничного сторожа пан Ян решил ради экономии перебраться за реку. Там, в местности Бурунук, в семи верстах от города, один из родственников его жены уступил ему для жительства юрту. Тут же за юртой подымалась высокая, крутая гора, до половины заросшая лиственным лесом и густым березняком. Впереди юрты, между ней и рекой, расстилалась обширная луговая долина, отделённая, как и большинство соседних лугов, от реки полосой спутанного и густого тальнику. На лугу в разных местах блестели лужи и озёрца замёрзшей воды. Узкое, длинное, как речная протока, озеро извивалось у подножья горы.

Когда охотники вышли на рассвете из юрты, Красусский не мог удержаться от радостного восклицания:

— Пан Ян, да ведь день-то будет для охоты — золото!

Плётка тонкого, молочного тумана покрывала весь луг. Деревья, кусты, стога сена поднимались из мглы, точно мелкие острова, а вдали чернел лес, будто берег. Над туманом повис необъятный океан холодного воздуха, пропитанного серебристым светом просыпающегося дня, а выше — бирюзовый свод неба с меркнувшими звёздами. На востоке исподволь разгоралась алая заря с примесью золота. Но сияние её ещё было слабо. В горных падах, по низам и ущельям, таились ещё серые остатки уходящей ночи, предметы не отбрасывали ещё теней, и окрестности, беззвучные и неподвижные, покоились во мгле, как человек, который только что проснулся и уже раскрыл глаза, но которого ещё не оставили сонные видения.

По сухой, крепко подмёрзшей тропинке выбрались охотники на озеро и, скользя, побежали по прозрачному, тонкому льду. Со дна просвечивали длинные, тёмные водоросли. Оружие и все охотничьи доспехи были крепко и ловко подвязаны, чтобы не позвякивали, не гремели и не отлетали в сторону при движениях. Поэтому люди скользили по озеру среди мглы бесшумно, точно привидения. Кой-когда, в тёмной глубине озера, под ними вспыхивали снопы золотых искр — это стаи испуганных рыб быстро поворачивали в пути, сверкая чешуёй. Кое-где, у самых ступней своих, охотники вдруг замечали уродливые головы водяных великанов, с камневидными узкими лбами, с разинутыми ртами... Их жаберные щиты тихо двигались в мерных движениях, их круглые, янтарные глаза без век глядели на проходящих людей с тупым удивлением. Пан Ян шутливо грозил им кулаком, а они, лениво двигая плавниками, поворачивались к нему хвостами и исчезали в чаще водорослей. Долго затем дрожали и колыхались длинные нити трав и водяных лилий, сомкнувшись позади.

Охотники направились в горы, на склонах которых всё отчётливее вырисовывались леса, рощи, отдельные деревья, утёсы и скалы.

— Я тут знаю одну падь, где всегда есть рябчики. Мы погоним их сначала вверх, а после вниз. Весь табун перебьём, если посчастливится... А только, смотрите: чур, не пуделять!¹ Раз мимо — стая убежит!.. — поучал Ян Красусского.

Густые, узловатые кусты горной ивы покрывали дно ущелья, а на боках его рос высокий лиственный лес. У входа в ущелье охотники разделились: Ян пошёл налево, Красусский направо. Они принялись внимательно осматривать кусты. Солнце уже золотило верхушки растущих на склонах гор деревьев, но на дне пади в тени крутых откосов ещё держались пепельные сумерки. Смесь

¹ пуделять — [от нем. pudeln - промахнуться] охотн., делать промахи в стрельбе. — прим. OCR.

мрака и серых осенних кустов образовала там такую дымчатую неопределённую ткань, что даже опытный глаз Красусского блуждал в ней безнадёжно. Юноша уже предполагал, что ничего нет в кустах, как вдруг на условный свисток Яна, звавшего к дальнейшему движению, один из сучьев странно зашевелился. Красусский замер без движения и зорко принялся разглядывать. На сучке сидел рябчик и смотрел на него коралловым глазом. Но выстрелить было чрезвычайно трудно, так как птицу едва видно было в маленькое окошечко меж причудливо спутанными сучьями и ветками. Охотник чуть наклонил голову, чтобы убедиться, нельзя ли подойти с другой стороны, как вдруг рядом другой рябчик побежал по нависшей над тропинкой ветви. Птица остановилась на самом её кончике с тревожно вытянутой шеей. В то же мгновение Красусский заметил третьего, четвёртого рябчика — целую стаю с протянутыми сторожко шеями. Дольше ждать было нельзя, Красусский быстро приложился и выстрелил. Поражённый рябчик взлетел на воздух и упал, как камень в кусты. Остальные улетели, шумя крыльями и сверкая белыми подбрюшниками. Пока Красусский заряжал ружьё и разыскивал в чаще убитую птицу, загудел выстрел Яна и опять зашумели крылья и забелело в кустах уже повыше в пади. Красусский, не сводя с глаз места, где сели птицы, подкрадывался осторожно боком оврага, в то время как Ян двигался параллельно по другую его сторону. Оба старались стрелять одновременно, давая знать о себе друг другу условным посвистыванием. Не доходя до конца оврага, Ян крикнул Красусскому, чтобы тот взобрался на увал и обошёл падь горою. Охотники сошлись на перевале.

Пан Ян был видимо доволен, десяток рябков висели у его пояса.

— А что?. Молодцы мы, а? За то выпьем по рюмочке? Хорошо?!.. А вы, вот, зачем птицу портите?.. Ге!.. Не следует... Не ладно!.. Я видел, как вы одного подбили, и он улетел. Промых, так промах, а попадать, так надо, как следует, с голку¹... А то «он» теперь расскажет товарищам и уведёт их из оврага. Будьте уверены, что уведёт... Вы смееетесь... Напрасно! Это так, я не раз наблюдал... Раненый, он дальше летит, а за ним и другие... Обрато нам придётся идти много осторожнее и не дальше, как до пол-пади... Подбитые ужасно пугливы: раз не издохли сейчас же, первые затем срываются. Когда станем обходить овраг, помните, что нужно высоко взобраться и заложить издали... А то под гору летят рябчики много шибче и садятся много дальше... Если по три раза выстрелить позволят, то и то слава Богу!.. А когда покончим, то напьёмся чаю вот здесь, на этой седловине. А что?.. Я вам не худо посоветовал, сразу у вас глаза повеселели... Совсем бы вы у меня поселялись, мы бы ловушек на зайцев, да луков сотню поставили и зажили бы припеваючи... Сети мы забросили под лёд на этих дураков, что давеча на нас глаза из озера пучили... Право!..

¹ С голку — сиб., здесь: наповал, окончательно. — прим. OCR.

— Не позволят, не пустят из города!.. Нам нельзя отлучаться, вы знаете! Мне не хотелось бы пока ссориться из-за пустяков с полицией. А главное ты, пан Ян, нажил бы себе много неприятностей и придирок со стороны властей!..

— Что они мне сделают? Вышлют, что ли? Не больна я их боюсь.. Разве я не везде вольный казак?.. Только ребятишек и старуху жаль, за что их мучить.. а то..

Ян дёрнул сердито повисший ус и вздохнул.

Лицо его чуть омрачилось.

— Ого!.. Было время!.. Боялся я до тех пор, пока шапки не надел.. А шапку надел — и страх вон!.. Пойдём уже, барин, пойдём, а то рябцы посоветуются, надумают да и улетят..

Когда, гонимые обратно вверх, рябчики, израненные и испуганные, вспорхнули, поднялись выше зарослей и полетели за перевал, люди поспешили следом за ними и взобрались на знакомую уже седловину. Пан Ян осматривал местность, выбирая место поудобнее для костра, как вдруг лицо у него потемнело, и он, не запирая даже раскрытой табакерки, быстро прицелился. Красусский, думая, что оказался поблизости медведь, тоже приготовил ружьё, но уже загремел выстрел, и, вслед затем, громче выстрела, чихнул весело пан Ян.

— Ну и фарт!.. Впервые в жизни с табашницей в горсти стреляю!.. Даже табаку высыпалось маненько..

На косогоре, по другую сторону скалистого порога, трепыхался и катился вниз красивый чёрный тетерев, а другой летел повыше леса над долиною, широко распростёрши крылья. Это приключение ещё лучше настроило охотников. Ян острил и сыпал прибаутками, точно из мешка, ловко в то же время сооружая костёр и приготавливая чай; Красусский, улыбаясь, ощипывал перья с рябчиков, предназначенных на жаркое.

— Жизнь не сапог, не сошьёшь по указанной колодке. Хочешь так, а выходит совсем наоборот. Например, теперь: меня выгнали из больницы... Казалось, совсем крышка! Куда денусь с ребятами?.. Пропадом пропаду... А между тем, вот живу себе, чиновникам в городе сапоги починяю... Вчера полтора рубля от исправника за подмётки взял... — «Смотри, — говорит, — чтобы были варшавские!..» — Варшавские — отвечаю — особые, требуют угощения! — Налил рюмку из графинчика, что у него в углу на столике стоит, сам выпил и мне поднёс... — «А что? — спрашивает — лошадь Александра у тебя?» — У меня, господин исправник! — «А скоро они возьмут её в город?» — Не знаю, господин исправник! — «Хорошо, Когда возьмут, то придёшь и скажешь мне!..» — Молчу, смотрю на него. Весь покраснел. — Этого, ваше высокоблагородие, я не сделаю... — «Почему?» — Потому, что это не по... варшавски!.. Рассмеялся, ещё рюмку водки поднёс мне и говорит: — «Молодец! если убьёшь что-нибудь,

принеси мне...» — Понесу завтра тетерева. Он меня любит и хорошо платит. А прогнать из больничной службы должен был, на то он начальник, на то поставлен, чтобы человека склонять в свою сторону, а человек волен подлость сделать, иль нет... Что вы так задумались?.. Вы не слушаете?

Красусский глядел на долину, расстилавшуюся под ними в лучах солнца. Густой, жёлтый березняк золотил её приподнятые бока; выше поднимались порыжелые лиственницы, а по самому дну шла тёмная полоса спутанных тальников и ольх. Там и сям виднелись кроваво-красные пятна шиповников и дикой малины. Всё запирала вдали синяя гладь замёрзшего озера, окаймлённая тёмными изгибами леса. Дальше подымалась цепь седых гор и синева небосклона.

— А что, пан Ян, если б так вдруг... ружьё вскинуть за спину да пойти, куда глаза глядят... Что бы случилось?!

— Теперь?.. Зимою?..

— Допустим, теперь!

— Так вы сами знаете, что бы случилось... Расклевали бы галки да вороны, волки бы съели... Эй, эй!.. Вижу, что у вас что-то нехорошее в голове опять ходит! Опять хотите заварить кашу!?..

Старый охотник взглянул жалостливо из-под нависших бровей на грустное, тоскующее лицо юноши.

— Послушайте лучше, расскажу я вам, как я однажды влюбился в русскую; ведь и среди них есть хорошие, сердечные женщины...

— Нет, не надо!..

— Что так?

— Лучше что-нибудь другое...

— Тогда расскажу вам, как мы, поляки, уже тут, в Якутской области, бунтовали. Видите, нас сначала поселили на юге. Много нас пришло, всё молодёжь, из солдат... не присягнувших... Распределили нас власти по якутам, по одному, запретили видаться. А мы все привычны были к компании и страшно скучали. К тому же, нас худо кормили. Бог знает чем, какими-то отбросами, гадостью... Ни купить чего другого, ни достать!.. Ружья ни у кого нет, охотиться нельзя, якуты караулят, за порог, почитай, с трудом пускают... Сейчас: куда? да как? да зачем? Обещало начальство выдавать «пособие» — пуд муки и три рубля деньгами ежемесячно. Жду я это один месяц, жду другой — всё ничего нет. Между тем, мой хозяин, маленький, знаете, якутский князёк, уже несколько раз. побывал в городе и сказывал, что в полицию заходил и там ему все отвечали: нет ассигновок! Только не поглянулось мне, что в глаза якут не глядит и слишком уж распинается, что говорит правду. Говорю я ему: я сам с тобой в город отправлюсь. «В город нельзя» — отвечает. — Ну, так к товарищам веди меня! — «К товарищам тоже нельзя». — Я у тебя разрешения

не спрашиваю! — «Так иди сам, пусть тебя медведь съест или утопись в болоте...» Верно: лес глухой, дорожек много, а я ещё не привык к якутской тайге и по новизне опасался... Якуты дороги показать не хотят. Притворился я, что не думаю больше о путешествии, а тем временем присматриваюсь, по какому направлению уезжают якуты в город. Заметил я, что на этом пути через каждые несколько десятков саженой зарубка на лесине виднеется. Смекнул всё это и однажды, когда особенно шибко захандрил, выждал, чтоб якуты ушли на работу, да и махнул прямёхонько по этой дороге. Прошёл несколько вёрст, вышел на такой же сенокос, с такой же юртой посередине, как и у моего якута. Соображаю, войти в неё или нет, вдруг двери раскрываются и выходит мой друг и товарищ Франек Лозняк. Я выругался даже с досады, что был от него так близко, а ничего не знал. Он тоже шибко обрадовался. Разговорились мы. У него была та же беда, что у меня. «Пособия» нет, якуты обижают, кормят всякой дрянью, заниматься ничем не дают, ходить едва на край леса позволяют, а так как Франек был меня добрее, то даже ругают его. Рассердился я: если так, — говорю, — то пойдём к другим товарищам... Верно, живут недалеко. И пошли мы; от следующего уже втроём направились дальше. Собралась нас большая куча, человек пятнадцать. Отправились мы в управу. Там нам сказали, что о нашем «пособии» им ничего не известно. Кормить нас было нечем. Выдали нам управские неводы, наловили мы карасей в озере... Сами наелись, ещё якутов накормили. Отправились на следующий день в город, прямо к губернатору. Тот испугался, казаков позвал, нас приказал окружить и только тогда вышел. И что же оказалось: деньги и муку давно нам высылали из казны, да всё забирала полиция. С князьями якутскими снюхалась, счета составляли вместе, квитанции за нас подписывали... Так пропало много наших денег. Губернатор обещал, что их нам уплатят, но вместо того нас увели в тюрьму. Затем обратно разослали по одиночке в улусы. Сдержали-ль слово другим не знаю, так как меня, вместе с товарищем, с которым мы, по общему поручению, разговаривали с губернатором, выслали за этот бунт сюда, на север. Здесь товарищ мой остался в городе, потому что он был дворянин, а меня, так как я из простого сословия, сослали в улус. Вскоре товарищ вернулся на родину и, уезжая, подарил мне вот эту двустволку. Тогда-то я и принялся промышлять птицу и зверя, а затем и женился, когда потерял надежду на скорый возврат... Хотя жена моя татарка, но всё-таки есть развлечение, не в пример лучше, чем одинокому... Такова была моя участь. Если б можно было, как вы сказали, — ружьё на спину и... куда глаза глядят, то я бы давно ушёл... Да ничего из этого выйти не может, потому что это то же, что пустить себе пулю в лоб. А жизнь на свете всё ещё мне нравится!.. Вы ведь сами знаете, как это бывает... Всё чего-то ждёшь!.. Вот и я ждал всё манифестов. Манифесты шли да шли, а меня не отпускали, забыли должно быть!.. Писал я

прошения и в губернию, и к министру подавал, все отписывали, что не знают, кто я такой, что бумаги мои в якутском архиве сгорели... А теперь, как присягать, то припомнили — кто... Такие всегда москали. Известно — чинуши! Манифесты, манифесты, а они просто манихвосты¹, вот они что!

Пан Ян задумался и вздохнул, но вскоре вскочил на ноги и весело загудел:

Погуляли час,
Ну и будет с нас...

И они немедленно принялись укладывать свои скромные охотничьи пожитки. На обратном пути наткнулись ещё раз на небольшую стаю рябчиков. Когда на закате солнца они спускались с гор в долину, отягчённые добычей пояса резали им бёдра. Ян шёл, окружённый целым венком птиц. Он убил их двадцать штук, Красусский — дюжину. Охотники остановились передохнуть на небольшой горной плещи, покрытой сплошь ковром коралловой спелой брусники. Кругом кудрявые берёзки шумели золотыми листьями под порывами поднявшегося к вечеру ветерка; с ветвей колыхавшихся повыше лиственниц сыпалась вниз ржавая хвоя листопада; алая парча обожжённых морозом шиповников ярко горела в лучах заката. Высоко над их головами у края скалистого утёса, подымавшегося выше соседнего леса, кружилась с пронзительным писком пара пёстрых соколов.

— Успех ворожат! — проговорил пан Ян, кивая в сторону хищников. — Промышленники приветствуют промышленников!..

VI.

Вскоре упали снега и забушевали осенние вьюги. Негорский углубился в книги и не выходил совсем из юрты. Раз только пошёл он вечером к Аркановым по настойчивому приглашению Евгении. Застал он там обычное общество, всё тех же, исключая Петрова.

Царило примерное согласие, не осталось и следа минувшей бури.

— «Пустых звуков игра...» — подумал Негорский.

— А, это вы?.. Что слышно у Яна? Говорят, Красусский ходил к нему на днях? — радостно встретила гостя Евгения, усаживая его рядом с собой у стола.

— И, слышно, много убил рябцов? — добавил дружелюбно Арканов.

— Он посылает вам часть добычи:

— Почему сам не принёс?

Негорский пожал плечами.

— Оставьте его, пусть себе сидит.

¹ Манихвост – здесь: лукавец, обещатель. – прим. OCR.

— Странный, невоспитанный молодой человек. Он совсем не в силах владеть собою! — сказал Черевин. — Кому из нас легко и сладко, однако, никто так не носитя со своей тоской и хандрой, как он...

— Вы так полагаете? — спросил небрежно Негорский.

— Господа, прошу не говорить об отсутствующих! — вмешалась Евгения. — Не желаете-ли, доктор, чаю?

— О чем же говорить? Об отсутствующих нельзя, о присутствующих не подобает, событий нет...

— Рассуждайте, господа, — проговорил мрачным голосом Самуил, — о... субъективизме и объективизме в искусств...

Все рассмеялись, впрочем, довольно грустно.

— Вы не сказали нам, однако, что новенького у Яна?

— Ничего особенного. «Джурджуй, а не Калужская губерния»! Горы и доли, снега и холода...

— Что холода?.. Холод пустое!.. — вмешался неожиданно Мусья. — От холода образуется кругом кожи горячий пар, который не пропускает простуды... Честное слово, нужно только привыкнуть!

Присутствующие опять рассмеялись.

— Ах, Мусья, Мусья!.. Мы узнали от вас недавно, что солнце греет, потому что оно далеко, что цинк растворяется — и отсюда молния и электричество, а теперь...

— В этих рассуждениях есть зерно истины...

— Давайте, господа, spoём лучше хором, — предложил Черевин.

— Надоело. Каждый день то же самое!

— Так прочтём что-нибудь громко.

Проект был встречен молчанием.

— А что поделывает Александров?

— Курит трубку и размышляет о подлости мироздания!

— В Джурджуе, несомненно, самая убийственная вещь скука... Невольно жаждешь, чтобы хоть исправник подрался с помощником, чтобы хоть кто-нибудь из обывателей проигрался в пух, или чтобы Денисов... соблазнил, наконец, докторшу... Жаждет человек скандала, глупости, чего-нибудь самого несуразного, лишь бы перемена...

— Знаете, господа, что мы сделаем из рябцов? — заговорил вдруг необыкновенно оживлённо молчавший всё время хозяин. — Мы сделаем из них сыр. Его так готовят: птицу сушат в слабо протопленной печке, затем мелют вместе с костями на мелкую муку и перетирают со свежим маслом... Помнишь, Женя, какой прелестный сыр из дичи готовила твоя матушка. Пальчики оближешь!.. Итак, не забудьте, господа, в воскресенье к нам обедать. Будет сыр!..

Весь вечер прошёл в подобных разговорах.

Негорский вернулся домой, злой, крайне расстроенный и тоскующий.

— К чорту!.. Жаль времени и остроумия!.. Немного ещё, — и мы скиснем и измельчаем в конец.. Сыр из дичи! Тьфу!.. Придётся вплотную засесть за книги, а около Рождества, может быть, деньги придут, и положение выяснится..

«Положение» было новым, исправленным планом побега семи всадников через леса и горы..

— Не тужи. Весною все двинем. Это будет великолепная поездка, весёлая и удобная!.. — сказал как-то Негорский Красусскому, входя в юрту.

Красусский, в шапке на голове и с руками в карманах, мерно кружился по комнате.

— Как так, все?

— Ну, кроме Аркановых, Мусьи и Черевина.

— Разве случилось что-нибудь? — спросил Александров, высовываясь из угла.

— Нет, но... деньги придут!

— Ах! — вздохнул великан и спрятался опять в тени.

— Зачем лишать людей иллюзий? — шепнул Негорский с комичным упрёком.

— А зачем поддерживать их?

— Жить легче!..

Красусский остановился и стал прислушиваться к разговору, но разговор вдруг оборвался. В этот раз, к удивлению Красусского, вздохнул Александров. Впрочем, это случилось только раз, а затем из угла, где лежал, вытянувшись, великан, долетало исключительно сопение его маленькой трубочки, «неугомонной», как шутя прозвали её товарищи. Красусский возобновил кругообразную прогулку по юрте.

Так кружатся по клеткам сильные, неприрученные животные, да человек в тюрьме. Так любил ходить и Александров. Когда оба они, один в одной комнате, другой в другой, устраивали этот странный концерт однообразных, тихих, точно крадущихся шагов, похожих на шум капель, капающих в сталактитовых пещерах, Негорский приходил в бешенство.

— Палачи!.. Живодёры!.. Перестаньте, наконец, мучить меня! — кричал он, подымая глаза от книги. — Убирайтесь к чорту, уходите на все четыре стороны, принимайтесь за какую-нибудь работу или... повесьтесь!.. А если всего этого не хотите сделать, то поставьте самовар!

В конце концов, являлся самовар. Звон стаканов, шипение пара, бурление кипятку в медном желудке самовара, самый, наконец, процесс разливания и распивания чая, доставляли жителям юрты временное развлечение.

— «Сыр из дичи», только более подлого сорта!.. — вздыхал Негорский. — Пришёл бы, что ли, Самуил или лучше ещё Мусья и принёс какую-нибудь сплетню!.. Но на дворе такая погода, что и собаку не выгонишь!..

Если, не смотря на вьюгу, являлся Мусья, ссылные принимали его, как принца:

— Садитесь, рассказывайте!.. Где вы пропадали, что так долго не показывались?..

— Был третьего дня!?

— Вот видите! А мы думали, что год времени прошёл с тех пор... Вы должны ценить наши к вам чувства и рассказать нам такую историю, чтобы дух захватило...

— Откуда возьму?.. В городе большая скука. Распространяется неудовольствие. Даже в карты мало играют! — рассказывал довольный Мусья, глотая прожорливо хлеб с маслом. — Ждут все с нетерпением клади с водкой. Обоз где-то задержан гололедицей, остановился среди озера... Нет сведений!.. Но как могут придти, если лёд не имеет снега, а копыта лошадей без подков катаются... Варлаам Варлаамович даже похудел от ожидания, а доктор попал в отчаянность... Он обвиняет полицию и послал меня к вам, Красусский, чтобы вы исправили ему шарманку... Она очень хороша, а главное — играет марсельезу, что необходимо теперь доктору, как протест... Там не хватает несколько зубчик и одна колесо. Доктор требовал, чтобы я поправил эти зубчик от марсельеза, как француз, но я не могу этим делом заниматься, чтобы не портить «affaire» товарищу...

— Известно нам хорошо твоё золотое сердце, Мусья!.. Но что ещё слышно на свете...

Мусья улыбался и, не глядя на товарищей, продолжал:

— Да вы не позволяете окончить... Если человек человеку помогает, уважает гражданина, то от этого бывает всем полезно... Вы сами говорите, например, что я имею хорошее основание для того, что мне помогает, а симпатия, я слышал, не раз ведёт к социалистическому устройству... Вот всё!

— Чудесно!.. Вы умница, Мусья, но что ещё слышно в городе?

— Ничего. Я говорил уже: нет водки, гололедица на озёрах, в карты мало играют... Да, вот Черевин проигрался! Обыграл его помощник, играли они до белого утра у исправника... Сначала играли в винт, а затем в штос...

— А что ещё?

Мусья задумался.

— Право, удивление!.. Везде я был, а рассказать теперь нечего... Разве что поп... уговаривает меня, чтобы я принял православие...

— Что-о?!

— Ну, да! Он верно говорит, что это единственный хороший проект, чтобы отсюда выбраться... Потому что я, например, могу в рясе ходить за подаванием от мужика до мужика... Деньги я могу им возвратить, когда за границей заработаю...

Друзья взглянули друг на друга значительно.

— Ты, во всяком случае, подожди с этим проектом, Мусья, советуем тебе...

— Зачем ждать?.. Теперь зима, а затем будет весна. Нет другого средства. Рясу я им тоже обратно пошлю... А другой безнравственности я не вижу...

— Не в том дело, но... тебя и в рясе отсюда не пустят!

— Это мы будем посмотреть!

Он вытер своё вспотевшее лицо, попрощался и ушёл.

— И этот тоже!.. — сказал Негорский. — Ещё нам помешает... Ах, деньги... проклятые деньги!

— А если их... не пришлют? Тогда что?

— Что-о! Почём я знаю что?.. Скорее всего, что ты, Красусский, возьмёшь лошадь и убежишь... Ты самый ловкий из нас.

— Один я не поеду. Предпочитаю разделить вашу участь... Знаете, что тогда? Тогда мы бросимся на полицию, арестуем исправника, заберём казну, возьмём силою почтовых лошадей... Я готов на всё... Надоело мне!..

— Всё это в твоём вкусе. Но для успеха всякой борьбы необходимо, чтобы враги возбуждали в нас нечто большее, чем отчаяние. Нужно, чтобы всякий наш план имел хоть некоторую вероятность успеха, чтобы не был очевидным сумасбродством! — доказывал Негорский.

Дни проходили; появлялись всё более и более толстые слои снега. Обоз с водкой пришёл, наконец. Джурджуйцы устроили ему блестящую встречу. Самуил, который случайно был свидетелем этого происшествия, вечером рассказывал Аркановым подробности.

— Вижу: на улицах необыкновенное движение, везде кучки людей. Доктор, живописно задрапированный в дорогую шубу, стоит у ворот своего дома, а позади него фельдшер Федоркин и господин Козлов. Учитель и Денисов промчались мимо меня в санях. Все глядели в одну сторону и стремились в одном направлении. Некоторые из более любопытных повлезали даже на крыши. Вдруг слышу крики: «Калле!.. калле!..Идёт!» Что идёт? спрашиваю проходящего мимо Виссариона. «Она, голубушка! Благодарение Господу Богу и Спасу нашему.. пришла!» Крестится со слезами на глазах: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» И побежал старик за другими. Заинтересованный, я тоже прибавил шагу. Действительно, зрелище оказалось достойным внимания. Толстый, дюжий якут в меховой шапке и крылатом балахоне верхом на лошади открывал шествие. Одной рукой он упирался в бок, в другой держал нагайку и помахивал ею. Он гордо посматривал на всех с высоты, скуластое лицо его

ширилось от самодовольной улыбки, так что глаз не было заметно. За ним двигалась цепь лошадей, привязанных друг к дружке, мордами к хвостам. На каждой с обоих боков висели по круглому плоскому бочонку, зашитому в кожу... Джурджуйские граждане бегут по обеим сторонам обоза, толкаются, указывают пальцами на эти бочонки, а когда шествие остановилось, какой-то старик с рыданиями припал к одному и облобызал его...

— Отвратительно! — вспыхнул Арканов.

— Почему-же? Очень просто: они боготворят силу, дающую им забвение... Мы ведь часто любим даже Тех, кто нас мучит, и никто этому не удивляется...

Евгения поджала губы.

— Окончательное скотство, разврат... возможный разве только в Джурджуе!.. — бушевал Арканов.

— Что такое скотство? Скотство — это жизнь бессознательная, полная забот исключительно о вкусной еде, питье и самоуслаждении... Разве мыслимо удержаться на общечеловеческом уровне в этом городишке, где живут исключительно полицейские чиновники, их приспешники и прислужники, в этом громадном паразитном лишайнике, сосущем соки из рассеянных по окрестным лесам инородцев. Каждый джурджуец обязательно чувствует себя паразитом, угнетателем, и хотя громко в этом не сознаётся, но в душе чувствует точащего совесть червяка... Я им ничуть не удивляюсь, что они пьют... Я сам бы пил, если-б у меня хватало решимости...

— Так в чём же дело? Решайтесь!.. — съязвил Арканов.

— Те-екс! Если-б это случилось немного раньше, я бы, конечно, решил. А теперь... не смею! У меня есть ангел... — вздохнул Самуил.

Арканов оглянул его проницательным, чуть испуганным взглядом. Евгения покраснела и сделала движение, как бы собираясь подняться. Самуил умышленно медлил с окончанием и исподлобья следил за ними смеющимися глазами.

— Зачем мне водка, когда у меня есть... муза! — добавил он совершенно спокойно.

Арканов перевёл дух. Самуил частенько поддразнивал таким образом супругов, что сильно возмущало Евгению. Иногда она после того решала не говорить с ним и не замечать его некоторое время, но он был тем единственным ссыльным, который посещал их ежедневно и который не только умел говорить, но и слушать. Арканов высоко ценил последнее его качество.

Глухие, сонные серые зимние дни быстро укорачивались. Едва-едва успевал разгореться бледный и чахлый солнечный диск, как уже ночь надвигалась из-за гор и летела к заре — мутная, огромная, точно сказочный гриф, которого тело и расправленные крылья Терялись далеко за горизонтом.

Туманы струились из земли, морозный гул катился по ней, на тёмных, низких небесах горели нетухнувшие сонмы дрожащих звёзд. Изредка их золотой блеск слабел в ярком сиянии сполоха, изменчивые, быстрые, неуловимые мерцания которого отбрасывали странные тени на молочные снега, а в человеческих сердцах будили беспокойство.

— Зима идёт, — говорил Негорский, кутаясь в меховую куртку и усаживаясь в укромном уголке нар.

Сальная свечка слабо освещала тёмную внутренность юрты. Александров дремал на другой наре, Красусский кружился по избе.

— Уже две почты пришли, и ни писем, ни денег! А может быть, Таз получил уже перевод и утаил его. Проныра якут! Нужно будет ещё раз написать. Отчаяние охватывает, когда подумаешь, что ответ полгода ждать приходится. Ныне октябрь, а ответ придёт только в марте... Но и тогда ещё успеем убежать... Лишь бы пришли деньги!.. Да вот ещё горе: оказии нет! Не знаешь, Красусский, не собирается-ли обратно в Якутск приказчик Варлаама Варлаамовича? Или Таз не поедет ли раньше на зимнюю ярмарку в этом году? Знаешь что, Красусский, присядь ты, ради Бога, на мгновенье... Ты понятия не имеешь, до чего противно это твоё звериное шагание..

— Стараюсь сохранить... иллюзии! Бегу от разочарования! — улыбнулся в ответ ему Красусский. — Лежать по целым дням, как ты, уткнувшись в книжку, тоже не весело! Но я сел, уже сижу!.. Не сердись! В чём дело?

— Иллюзий и у меня осталось немного... Разве что... попросим Аркановых?.. Они опять получили несколько сот рублей, могли бы... одолжить нам!..

Он взглянул незаметно на Красусского, тот насупился.

— Я предпочёл бы мой способ.

— Не удастся. Чересчур громко. Будет энергическая погоня. Да и здесь, на месте, мы бы принуждены были прибегнуть к убийствам. Хотя это и в битве, но тем не менее как-то щемит на душе... Слишком личный и не так уже важный повод. Пришлось бы убить врасплох часового, простого, неповинного ни в чём казака... Нет, это чересчур ужасно!..

— Чего же щадить их!.. Разве они мало пролили нашей крови?

— Слышал я, слышал эти доводы, но, сознаюсь, они меня не убеждают. Для меня это не те же самые люди. У Александрова, у Арканова и у тебя, вижу, странные на этот счёт взгляды. В ваших рассуждениях, как будто, исчезает личность, а её место занимает тип..

— Совсем нет! И для меня это, конечно, не те же самые люди, но это такие же люди!.. Благодаря им-то и держатся явные и несомненные выразители и столпы существующего порядка вещей!.. — раздался из темноты голос Александрова.

Хотя друзья говорили по-польски, но Александров настолько привык к этому языку, постоянно живя с ними, что без труда понимал всё, что говорилось. Тем не менее, они сейчас же, заметив, что он интересуется разговором, стали говорить по-русски.

— Личность и только личность отвечает за всё и имеет решающее значение... Общества всегда таковы, каковы составляющие их личности. Кто молча переносит преступления своей среды, тот участвует в них... Пусть он уйдёт, или противодействует...

— Я именно хочу уйти, но меня не пускают! — шутил Негорский. — Я сомневаюсь, впрочем, чтобы существовал на земле такой уголок, где бы можно было спрятаться от подобной ответственности... Помолчите, кто-то идёт!..

Заскрипели шаги в сенях, и стукнули двери.

— Господа, необыкновенное событие! Только что был у исправника... Сейчас расскажу, но раньше сброшу платье... Я весь в снегу... Тьфу, пропасть!.. Какая пурга!.. — вскричал у порога Самуил.

Товарищи вскочили, окружили его и принялись стаскивать с него обледенелый, набитый снегом тулуп.

— Только-что приехал «от моря» нарочный от тамошнего частного командира. Он привёз донесение местных властей и записочку по-английски... Телеграмма адресована посланнику Соединённых Штатов. Такая ерунда, которой я не в силах разобрать по незнанию некоторых слов и оборотов. Я взял её и несу к Аркановым, чтобы они помогли мне... К вам я завернул по пути... Собирайтесь, пойдём все вместе...

— А донесение?..

— Донесения я не захватил. Командир сообщает, что на лодках приплыло много иностранцев, и по этому поводу порет всякую чушь...

Ссылные оделись поспешно и отправились — кто к Петрову, кто к Воронину, чтобы сообщить им новость и позвать на совещание. Черевина они нашли у Аркановых.

— Где же записка? — спрашивала с любопытством Евгения.

Самуил вынул осторожно записочку из бокового кармана.

— Несомненно, шифр... Какая-то бессмыслица!..

«Дорогой... Джон, когда получишь эту телеграмму, знай... что... предмет... уложенный в чемодан... был принят»... Дальше ещё какое-то слово, — может быть, имя собственное, которого не понять... — читала Арканова.

— Не подлежит сомнению, что это шифр, но что это за люди?.. Нужно прочесть донесение... Может быть, там найдутся какие-нибудь подробности, на основании которых удастся сообразить...

— Боюсь, что исправник не даст донесения. Он очень напуган всем происшедшим и что-то подозревает...

— Тогда объясните ему, что он не получит перевода записки...

Самуил немедленно отправился к исправнику, а другие возбуждённо и сосредоточенно следили за движением рук Аркановой, разыскивавшей слова в словаре.

— А что, если они... явились за нами?!.. — прошептал неожиданно Воронин.

На лицах присутствующих мелькнула лёгкая судорога.

— Нет, это не возможно!

— Почему же? Если-б кто-нибудь из нас вырвался отсюда, разве он не попытался бы освободить остальных? Возможно, что политический беглец из другой местности организовал экспедицию. Такая экспедиция вполне мыслима. По ошибке она попала, в устье Лены... Она направлялась в Джурджуй, но ведь устья обеих рек лежат недалеко... Впрочем, может быть, они собирались увезти ссыльных, живущих в Якутске, и... опоздали!.. Всё возможно...

Вернулся Самуил с бумагой морского командира.

— Исправника с трудом удалось уговорить. Он потребовал честное слово, что бумагу вернём немедленно...

— Слушайте: «В Туматском наслеге у рыбака Трофима Чалкая появились неизвестные люди от моря, на обитом медью, исправном каюке с ветрилами. А что они за люди — не известно. Говорят маяками и крестятся не православным крестным знаменем. Поэтому спрашиваю ваше высокоблагородие, что сделать с ними прикажете, так как они могут оказаться контрабандистами, торгующими крепкими напитками или запрещённым табаком... А так как у них ничего нет, кроме хорошего оружия и весьма оборванного платья, то я не знаю, однако, отдать ли их под стражу или связать, так как людей у меня мало и требуется немедленная высылка в помочь казаков. А муку и рыбу тоже они шибко едят, что принуждён был выдать из магазина, и не знаю, от кого взыскать денежную ответственность, разве придётся удержать эти ружья и каюки, которые, кроме медной обшивки, мало стоят, так как они глубоко-морские, для здешнего плавания непригодные... А приезжие эти тихие суть и очень просили прилагаемую записку выслать по телеграфной проволоке...

Поступлю в точности по приказанию и распоряжению вашего высокоблагородия, чего ожидаю и прошу.

Морской частный командир, вахмистр И. В. Харламов».

— Что-же исправник?

— Колеблется. Он тоже полагает, что это могут быть контрабандисты или кто похуже... А кто похуже — не сказал.

— Во всяком случае, одеть и накормить их он обязан. Телеграмму пусть немедленно пошлёт губернатору. Он должен это сделать: телеграмма адресована посланнику Соединённых Штатов... Ты ему это объясни!

— А лучше всего пусть их всех сюда привезёт, тогда всё узнаем...

— Ну, их приезда, мне кажется, он пуще огня боится.

— Пусть боится, но пусть делает... — заволновались ссыльные. — Скажите ему, что мы усиленно советуем ему перевезти сюда приезжих.

Самуил взял записку с донесением и унёс к исправнику. Ссыльные остались вместе, продолжая советоваться, как поступить, если полиция не пожелает перевезти в Джурджуй таинственных незнакомцев, или решит отправить их в Якутск прямым зимним путём по льду Лены.

VII.

Настал один из самых торжественных дней в джурджуйском часослове — день ангела исправника.

Солнце взошло, прилично дню, весёлое, яркое, и наводнило золотым блеском бледные зимние небосклоны и девственно-белые снега. К подъезду именинника то и дело подлетали щегольские, украшенные бляхами и латунию сани; из них грузно вываливались закутанный в меха фигуры джурджуйцев и торжественно подымалось по усыпанным жёлтым песком ступеням крыльца. Этикет заставлял приезжать на лошадях даже лиц, живущих в нескольких шагах. Пешком являлись исключительно люди более «подлого сословия» — беднота. Те, кто обладал сюртуком и сапогами, входили с парадного хода, одетые в местную обувь и местное платье допускались только на кухню и с заднего крыльца.

«Сюртук и сапоги» были первой мечтой просыпающегося самолюбия джурджуйского обывателя, были первой общественной ступенью, подымавшей его над туземной чернью, не знавшей приличий и обычаев высшего общества. «Сюртук и сапоги» давали право на приглашение к «именинному пирогу», а также на «бал» и другие городские торжества.

Все «дни ангела» в Джурджуе отличались особым, искони установившимся и свято соблюдаемым, порядком торжеств.

Поутру являлись гости с краткими «сердечными» поздравлениями. Их угощали чашкой чая, которую они неторопливо распивали, откусывая маленькие дробинки сахару и разговаривая о погоде, здоровье и проч. Только очень неопытные новички брали что-либо из любезно предлагаемых хозяином сладких печений и пирожного. Великосветские львы и солидные люди не обращали ни малейшего внимания на эти «пустяки», волнуемые в этот миг исключительно нежными чувствами по отношению к виновнику торжества. Особенно остерегались они дотронуться до прелестных пирожков, так как им хорошо было известно по собственному домашнему опыту, что это только изящная именинная декорация, из года в год тщательно сберегаемая в

хозяйственных ящиках и шкафах, и что легкомысленная порча этих семейных древностей навлекала на виновника заслуженный гнев джурджуйских хозяек.

После утреннего «смотрa сердец» наступал краткий перерыв, после которого гости сходились вторично «на пирог». «Пирог» длился обыкновенно до сумерек и незаметно переходил в «бал». Игра в карты была обыкновенно исключена из программы именинных торжеств.

Первым к «пирогy» заявился в гостиной исправника доктор.

— Зашёл по пути из больницы... Думаю: зачем терять дорогое время ради каких-то глупых церемоний? Не правда ли? Вот и зашёл!.. Жена придёт попозже... — объяснял он самоуверенно, приглаживая рукою свои взъерошенные волосы солнечного цвета и вытирая красным платком вечно потное лицо и заплёванную бороду. Измятый сюртук с ленточкой ордена в петлице висел на нём, точно на вешалке. Длинные дугообразные ноги в чёрных брюках ежеминутно разбегались в разные стороны, как бы пытаясь уйти из-под длинных пол верхнего платья. Доктор алчно поглядывал на столик, где под зеркалом между двумя окнами помещалась батарея разноцветных бутылок.

Исправник притворился, что не замечает взглядов гостя.

— Вы хорошо сделали, ваше превосходительство, что пришли раньше других, — мне необходимо было с вами посоветоваться. Я получил известие, что сегодня приезжают американцы. Как вы думаете: не следует ли нам отложить нашу пирушку?

— Что-о-о? — протянул строго доктор, и ноги его вдруг проделали такой замысловатый, кругообразный пируэт, что прохаживавшийся с ним рядом исправник чуть-было о них не споткнулся.

— А интересно, как это ваше превосходительство ухитряетесь ходить с женой под руку?.. — спросил исправник, присматриваясь внимательно к движениям докторских ног.

— Я всегда держусь по-одадь от неё!.. — ответил добродушно доктор. — Но не в том дело, а... что вы сделаете, когда они приедут... Прямо возмутительно, крайне бестактно с их стороны, что они выбрали именно этот день... Как будто нет других трёхсот с чем то дней в году?! Эти американцы просто невоспитанные хамы!.. И всякая демократия такова!.. Я об этом кой-что слышал!.. Ни малейшего понятия о приличии!.. — продолжал возмущаться эскулап.

— Действительно, они явятся не во время, Но что же сделать?! Соображения международной политики требуют, чтобы мы их приняли возможно вежливо... Они — подданные дружественной державы!

— Соображения международной политики! — пробормотал доктор. — Знаете что: выпьем водки! Зачем время терять!? — добавил он оживлённо.

— С удовольствием, милости просим! — ответил сдержанно исправник.

Но так как хозяин не торопился наливать рюмки, то доктор с отчаянной решимостью сам приступил к батарее бутылок и стал дрожащей рукой отыскивать милую сердцу «отечественную».

— Знаете что, ваше высокоблагородье?! — проговорил он повеселевшим голосом, проглотив первую «стопочку».

— Мир дому сему!.. — прогудело неожиданно у порога.

Пьющие повернули головы и радостным возгласом приветствовали отца протоиерея.

— А-а-а!.. Просим, просим!.. В самое время!.. — кричал доктор.

— Здравствуйте, батюшка!.. Пожалуйте!.. — пригласил более спокойно исправник.

Священник не шевелился. Он сознавал, что представляет некоторого рода «картину» в тёмной рамке красных портьер, повешенных над дверьми. Его новая шёлковая ряса, цвета спелой сливы, горела, точно тёмная туча заката; богатые складки её расширились заметно книзу в виде колокола; большая голова священника, с копной седых волос, благочестиво склонялась на грудь; молочная борода веером ниспадала к самому кресту, серебряному на толстой серебряной цепи. Длинные, бледные пальцы батюшки, чуть высунувшись из обширных, обвисших рукавов, играли небрежно крестом и золотой цепочкой часов.

— Э-э! Что вижу?.. Новая ряса!.. Ещё языческая, некрещёная... Когда же всполоснём её? — проговорил значительно исправник.

— Прекрасно, прекрасно!.. — бормотал доктор, кивая головой. Впрочем, он не глядел на попа, всё ещё занятый определением числа бутылок на столике.

— О чём шумели вы, народные витии? — спросил шаловливо батюшка.

— Не выпьете ли, святой отец, по первой, по маленькой!.. — выскочил доктор.

— Не следует отказываться от даров земных; но помаленьку, однако, помаленьку... Что вы так угощаете меня у порога, как мужика?!

— Я — человек простой, искренний и хожу всегда открытыми путями... Искренность, правдивость прежде всего, а всё остальное — пустозвонство, фразеология и трата времени...

— В чём дело? Выпейте сразу по второй и помириться! — советовал им исправник.

Постепенно являлись всё новые и новые гости. Проскользнул вежливо в двери помощник исправника, пришла жена отца Акакия, в зелёном платье, вошли Козловы — он в чёрном сюртуке, она в платье цвета зрелых помидор. Наконец, появилась учительша с сонмом джурджуйской золотой молодёжи: с Денисовым, с каким-то безымённым, но довольно смазливый юношей, а также

с Пантелеймоном Акакичем, сыном батюшки, семинаристом, ещё не окончившим курса, худым и до того белобрысым юношей, что он казался совершенно лишённым волос, бровей и ресниц.

Пользуясь замешательством, вызванным приливом гостей, доктор выпил торопливо свои «две сразу» и мрачно взглянул на отца Акакия, предательски оставившего его одного в эти трудный минуты начала.

— Хитрая лисица!.. — ворчал эскулап, описывая ногами огромные полукруги.

В гостиной сталолюдно и шумно. Костюм учительши, представлявший смелое сочетание всех известных в городе красок и мод, вызвал среди её подруг, усевшихся на диване, шёпот завистливого удивления. Они горячорасцеловались с прибывшей и забросали её градом вопросов.

Мужчины держались поближе к батарее бутылок, ревниво оберегаемой доктором. Они на ухо рассказывали друг другу последние городские новости. Гости всё прибывали. Вошёл «командир» — казачий пятидесятник, придерживая рукой свою «настоящую» офицерскую саблю. Вкатился толстый Варлаам Варлаамович с женой в фиолетовых шелках, проскользнул робко полицейский вольнонаёмный писарь и длинноволосый дьячок, знаменитый своим басом. Дьякон ввёл торжественно под руку свою тощую супругу, прозываемую в городе «Мадам Анго», соперницу и непримиримого врага дебели учительши... Они сейчас же встретились глазами, и мадам Анго мгновенно стала желтее жёлтых лент гарнировки своего жемчужно-серого платья.

Исправник, расхаживая по середине комнаты, приветствовал гостей по мере их появления, некоторых брал под руку и уводил в соседний кабинет, где за темнокрасной портьерой устроена была курильная. Вскоре там очутились почти все мужчины.

— Кого ещё нет? Кого ещё ждём?..

— Кажется, Черевина, — пропищал помощник.

— Этот гордец всегда приходит последним! — буркнул Козлов.

— И докторши нет!.. — вставил значительно Денисов.

— А-а-а?!

Из-за портьеры выглянула вихрастая голова доктора.

— Черевин уже здесь, а жена моя не пьёт!.. — вскричал он весело. — Итак, исправник, начинаем!.. Зачем время золотое даром терять?!

Но хозяин ничуть не торопился; напротив, он принялся чрезвычайно аккуратно стряхивать в пепельницу пепел с своей сигары.

— А не знаете ли вы, ваше превосходительство, что так долго удерживает дома Марию Васильевну? — спросил исправник доктора, сверкнув насмешливо глазами.

— Не...е...ет!.. Почём я знаю?

— Я слышал, что она потеряла ключ от своего комода и теперь позвала Красусского, чтобы он его приделал.

Доктор молчал с вытаращенными глазами; он не понимал, в чём дело, но по лицам присутствующих догадывался, что обязан рассердиться.

— Почему вы все называете меня... превосходительством, когда по чину я только высокоблагородие?.. — спросил он, наконец, краснея.

— Я таким образом выражаю вам пожелание повышения.

Доктор повёл взглядом по окружающим.

— Предрассудки... Не правда ли, Александр Фомич? Пожалуйте сюда, к нам!.. — обратился он крикливо к только что вошедшему Черевину.

Тот продолжал здороваться с восседавшими на диване дамами.

— Коллега... кол-ле-га!.. — взывал жалобно доктор.

— Идёт!.. — воскликнул неожиданно Денисов, посланный исправником проведать, где докторша.

Произошло некоторое замешательство, мужчины вышли из курительной и выстроились в ряд, дамы уставились глазами в двери.

Спустя мгновение, на пороге появилась докторша.

Провожали её, с одной стороны Денисов, с другой — Пантелеймон. Одета она была в чёрное, длинное шёлковое платье с небольшим вырезом на груди. Её стройная талия казалась в этом наряде ещё стройнее, бледное лицо — ещё бледнее, а тёмные брови и глаза ярко оттенялись. Крупные, свежие и алые губы соперничали своим цветом с нитью красивых коралловых бус, охватывавших белую шею. Она шла мелкими шагами, стеснённая в движениях необыкновенной узостью юбки у колен по моде того времени. Грустные глаза с беспокойством остановились на лице мужа, затем мимолётно встретились со взглядом Черевина и обратились к поджидавшим её на диване дамам. Слабый румянец чуть окрасил её матовый, нежные щёки.

Среди мужчин пронёсся одобрительный шёпот, так как докторша считалась женщиной «первый сорт»; дамам более импонировало её «настоящее столичное платье», вывезенное из России всего... несколько лет тому назад.

Исправник с утончённой вежливостью предложил руку красивой гостье и повёл её среди расступившихся зрителей прямо к тёмно-красному дивану. В то же время он подал незаметно знак своей экономке, выглядывавшей из кухонных дверей.

В гостиной принялись разговаривать серьёзно.

— Как ваше здоровье?

— Благодарю... так себе... не особенно...

— А здоровье вашей почтенной супруги?

— Благодарю. Так себе, не особенно...

— А детей?

— Благодарю. Не совсем... Хотя собственно... А как ваше здоровье?.. — платил спрошенный той же монетой.

— Благодарю. Так себе...

Эти вопросы и ответы принадлежали в Джурджуе к обязательными Всякий «благовоспитанный» джурджуец при встрече спрашивал неизбежно соседа о его здоровье, выражал по этому поводу соболезнование или радость, затем спрашивал о здоровье жены, детей и прочих домочадцев собеседника, не пропуская ни одного, называя всех аккуратно по имени и отчеству. Это составляло предмет длинного и оживлённого разговора, который внимательно выслушивали окружающие, пока не приходила их очередь. Ответы зависели всецело от моды, в сущности — от исправника. Если последний отличался здоровьем, обыватели говорили о болезнях пренебрежительно, насмешливо, и обладать «лошадиным здоровьем» считалось признаком хорошего тона. В обратном случае, всякий избирал себе какую-нибудь специальную болезнь, жаловался, похварывал и усердно лечился.

В настоящее время была, например, мода на «утончённость». Когда Черевин рассмеялся на жалобы Варлаама Варлаамовича и сказал ему:

— Что вы, что вы?.. Ведь вы цветёте просто, как роза!..

Купец обиделся не на шутку.

— Видимость бывает обманчива.. Может быть, в России люди не болеют, а здесь у нас... в ледяной земле... другое...

— Вы думаете: если кто толст, так у него уже нет сердца!.. — вставила едко жена Варлаама Варлаамовича.

— Пустые предрассудки!.. — вмешался доктор.

— Много думают о себе эти приезжие!.. — шипел в сторонке Денисов, а помощники поддакивал ему. Поднялся шум, который прекратил только возглас исправника:

— Господа, пожалуйста пить водку!

Мужчины двинулись немедленно к столику с бутылками, а дамам были поданы на подносе рюмки с «наливками».

— Что же вы, господа, так осторожно, точно боитесь?.. Милости просим, не брезгайте!.. — упрашивал хозяин.

— Первая колом!.. — прошептал нежно помощника.

— Вторая соколом!.. — рассмеялся басом отец Акакий.

— А прочие мелкими пташками!.. Итак, прошу вас господа: мелкими пташками!.. — потчевал радушно хозяин.

Искусственно-торжественное настроение, обильно политое «отечественной», быстро таяло.

— Знаете, исправник, я нашёл выход!.. — вскричал с большим оживлением доктор.

— Куда?

— В чём дело?

— Сегодня должны приехать американцы... Я слышал...

— Вот что!..

Стук вилок и ножей, звон стекла, чавкание губ смешивались с перекрёстными вопросами и ответами.

— Какой же выход?

— Пригласить их всех... присоединиться к нам!

— Никогда! Вы не знаете, какие они пьяницы. Каждый из них легко выпивает в пять раз больше, чем самый крепкий из нас! — пугал доктора исправник, сохраняя при этом невозмутимое спокойствие.

— Да-а!.. Разве что так!.. В таком случае... не знаю... — протянул озабоченно доктор.

— Вдобавок, они схизматики, отделившие церковь от государства!.. — добавил отец Акакий.

— И практикуют вольные обычаи!..

— Как так вольные обычаи?

— А так: они совсем не веруют в Бога!

— И как только они осмелились причалить к нашим берегам?

— Власти им нипочём. Главу государства избирают каждые четыре года, а когда избранный не понравится, то его по шее и берут другого... — рассказывал учитель командиру, который предусмотрительно затыкал себе уши, чтобы не слушать запрещённых вещей.

— А где же они... венчаются? — спросила бойко учительша.

— Зачем венчаться? Там все равные и свободные... Там знаете... разлюли-малина! — воскликнул оживлённо Денисов.

— А дети? — спросила попадья.

— У них есть такие дома, где всех ребят сначала вносят в списки, а затем воспитывают, Как называются такие дома, Пантелеймон?

Пантелеймон, который шёл всюду по следам Денисова, точно его тень, и подражал ему во всём, внезапно смутился, так как в эту самую минуту самостоятельно запустил жадные глаза за глубокий вырез лифа учительши.

— Государство... действительно... от-де-ле-но от церкви, — пробормотал он, смущаясь ещё сильнее под укоризненным взглядом друга.

— Господи, Боже!.. Но, таким образом, никто ничего не знает, и это ведёт, по всей вероятности, к ужасным последствиям... Братья, не зная, влюбляются в сестёр, отцы в дочерей!.. Всё всем доступно!.. Несчастливая страна!.. Все любят без разбора!.. Господи, Господи!.. — сокрушалась «мадам Анго».

Менее почётные гости вели, между тем, какие-то переговоры с экономкой в коридорчике, и вскоре там зазвучало давно ожидаемое пение.

В день ангела святого
Начальника дорогого...
Слава!.. Слава!.. Слава!..
Сла-ава!

Одновременно двери из кухни открылись настежь, и два казака внесли на большущем подносе огромный пирог.

Слава!.. Слава!.. Слава!..
Нашему
Возлюбленному...

Песня гремела всё сильнее, потрясая струи седого дыма, обильно нахлынувшего в гостиную из раскрытой курильной.

Лучи заходящего солнца пробились сквозь толстую льдину, прикрывавшую «для тепла» снаружи окно гостиной, и, разбившись в красивую радугу, озарили поставленный посередине стола пирог. Гости с тарелками и вилками в руках приближались к нему торжественно

Ели жадно, но пили того жаднее.

Шум всё увеличивался. Гости уже помимо хозяина сами измышляли всевозможные тосты, подзадоривали друг друга, чокались, кричали и пили. «Отечественная» лилась уже не только в горла и желудки, но на пол, на землю, на платья и стулья...

Вдруг громче звона рюмок, говора и смеха лихо вспыхнула знакомая песенка:

Эй, там вдоль речки,
Эй, там вдоль Казанки,
Сизый се-ле-зень плы-вет.
Ой, лю-ли-ля!.. Ой, лю-ли-ля!
Сизый се-ле-зень плы-вет!..

Присутствующие подхватили хором припев.

Черевин воспользовался общим увлечением и приблизился к докторше.

— Что это вы такая грустная? — спросил он её, понижая голос.

— Не знаю. Чем веселее кругом, тем мне всегда грустнее. И даже не могу сказать почему, так как общество люблю я.. и одеться тоже люблю. Когда оденусь, мне кажется, что как- будто возвращается тень лучших дней, возвращается то, чего уже никогда не будет!..

— Я вас понимаю. В сущности, вы такая же ссыльная.. добровольная ссыльная...

Докторша вздохнула.

Твои кудри, кудри золотые
Буду чесать-заплетать!.. —

тонким фальцетом выводил запевала:

Ой лю-ли-ля!.. Ой лю ли-ля!

Буду чесать-заплетать!..

подхватывал хор.

— Мы, действительно, принуждены были на выезд сюда. Муж мой совсем лишился практики и потерял всякую надежду получить место в России в земстве или где-либо... — рассказывала докторша.

Помешал им разговаривать Денисов, который, в сопровождении неизменного Пантелеймона, пробирався к ним сквозь толпу. Оба были пьяны и блестящими глазами посматривали на пирующих женщин. Те тоже находились в прекрасном настроении, и последнее всё улучшалось, по мере того, как пустели бутылки сладких наливок.

— Я тебя познакомлю... С какой хочешь? Я всех знаю... Какую выберешь, к той и облегчу дорогу... Всё я готов для друга!.. — кричал Денисов. Пантелеймон делал неопределённые жесты рукою, которые можно было толковать весьма широко. Дамы, видимо, испугались этого чересчур откровенного поклонения. Дьяконица пискнула и закрыла глаза платком, жена Варлаама Варлаамовича приподнялась, попадья побледнела не на шутку. Одна учительша смело глядела в глаза опасности. Но «враг» в этот раз не заметил её, увлечённый докторшей.

— Тюрнюр, говорю тебе, пур-ла-бом-буш!.. Только жаль, что не для нас!.. Другие там уже затесались!.. Подождём деликатно своей очереди!.. Ладно... того... того... гос-по-дин Че-ре-вин!..

Черевин, который вначале намеревался пропустить вызов мимо ушей, позванный по фамилии, обернулся к скандалисту и взял его за руку.

— Пойдём, пойдём, Иван Никитич!.. Исправник зовёт вас!.. Вы не слышите?!

— Что такое... исправник?! Разве я не равный и не свободный... К чорту... государство!

Исправник, который уже заметил происшествие и само лично приближался к ним, услышал конец воззвания и кивнул казакам. Денисов, после маленького замешательства, был силой оторван от плачущего Пантелеймона и уведён в коридор.

Выпьем мы за того, кто теперь в кандалах,

Кто свободы лишён, кто теперь в рудниках!.. —

пел во всё горло, возбуждённый происшествием, учитель.

— Вот они, результаты дружбы с врагами престола и отечества! — возмущался Козлов.

Помощник исправника мечтательно покачивал головою, в такт песне.

Вдруг ужасный крик всех всполошил:

— Кол-ле-га, спас-сай-те!.. Погги-бба-ю!

Докторша и Черевин, узнав голос, вскочили со своих мест. Посередине гостиной стоял доктор, широко расставив ноги и отчаянно размахивая руками.

Он, видимо, тщетно пытался двинуться с места. Рядом стоял отец Акакий и благоговейно лил ему на голову водку:

— Крещу тебя... Во имя Отца и Сына и Святого Духа!.. Аминь.

— Что такое?.. Отец Акакий!.. Батюшка! Оставьте его!.. Он крещёный!.. Уходите, доктор!

— Не... мог-гу!.. Всё кругом вращается... Куда направлюсь?!

Наконец, удалось отнять стакан у отца протоиерея. Все окружили обиженного доктора, выражая ему своё сочувствие, как вдруг новый крик, на этот раз у дверей, привёл собравшихся в новое смятение.

— Американец!.. Я — свободный американец!.. Расступитесь, я иду!..

Все изумлённо оглянулись; в то же время женщины, со смехом, закрывая глаза, бежали толпой из гостиной. В дверях стоял Денисов... в костюме ещё не изгнанного из рая Адама...

Несколько часов спустя приехал действительный американец, офицер судна, потерпевшего крушение в Ледовитом океане.

Пришлось разбудить исправника, только что уснувшего после «бала». Исправник послал за Самуилом, а сам приказал облить себе голову холодной водой, оделся и вышел в гостиную, ещё полную отвратительного запаха недавней попойки.

Иностранец сидел в креслах около стола и чёрным, блестящим глазом всматривался неопределённо вдаль. Другой его глаз был повязан чёрной шёлковой лентой. Исправник, по его движениям, по манере, с какой он поднялся ему навстречу и поздоровался с ним, сейчас же почувствовал, что имеет дело с человеком из высшего общества, окончательно отрезвел и стал предупредительно вежлив.

Между тем, в кухне относительно приезжего были другого мнения.

— Представьте себе, Матрёна Алексеевна, он съел все мои сдобные булочки!..
— жаловалась экономка исправника соседке.

— Все?

— Ну да! Все, сколько подала к чаю... Эти американцы не только Бога и царя не знают, но и бесстыжие они совсем!..

VIII.

Одноглазый офицер был первой ласточкой уцелевшего от крушения экипажа в его обратном путешествии. Он промчался, по мнению медлительных туземцев, с быстротою молнии. В сущности, он просидел в Джурджуе два дня, так как раньше нельзя было ни подвост собрать, ни приготовить и уложить припасов, необходимых для путешествия в «губернию». Джурджуйцы, убедившись, что американец не ходит на четвереньках и не кусается, рады

были бы задержать его некоторое время, так как даже «заморский схизматик» в однообразии их жизни был явлением желательным и высоко интересным.

Но иностранец торопился.

— Глаз!.. — отвечал он вежливо на все приглашения пожить и отдохнуть: — Глаз!..

Самуил, который служил ему в сношениях с властями за переводчика, сильно подозревал, что для офицера в данном случае важнее был не столько глаз, сколько телеграф, что он стремился возможно скорее дать знать на родину «о тех, что живы, и о тех, что погибли». Понятно, что он посильно помогал иностранцу выбраться поскорее из Джурджуя.

Товарищи поручили ему выспросить у моряка тысячу подробностей, даже настаивали, чтобы он привёл к ним путешественника, но Самуил отвечал им только таинственным:

— Глаз!

— Да оставь! Что нам его глаз!.. — ответил с раздражением Негорский. — Не заставляем же мы его глядеть в телескоп... Нам нужны кой-какие указания...

— Приедут скоро остальные. Подождите!.. — уговаривал Самуил.

— Да тут двух мнений и быть не может!.. — вставил решительно Арканов. — Увидите, что нас арестуют за одни разговоры. Разве мы знаем, что это за офицер. Возьмёт и расскажет всё исправнику!..

— Поговорить о различных вещах не значит ещё рассказать всё... — защищался Негорский.

Впрочем, и он признал, что лучше подождать.

Воспользовался проездом офицера только Мусья. Он продал ему папиросницу из мамонтовой кости собственного изделия. На крышке папиросницы с одной стороны красовалась надпись выпуклыми резными буквами: «Память Джурджуя год 18...», а с другой — находилось изображение косматого существа, похожего на медведя, с кандалами на руках и ногах и надписью кругом: «Просим Тебя, Господи, выведи нас из плена египетского.»

Чрезвычайно обрадованный удачной сделкой, Мусья побежал к товарищам похвастать ею. Как всегда, он не сразу сказал им, в чём дело, но ходил некоторое время с таинственным и самодовольным видом.

Конечно, его приёмы сразу были замечены.

— Кого это вы, Мусья, надули?..

— Папиросницу... купил... Американец!.. — отрезал кратко Мусья.

— Шутки!.. У него, правда, один только глаз, но и одним глазом нельзя не оценить по достоинству такого шедевра!

— А может быть, он принял папиросницу за мыло?.. — вставил Гликсберг.

— Этого не может случиться!.. Никак не может случиться!.. — возмутился Мусья. — Там потому был сделан с одной половины надпись «Память Джурджуя», а с другой был вырезан ссыльный..

— Надписей американец не понял, а твой ссыльный, Мусья, к счастью, совершенно похож был на медведя фабричной марки «Пульс и сыновья»! Американец, наверно, папиросницу принял за мыло.. Хорошо ты его поддел!..

— Вот и ложный ваш идей, потому что он заплатил мне много дороже. Посмотрите!.. — воскликнул торжествующе Мусья и бросил на стол золотую десяти-долларовую монету. Ссыльные столпились у стола и осматривали деньги, смущённые и рассерженные.

— Десять долларов — это почти двадцать рублей! Сознайся, Мусья, не говорил ли ты ему, что нуждаешься?

— Нет. Я только сказал, что я политический ссыльный, лишённый родины, и он сам мне дал..

Товарищи взглянули друг на друга и невольно все покраснели. Больше других смущён был Самуил.

— Это плата за мои услуги! — прошептал он с неудовольствием.

— Мы убедительно просим вас, Мусья, не эксплуатировать проезжих в качестве политического ссыльного!.. — проговорил мрачно Петров.

— Опять что же я сделал? Мне ничего, вижу, нельзя! В кухне сидеть нельзя, разговаривать с людьми нельзя, присягать нельзя.. продавать нельзя.. денег брать взаймы тоже нельзя!.. Что же будет лзья?! Это не есть такая свобода, это хуже тирании, чем русское правительство!.. — кричал рассерженный Мусья.

Он нахлобучил шапку на уши, схватил деньги и выскочил за двери. Американские доллары уже не радовали его в такой степени, как раньше, тем более, что никто не хотел разменять их. Все, к кому он обращался, начиная с Варлаама Варлаамовича, кончая Тазом и богатым казаком Якушкиным, с некоторым испугом осматривали блестящий, металлический кружок незнакомой чеканки.

— Знаешь что, Мусья, ты его брось, ты брось его в воду, потому что... это по видимости только деньги, а в сущности это совсем не то,.. или того хуже.. какое-нибудь... запрещённое золото!

Вечером исправник позвал к себе Мусью.

— Покажите, что это у вас... Говорят, какие-то фальшивые деньги?!

Мусья показал ему монету, в ценности которой сам уже усомнился. Исправник осмотрел червонец, рассмеялся и спросил француза, как он его раздобыл. В конце концов, он не только разменял золото на русские деньги, но и (о, торжество!) заказал Мусье папиросницу с надписью: «Память окружного города Джурджуя», а барельеф на другой стороне должен был изображать дом полицейского управления с летающим над ним орлом..

— Только какой должен быть орёл? — спросил Мусья, вернувшись из сеней.
— Потому что одноголовый орёл это польское государство... Ещё подумают, что я подговариваю вас к восстанию... А опять двуглавые орлы... не летают!

— Ничего! Вы сделайте двуглавого...

— Когда они не летают!..

— Не важно... Делают ведь в поэзии химер, гидр, двухголовых собак, полу-женщин, полу-коз... И выходит хорошо!..

Известие, что исправник признал американское золото за настоящее и к тому же заказал Мусье папиросницу, молнией облетело местечко, и француз был завален заказами. Даже отец Акакий пожелал приобрести такую «штуку» с более или менее благочестивой надписью. Он только колебался в выборе афоризма между Старым и Новым Заветом.

Денисов требовал, чтобы «барельеф» изображал богиню любви, а под надписью «Джурджуй» чтобы было помещено простреленное сердце.

Даже помощник заказал себе коробочку, сверху которой потребовал изображения двух рук, соединённых крепким пожатием и окружённых надписью: «Верный в дружбе и почтительный к властям по гроб жизни»!

Дела Мусьи быстро пошли в гору. Он теперь больше сидел дома и, насвистывая, обделывал мамонтовую кость. При встречах с товарищами он держал себя всё более и более таинственно. Ссылные были чрезвычайно довольны этой его переменой, так как он меньше надоедал им и меньше распространял сплетен по городу.

Американская золотая монета, одобренная властями, чрезвычайно повлияла на мнение джурджуйцев и о самих американцах. Они стали выражаться о них политичнее и одобрительнее.

— Богатеи!.. Другого металла не знают, — одно золото! У них доллар всё равно, что у нас копейка!.. Сам начальник меняет их деньги. Такой народ, что одни господа...

Теперь уже обыватели с нетерпением ожидали обещанного приезда американских матросов, а когда к тому же пришло из «губернии» распоряжение оказать им «возможно радушный приём и помощь, подобающие подданным дружественной державы», восхищение, любопытство и разнообразные мечтания джурджуйцев достигли апогея. Каждый рассчитывал занять денег у американцев, чтобы открыть лавку или, по крайней мере, купить товаров и свезти их к тунгусам.

Нашлись, однако, и скептики:

— Богатеи-то, богатеи!.. Но какая причина их появления? — спрашивал значительно Козлов у помощника. Они опять стали сходиться по вечерам на дружеские совещания.

— Образованные!.. А я думаю, что это... кой-что... от врагов престола и отечества! Чует сердце моё, что грядёт что-нибудь недоброе!.. Может быть, они желают... Что, впрочем, мы знаем и что знать можем о таких хитроумных людях, которые говорят только по своему и обо всём заблаговременно расспрашивают этого пронырливого жида Самуила!? Известно, что евреи Христа продали! А опять этот Черевин... Хотя он и православный, но совершенно оживился... Представьте себе, опять мясо мне забраковал! Я должен стыдиться иностранцев, они могут меня в газетах пропечатать!.. Так точно... Я вам, как второму лицу в округе, советовал бы некоторую с приезжими осторожность!..

— О, осторожность никогда не повредит... Уж я сам об этом подумывал... Но могу ли я рассчитывать на вас, на помощь, в случае чего? — шепнул помощник.

— Что могу я, червяк ничтожный, человек малообразованный?! — уклонялся Козлов.

Тем не менее, в конце концов они пришли к кой-какому соглашению.

— Ну, ладно!.. Это можно!.. Мясо мы продадим американцам. Их вскоре явится тьма-тьмущая... Сожрут, особенно если перемешать с хорошим сортом... Только, в случае чего, смотрите, не отказывайтесь, я на вас рассчитываю...

— Уж вы не беспокойтесь! И я тоже не желаю один остаться!.. Рука руку моет!.. А вы помните, что за подходящие деньги я всё могу поставить: и рыбу, и масло, и ягоды, и дрова — всё... Словом, по желанию...

Помощник уже надел шубу, шапку и брался за ручку дверей, на всё соглашаясь и кивая головой.

— Это можно!.. Командир тоже хлопчет, чтобы и у него поместить их, но я хорошо помню, как он меня устроил в прошлом году, с этим ложным побегом политических!.. Нет, вторично он меня не надует... И ничего не получит, как Бог свят!.. Уж я об этом позабочусь!

— Зачем он тогда обманул меня? — рассуждал с горечью помощник, возвращаясь всё к тому же вечно мучительному для него вопросу.

— Они совсем не бежали, а просто воровали коров за рекой, — сказал убеждённо Козлов, — Галка свидетель! Это мошенники, притворяющиеся святошами. И Черевин не за что другое хочет меня съесть и прогнать из больницы, как ради будущей своей пользы, чтобы мог наживаться без помехи... Таковы все люди!.. Значит, американцы, ваше благородие, у меня останутся?!

— У вас, у вас!

И заговорщики, пожав друг другу руки, расстались, очень довольные собою.

IX.

Приехали, наконец, американцы, люди на подбор крупные, костистые и мускулистые — прямо богатыри.

Мелкорослые джурджуйские обыватели глядели на них с изумлением и робким почтением.

— Богатыри! — сообщали они друг другу, покачивая головами. — Едят столько, что даже самый большой едок в Джурджуе Чоен не сравняется с ними... А соглашаются есть только отборное мясо и лучший хлеб. Козлов и командир слезами плачут на их жадность и требовательность...

Исправник, который соперничество Козлова с командиром помирил таким образом, что часть приезжих принёс в жертву одному, а часть другому, теперь вместо одной заботы приобрёл две, так как оба соперника ежедневно являлись к нему и, схватившись за головы, жалобно проклинали день своего рождения, утверждая, что теряют на американцах громадные деньги, и что скоро пойдут по миру...

— Да ведь вы сами назначали цены?.. Ведь вы назначили за всё тройные цены! Теперь что же я могу сделать?!. Договор заключён! Не лгите: вы не теряете! Не морочьте мне головы и убирайтесь!.. — гнал их рассерженный начальник.

— Ах, ваше высокоблагородие, что значат тройные цены для таких людей?! Когда их двое войдёт, в комнате становится тесно... Это особые люди!.. И вдобавок, что им ни скажешь, на все говорят ладно — платят! Куда денутся!.. Что потребуем, то и дадут, ещё с благодарностью... Ведь без языка! Только вы разрешите нам...

Исправник долго не соглашался.

— Губернатор приказал заботиться о них. Вы волки ненасытные! Впрочем, так и быть: прикажу вам выдать из казённых магазинов добавочный паёк муки на каждого гостя! Только смотрите, чтобы не было жалоб! — добавил он грозно.

Джурджуйцы сразу почувствовали, что «их» взяла, и цены в городе поднялись на всё вчетверо. В лавках образовалась двойная оценка: для местных жителей немного выше прежней, для американцев же прямо баснословная... За малейшую вещицу, за мельчайшую услугу требовали с них сумасшедшее вознаграждение.

— Богатые, да дураки! Совсем не смыслят в деньгах, совсем не знают товару!.. — говорили горожане.

Всякий что-либо приносил им, предлагал, уговаривал их взять и обижался, если они не брали.

— Что же это такое? От Сидора вы взяли, а от меня не желаете?! Почему же?.. Это не порядок...

Матросы, правда, не понимали ни по-русски, ни по-якутски и ответить не могли, но по тону без труда догадывались, когда гостя следует выбросить за двери, и немедленно это делали. Таким образом, они спровадили нескольких казаков, нескольких мещан; наконец, выбросили Денисова и Пантелеймона, когда те пришли заступиться за одного из этих якобы обиженных сограждан.

— Мы ничего, мы вошли вежливо, а они сейчас же нас в шею! Мы требуем правосудия!.. — жаловались исправнику молодые чиновники.

— А вы, дураки, зачем туда лезли? — гневно спросил он.

— Мы — ничего!.. Мы вежливо, это они всех бьют... Побили Бобра, побили Голиафа, побили Бучука... Теперь принимаются за почётных...

— Убирайтесь вы, почётные... Убирайтесь!.. — прогнал их, ухмыляясь, начальник.

Но жалобы учащались, увеличивались изо-дня в день.

Исправник позвал на совет Самуила.

— Когда, наконец, приедет этот их... министр?..

— Мистер... мистер Морлей... — поправил Самуил.

— Так когда же он приедет? Что говорят его подчинённые?.. Почему он выслал их одних вперёд? Я с ними справиться не могу!

— Когда он приедет, они не знают. Они твердят одно: на пути в Джурджуй они повстречались с товарищами-матросами из другого отряда... Последние находились в очень жалком положении, их везли в город тунгусы, отыскавшие их случайно в зимовке, полузамёрзшими и умирающими от голода. Мистер Морлей вернулся назад вместе с шкипером и одним здоровым матросом отыскивать затерявшийся отряд...

— Гм! Ничего из этого не выйдет. Один... два... больше двух месяцев прошло... Там теперь такие свирепствуют пурги, что напасть на какой-либо след немислимо... Они погибли... Мистер Морлей проищет их, Бог знает сколько времени, а между тем — его экипаж съест в Джурджуе все зимние припасы жителей... К тому же они начинают драться с местным населением... Вы посоветуйте мне, что делать.

Он рассказал Самуилу несколько случаев самосуда матросов.

— Прежде всего, не обращайтесь внимания на жалобы... Всё, что вам рассказывают, — или выдумка, или происходило совершенно иначе. Насколько я знаю, это им, американцам, не дают джурджуйцы покоя, оскорбляют и нагло обманывают их...

В свою очередь, Самуил рассказал исправнику несколько примеров неслыханного надувательства и бесцеремонности горожан.

— При чём же тут я?.. Что я могу поделаться?.. Я не в праве запретить им оценивать свою собственность, как им вздумается!.. — ответил исправник, царапая в смущении ногтем свой щетинистый, давно небритый подбородок. — Между тем, эти мерзавцы способны поколоть ножами приезжих, если я в это дело не вмешаюсь. Вы не знаете местных дикарей. Робки они и покорны до тех пор, пока чувствуют власть над собой, а разыграются — прямо ужасны.. Удержу нет!

— Пусть чувствуют над собой власть! — чуть было не сказал Самуил, но постыдился,

— И так, что же посоветует мне защитник народа?

— Слишком много чести! Джурджуйские мещане считают себя за благородных. Спросите их, как они отзываются об якутах?! — защищался Самуил.

— Разве так сделаем, — предложил после некоторого колебания исправник: — пусть американцы за купленные ими вещи сами не платят, а дают квитанции на получку денег в полиции.. Мы будем посредниками в расплате!..

Мера была немного неуклюжа, но другой нельзя было в данный момент придумать.

Последствием этого было, что приезда мистера Морлея стали нетерпеливо дожидаться все, начиная с политических ссыльных и кончая исправником и простыми обывателями Джурджуя.

Между тем, мистер Морлей что-то мешкал.

Политические узнали от Самуила подробности трагического крушения. Экипаж покинул раздавленное льдами судно на трёх шлюпках. С неслыханными, нечеловеческими усилиями им удалось перебраться через поля подвижных льдов, прыгая со льдины на льдину, перетаскивая за собой волоком лодки, багаж, инструменты, корабельные книги... Когда они выбрались на чистые воды, и до суши осталось всего 200 морских миль, они вздохнули: им казалось, что они спасены. Но уже в виду берегов непогода раскидала их маленькую флотилию. Самую меньшую из шлюпок, после короткой отчаянной борьбы, опрокинули и захлестнули волны; две другие уцелели и долго, среди туманов и волнения, не теряя друг друга из глаз, плыли успешно на юг. Разъединила их у самой земли новая буря. Одна часть экипажа, под руководством мистера Морлея, выбралась на полуостров, где нашла рыбаков-туземцев, запоздавших случайно на несколько дней с кочеванием на зимние квартиры внутрь материка. Это спасло американцев. Другой отряд уклонился, по-видимому, к востоку, и мистер Морлей тщетно и долго разыскивал малейшие их следы, пытаясь узнать что-нибудь об их судьбе у прибрежных рыбаков, в селениях близ устьев рек, наконец — у морского «частного» командира Харламова. Не было нигде ни слуху, ни духу! Только на

пути в Джурджуй мистер Морлей повстречался с двумя матросами из затерявшегося отряда; больных телом и душою, их везли «на нартах» нашедшие их в зимовье тунгусы. Из неясных горячечных ответов матросов мистер Морлей заключил, что они были посланы вперёд для розыска жителей умирающими с голода и холода товарищами. Взяв с собой шкипера с двумя самыми сильными и расторопными матросами, он немедленно отправился отыскивать погибающих.

Драматизм положения усиливал напряжённость ожидания и среди политических ссыльных, и среди обывателей.

Наконец, однажды вечером явился к Александрову бледный, изменившийся в лице Самуил и сказал громко:

— Приехал!

— Ну и что же?.. Отыскал?..

— Нет. Я и не спрашивал его, так как малейший намёк на это страшно его волнует. Но дело ясно — он вернулся один. Матросы и туземцы согласно показывают, что пурги и снега всё засыпали, всё занесли... Нет надежды разыскать даже след погибших раньше весны... Разве что совершится чудо!.. Никаких нигде указаний, ни малейших намёков!.. В Джурджуе мистер Морлей проведёт всего несколько дней. Затем он повезёт свой экипаж в губернский город и только оттуда вернётся, вероятно, назад на поиски. Он предполагает, что в губернии уже ждут его деньги и ответ его правительства на первую посланную им телеграмму. Завтра он весь день занят приготовлениями к путешествию. К нам обещал придти только послезавтра вечером.

Х.

Мистер Морлей не был сентиментален. Свои чувства он затаил в глубине души и, совершенно по виду спокойный, энергично принялся за устройство вверенного ему экипажа.

— Совсем колода, дерево! — жаловался Козлов. — Одиннадцать товарищей у него погибло, а он спорит из-за лишней копейки!

Мистер Морлей проверил жалобы матросов, справился о местных ценах, расспросил кой-о чём и кой-о ком у Самуила и, по совету последнего, обратился к исправнику с решительным требованием прекращения неслыханных злоупотреблений джурджуйских поставщиков и купцов.

— Вы скажите мистеру начальнику, — просил американец Самуила, — вы скажите ему, что я не могу, что я не в состоянии платить столько. Соединённые Штаты, правда, богаты, но я... не вижу предела повышению цен. Я готов платить немного дороже местных жителей, я понимаю, что наш приезд естественно поднял спрос на товары и повлиял на их вздорожание, но если так

дальше пойдёт, то невозможны станут ни наше пребывание здесь, ни предполагаемые поиски,.. А ведь я обязательно буду искать моих товарищей.. пока их не найду!

Исправник казался очень смущённым.

— Не поверите, господа, до какой степени тяжело моё положение! — оправдывался он. — Что я могу предпринять? Я могу приказать, но сомнительно, чтобы это подействовало!

— Попробуйте приказать!.. — ободрял его Самуил. — Во всяком случае, вы пользуетесь большой властью!

Чиновник улыбнулся.

— Моя власть постольку всесильна, поскольку она, согласна с выгодами окружающих меня.. Якутам я всё могу приказать и всё с ними могу сделать, но джурджуйские жители.. другое! Они по наружности покорны и послушны, но.. Впрочем, скажите мистеру, что я сделаю всё, что только смогу.. Лучше всё-таки, чтобы он возможно скорее уехал отсюда и людей своих увёз, а в будущем нужные ему припасы и предметы привёз из губернии..

Уже через день мистер Морлей убедился, что совет исправника правилен: мелкие подрядчики и поставщики, надоедавшие раньше своими предложениями, не явились больше к американцам, узнав, что на всё установлены полицией определённые цены; в лавках вдруг не стало требуемых товаров; продовольствие у командира и Козлова сильно ухудшилось, а прислуга перестала даже подметать полы в квартирах американцев.

Последним, видимо, грозил общий бойкот.

Опять пришлось искать защиты у исправника.

— Вот видите, я говорил вам!.. — ответил тот.

— Я вижу один исход: составьте список нужных вам предметов, я позову купцов, и вы условитесь с ними в моём присутствии!

Мистер Морлей согласился. На следующий день по утру состоялось у исправника совещание, на которое явились не только приглашённые властями купцы и подрядчики, — Варлаам Варлаамович, Таз, Козлов, командир, — но пришли и отец Акакий, помощник исправника, дьякон, учитель, наконец.. Денисов и Пантелеймон. Под конец ворвался запыхавшийся доктор, задетый и испуганный тем, что пьют без него:

— Что это вы, ваше высокоблагородие, не позвали меня?!

— Я не знал, что ваше превосходительство тоже торгуете с американцами. Американцы не спрашивали ни тифа, ни оспы, ни скарлатины.. даже дифтерита они не желают..

Доктор смеялся, очень довольный шуткой исправника, но того больше обрадованный видом «отечественной», в сопровождении дюжины блестящих рюмок.

Совещание прошло очень солидно и дало прекрасные результаты: купцы на всё назначили двойные против обыкновенных цены и, уходя, притворялись ограбленными. За то мелкие перекупщики и торговцы, не допущенные к торговле, громко ворчали:

— Власти продали нас иностранцам!

Переговоры эти потребовали столько времени и так измучили мистера Морлея, что к политическим ссыльным он собрался не на третий, а лишь на четвёртый день.

Все ссыльные, кроме Мусьи и жившего за городом Яна, собрались в назначенное время в юрте Александрова. Все видимо были возбуждены, все ожидали чего-то особенного, важного... То и дело кто-нибудь из ссыльных выходил на двор, вслушивался в городские голоса и стуки, всматривался в огни, горевшие в окнах, и густо сверкавшее красное пламя низких труб. Другие пробовали чем-нибудь заполнить время, читали, играли в шахматы, но все неизменно поднимали головы, как только входил кто-нибудь снаружи.

Идут!.. Я узнаю голос Самуила!.. — заявил, наконец, Красусский, поправляя огонь в камине.

Охваченные странным волнением, политические все вдруг повернулись к дверям. Высокий мужчина, в тюленьей шапке и потёртом тюленьем же кафтане, показался, сгибаясь в дверях. Тёмная, красивая борода окружала его лицо, за то череп был столь же великолепно лыс, как и череп Яна. Широкий лоб сливался непосредственно с обширной плешью. Иностранец медленно раздевался, осматривая исподлобья бородатые лица ссыльных, привставших для встречи его. Густые тени ложились внутри юрты, освещённой неровным вспыхивающим светом горевшего в камине огня. Тем не менее, иностранец без труда заметил нищенство обстановки, недостаточность одежды, худые, измождённые лица, похожие на лица старинных пустынников и аскетов. В синих печальных глазах мистера Морлея зажглось чувство интереса и сострадания, мужественные, немного суровые черты его лица смягчились и прояснились. Он почтительно поклонился Аркановой, а с остальными ссыльными здоровался просто и дружески, как со старыми знакомыми. С Черевиным он уже познакомился раньше у исправника.

Все уселись кругом стола, и появился обязательный чай. Американец расспрашивал ссыльных о подробностях их ссылки, о тюрьмах, о судах, о политических делах в России и не скрывал своего удивления по поводу полученных сведений.

— А ведь вы здесь пользуетесь... некоторым влиянием!.. заметил он с оттенком лёгкого недоверия.

Только потому, что здесь нам нечего терять, а также потому, что держимся дружно! — ответил Негорский.

И потому ещё, что исправник относительно порядочный человек, — добавил Черевин.

Что сказал этот господин? — спросил американец, взглядом указывая Самуилу на Негорского. Пламенные глаза и вдохновенное лицо ссыльного, очевидно, поразили моряка.

Самуил, который как раз принялся за чай и закуску, попросил Евгению заменить его в роли переводчика. Мистер Морлей немедленно повернулся к Аркановой и уже не спускал с неё глаз.

У этого янки глаза точно бурава! — заметила последняя с некоторой досадой, слегка краснея под испытующим взглядом офицера.

— Пусть лучше он скажет нам, как по его мнению... — заговорил быстро Негорский,

— Тише, тише!.. Не так вдруг, наскоком!.. — удерживал его Самуил, допивая свой чай.

— Это верно! — заметил Александров. — Не следует сразу и опрометчиво всего раскрывать... Разве мы знаем, что он за человек?

— Правильно. Если это человек умный и дельный, наша неосторожность оттолкнёт его!.. — добавил Арканов.

Мистер Морлей глядел на говоривших и, казалось, угадывал по их лицам о содержании их речей. Когда Самуил осторожно стал исподволь переводить разговор на условия путешествия морем вдоль берегов Ледовитого океана, слабая улыбка скользнула по губам иностранца.

— Путешествие вдоль северных берегов Сибири затруднено в первой половине лета тем обстоятельством, что ветра в это время года дуют преимущественно с моря и прижимают льды к берегам. Остаётся лишь узенький канал чистой от них воды, которым могут пройти лишь небольшие мелкосидящие лодки. Судно не должно быть тяжело, чтобы, в случае необходимости, его нетрудно было вытащить на берег или лёд и волочить по сухому... — спокойно и деловито рассказывал американец.

Ссылыные впились глазами в рассказчика, который сообщал им всё нужное и неслыханно для них важное, без запинки, точно рассказывал сказку. Он перечислял предметы и запасы, необходимые для такой экскурсии, определял приблизительную её продолжительность, описывал род и количество нужных консервов, говорил о платье, о постелях, инструментах, картах, неизбежных для путешествия, упоминал о предполагаемых опасностях и случайностях, о

способах избежания их и преодоления; наконец, указал на слабое морское течение, стремящееся вдоль берегов Сибири с запада на восток.

— Значит, вы предполагаете, что мы должны отправиться в Америку? — спросил порывисто Негорский.

— Я ничего не говорю, и я ничего не знаю... Как старый путешественник, я сообщаю вам только условия, в которых находилась бы подобная экспедиция... — ответил сдержанно американец.

Ссылные, конечно, поняли его и расспрашивали дальше о подробностях, как об интересных мелочах совершенно чуждого им предприятия.

Поздно ночью ушёл от них благородный иностранец в сопровождении Самуила. Он устал и казался расстроенным той нервной лихорадкой, которая обуревала ссылных и сообщилась ему. Перед самым уходом он выдержал жаркий спор с ссылными из-за социализма и капитализма. Уже на пороге он мимоходом сказал, что лоцман Бартельс занимался обыкновенно на пароходе черчением, и что он, по всей вероятности, имеет чертежи лодок и инструментов, необходимых для морского плавания, и что, несомненно, он их охотно покажет всем интересующимся этим делом.

Он уже ушёл, а они всё ещё безмолвно стояли, прислушиваясь к собственным мечтам.

— Эх, счастливы вы, верующие в успех! Завидую вам!.. — воскликнул, наконец, Черевин.

— Как это... верить?! Тут не во что не верить!.. — вспыхнул Негорский.

— Вы не узнали от него одного обстоятельства: сколько подобных экспедиций погибло у тех же сибирских берегов: адмирал Прончищев, Лаптев, Ляхов... И это только крупные мореходные предприятия, а сколько погибло казацких лодок — этого не перечесть!.. У вас к тому же позади будет погоня... И нет среди вас ни одного матроса, ни одного, кто бы умел поднять парус...

— Что из этого?.. Мы научимся!..

— Или — или!.. Свобода, или гибель!... Всегда так было!.. — проговорил неожиданно Воронин.

— Видите: даже этот онемелый человек заговорил!.. Молодчина Воронин!.. — воскликнул Негорский.

— Дай вам Бог! — прошептал Черевин, разыскивая шапку.

— Вам?.. Значит, вы, доктор, не собираетесь с нами?..

— Нет!.. Если я убегу, так... в другом направлении!

— В другом направлении невозможно!.. — возразил решительно Красусский.

Черевин взглянул на него боком из-под полуопущенных век, но промолчал.

— Я всё-таки советовал бы поразмыслить над возражениями доктора, — вставил Арканов. — У вас, доктор, есть книги с описанием перечисленных путешествий?..

Черевин покачал отрицательно головой.

— Тогда, раньше, чем решать дело окончательно, я бы советовал книги эти достать и сообща прочесть их. Отложить — не значит отказаться! — советовал Арканов.

— Напрасно!.. Уже не раз затяжка равнялась отказу!.. — хмуро ответил Негорский.

Александров, как всегда, не вмешивался в прения; он молча тянул свою трубочку, хладнокровно слушая, что говорилось кругом, точно дело и не касалось его. Евгения тоже молчала, но Арканов по её глазам угадывал, кому она сочувствует, и приходившие ему на ум возражения спрятал до более подходящего момента. Евгения, в свою очередь, зорко наблюдала за ним.

— Странно, что этот план, такой простой и удобоисполнимый, не пришёл нам раньше в голову!.. — сказала она с некоторым вызовом в голосе.

— Простые вещи позже всего приходят людям на ум. Логика человеческого мышления всегда исходит от ложных понятий к простым и общим... Таков закон природы!.. — сообщил Гликсберг.

— Итак.. бежим! — сказал молчавший всё время Петров.

— Бежим в Америку!.. — подтвердил Гликсберг. — Но страна эта не понравится вам, господа. Я предпочёл бы куда-нибудь в лучшее место. В Америке — материалистическое миропонимание, борьба за существование, вечная погоня за успехом, поклонение доллару... Я читал много интересного об этом у Диксона... Сознаюсь, что я лично предпочёл бы государство всеобщего человеколюбия, доброжелательства...

— Довольно, довольно, Гликсберг! Садитесь!.. Просим оставить Америку... Диксон автор устарелый. Следовало читать Токвилля!.. В наказание помолчите до завтра!.. — весело вскричали все хором.

— Это совсем не наказание! Ведь я сейчас отправляюсь на прогулку. Токвилль — автор субъективный и легко увлекается!.. — ответил серьёзно Гликсберг.

XI.

На следующий день зашёл к политическим лоцман Бартельс, широкоплечий, высокого роста матрос. Шапки он не снял, по всей вероятности, потому, что... руки у него были глубоко засунуты в карманы. И не сказал ничего, потому что... не любил вынимать вечно дымящейся трубки изо рта. Вместо поздравления он кивнул присутствующим головою и принялся осматривать внутренность юрты. Добродушное лицо, быстрый, смелый взгляд и неподражаемые в своей детской простоте манеры матроса очень понравились ссыльным. Они придвинули ему стул и окружили его венцом. Мистер Бартельс сел верхом на

стул, лицом к его спинке, и курил молча трубочку, покачивая головою, щупал платье ближе стоящих ссыльных и опять покачивал головою. Присутствующие не знали, как с ним объясняться, так как Самуила не было, а другие не знали по-английски. Но моряк сам нашёлся; он прищурил лукаво глаз, трубку передвинул в самый угол рта и сказал неожиданно, чрезвычайно плохо, по-русски:

— Всё... знай!

Присутствующие с трудом сдержали взрыв хохота; даже Александров улыбнулся.

— Что... знай? — весело допрашивал гостя Негорский.

Матрос поправил трубочку движением губ, вынул из карманов красные, узловатые, как корабельные жгуты, руки, одну из них опрокинул вверх ладонью, а пальцами другой побежал по ней, подражая движению шагающих ног.

Вдруг в дверях появилась Евгения. Матрос пристально осмотрел её и, узнав в ней «леди», мгновенно оставил свой стул. Присутствующие и не заметили, как шапка с его головы, а трубочка изо рта исчезли, и сам лоцман, поклонившись прибывшей с изысканной галантностью, остановился выжидающе с выражением морехода, застигнутого туманом в мало знакомой пучине.

Евгения весело поздоровалась с ним за руку.

— Мистер Бартельс...

— Да! Вот он!.. — ответил мистер Бартельс, вынимая из бокового кармана вчетверо сложенный лист бумаги.

Ссылные немедленно развернули её и с большим любопытством принялись рассматривать старательно отделанный чертёж парусной лодки по определённому масштабу, в нескольких разрезах и со всеми необходимыми для её постройки объяснениями и примечаниями. Красусский подпрыгнул от радости и схватил матроса за руку, чтобы выразить ему свою благодарность. Другие тоже по очереди пожимали ладонь добряка и усердно трясли её.

— Благодарим!.. Благодарим!

Моряк был, видимо, тронут этим взрывом признательности, хотя притворялся, что она его ничуть не интересует.

— Когда вы успели?

— Я чертил ночью!.. — скромно ответил мистер Бартельс. — Я хотел избежать ненужных расспросов и взглядов. Конечно, не может быть речи об изменниках среди экипажа «Джувлетты», но кто-нибудь из менее осторожных товарищей мог бы не во время проговориться...

Евгения переводила ссыльным то, что говорил мистер Бартельс.

— Не угодно ли чаю?.. — приглашали его ссыльные наперерыв.

— Если леди позволит, то я предпочту... трубочку!.. — ответил уже совершенно свободно моряк и вынул из кармана свою любимицу. Затем он бережно вытряхнул золу, а Александров подвинул ему свои кiset.

— Я уже давно думал об этом. Как только я заметил ваши страдания, я сказал себе: на какого дьявола они здесь сидят, раз у них есть под боком впадающая в море река? Ведь в Фриско можно проводить время много приятнее, чем в этой трущобе? Я бы уплыл отсюда на древесном пне, в кадучке для стирки белья... Вдруг вчера вечером мистер Морлей, вернувшись от вас, говорит мне: «Знаешь, Бартельс, эти несчастные понятия не имеют о строении китоловных шлюпок с одной мачтой и простым парусом...» Тогда я понял, что это тайна... Эге!.. Мистер Морлей настоящий моряк... Из офицеров нашего судна он лучший для матросов, только даром не любит слов терять!.. Раз, два, а остальное... сам догадывайся!.. Переспросов — ни-ни!..

Исподволь мистер Бартельс разговорился и до поздней ночи поучал ссыльных, как следует строить лодку, как нужно держаться в море, как поднимаются и опускаются паруса и берётся в них ветер. Предмет был неисчерпаем, тем более, что мистер Бартельс охотно переплетал его живописными описаниями приключений из разновременных, бесчисленных своих путешествий, а также изображал подробно ландшафты арктических стран. Даже те, кто не знал по английски, без труда представляли их себе, когда моряк широким жестом, обводя горизонт, произносил обязательные:

— Ice... Ice... plenty of ice!..

Уходя, мистер Бартельс обещал, что в следующий раз приведёт своих товарищей, однако пояснил ссыльным, что для совместного прихода всей команды необходимо разрешение мистера Морлея.

Мистер Морлей не только дал разрешение, но сам пришёл со всей дружиной. В юрте Александрова стало тесно, шумно и дымно. Пришли все, даже матрос-китаец с косой, свёрнутой на макушке головы, даже охотник-индеец с Аляски с медным лицом.

— How do you your socialism? — спрашивал весело мистер Морлей Негорского, который прошлый раз горячее других с ним спорил.

— How do you your capitalism? — перевёл Самуил ответ товарища.

— All right! — ответил моряк. — Он здоров и пока ему, по-видимому, везёт!..

— Долго ли это будет?

— Это зависит исключительно от него самого: если он сохранит умеренность, то проживёт сотни лет!

— Не думаю! — огрызнулся в том же тоне Негорский.

Спор, который грозил опять разгореться, был прерван приглашением к столу, к которому уже подсади матросы. Гости много курили, но ели и пили

умеренно, весело рассказывая о бывших своих приключениях, повторяя не реже мистера Бартельса и его широкий жест рукою, и слово «plenty».

Самуил и Евгения охрипли и выбились из сил, переводя без устали перекрёстные вопросы. В самом лучшем положении оказались матросы-немцы, так как они могли разговаривать непосредственно с большинством ссыльных. Вообще, было довольно шумно и весело. Только мистер Бартельс казался немного разочарованным, так как провожаемый им неотступно матрос тщетно проделывал перед каждым из ссыльных таинственные знаки. Удивлённые, они таращили на него глаза и ничего не отвечали, к большому огорчению обоих.

— Нет!.. Не принадлежат!.. — проговорил, наконец, матрос.

— А может быть, ты худо делаешь?..

— Я-то? Я неладно делаю?.. Это не мыслимо! У нас в Портленде так делают все, и так должны делать во всём мире.

Наконец, они остановились перед Мусьей, и тот ответил им что-то пальцами, после чего оба забормотали вдруг какие-то странные слова и уже не разлучались. Мистер Бартельс сразу повеселел и стал сыпать остротами направо и налево.

Американцы провели в Джурджуе ещё несколько дней и всё время поддерживали самые оживлённые сношения с политическими ссыльными. Постоянно кто-нибудь из них гостил у Александра, в то время, как другие посещали Петрова, Гликсберга, Воронина... Красусский при помощи Евгении вёл бесконечные совещания с мистером Бартельсом. Но больше всех якшался с матросами Мусья; в результате он распродал все свои папиросницы, трубочки, мундштуки и прочие изделия.

— Эй, эй! Мусья, Мусья!.. — грозил ему пальцем издали Негорский.

— Ниже стоимости!.. Право! Бог свидетель, только выручаю за материал... Я не мог лишиться их... souvenirs!.. Тем более, что вы знаете, я отыскал у них моя товарищ... mason.. francmason!.. — добавил он таинственно.

— И что же он вам сообщил? Или того хуже... может быть, вы ему что-нибудь сообщили? Беда с вами, Мусья, беда!

— Что я сказал ему, то сказал! Того даже вам повторить не могу... Мы тяжёлою присягу присягаем...

— Кто мы? Значит, вы уже не бонапартист, но франк-масон?

— Это одно другому не мешает!

Негорский испугался не на шутку.

— Что же вы ему сказали? Я очень прошу вас, Мусья, сознайтесь!..

Мусья в этот раз оказался твёрже стали и только после многократных упрашиваний добавил значительно:

— Это само собою обнаружится!

Между тем, ночью, накануне отъезда американцев из Джурджуя, помощник исправника сидел у себя в комнате и, плотно притворив двери и ставни, заткнув старательно все щёлки ватой, строчил усердно на листе бумаги казённого формата:

...«Всё время своего пребывания посещали политических неблагонадежных ссыльных и поддерживали с ними оживлённо опасные сношения. Сам их начальник, мистер Морлей, посетил их три раза, хотя отказал в этом знаке уважения даже очень почётным гражданам, как то: помощнику исправника и местному протоиерею, отцу Акакию... А что было предметом их разговоров, того не удалось узнать, и можно только предполагать, что было нечто весьма воспрещённое, так как один из политических ссыльных Делиль, прозванный «Мусья», таинственно улыбаясь, сказал: «Это само собою обнаружится!» Ловко выпрошенный помощником исправника по этому поводу, он сознался, что у американцев такой флот, что им ничего не стоит послать корабль с экипажем к сибирским берегам нашего русского отечества и разгромить бомбами внутренность материка. Эта преступная личность доказывала также, что у американцев имеются такие пушки, которые хватают зарядами на пятьдесят вёрст, чему с трудом верится. Хотя вообще они могут готовить изменническое нападение, высмотревши везде слабость нашего караула и доверчивость, а также и безумство исправника, который всегда защищает врагов престола и религии в их столкновениях с мирными жителями Джурджуя... Один из них ссыльный Черевин вполне неблагонадёжно хозяйничает в больнице и овладел совершенно окружным врачом; другой Самуил распоряжается в настоящее время у исправника и стремится овладеть полицией и всем управлением края. Отсюда могут вспыхнуть стремления к отделению даже всей провинции и образованию независимого государства по американскому образцу... Во всяком случае, если постигнет их неудача, они, по словам Мусьи, сядут все на приготовленные суда, на оставленные американцами на берегу морском медью окованные шлюпки и поплывут к ожидающему их американскому пароходу.

Мы бессильны что-либо против этого предпринять, или в пору пресечь преступление, или раскрыть иностранные козни, будучи лишены надлежащего оружия и боевых припасов. Но даже, ежели были бы вооружены, ничего не могли бы сделать, так как исправник склонен ко всякому миролюбию и доказывает, что полиции не вменено воевать и вздорить с врагами отечества. Одна наша надежда на помощника исправника, но разве много способен сделать истинно русский человек и патриот на второстепенной должности, отягчённый непосильным трудом, который он скромно несёт за себя и за исправника, послушный долгу службы и уважению властей!? Что могут поделать благородные граждане города и верноподданные, как-то: Иван

Иванович Козлов, Варлаам Варлаамович Дьяконов, якут Таз, фельдшер Федоркин, писарь Денисов, сын протоиерея Пантелеймон и многие второстепенные... а также сам помощник исправника, по скольку позволяет ему на это его благородное сердце, всегда искренно оберегающее доброе имя своих начальников...»

Анонимный донос был запечатан в большой конверт, затем собственноручно зашит помощником в подкладку стёганного заячьего одеяла, которое завтра должен был взять с собою казак, провожающий в «губернию» американцев. Там одеяло поступало к одному испытанному другу помощника, который уже знал, в чём дело, где чего следует искать, и что с найденным сделать.

ХII.

Как-то утром, вскоре после отъезда американцев, Негорский и Красусский незаметно выскользнули из города и направились по тропинке через тальники на Бурунук, где жил Ян.

Сейчас же за городом исчезали с земли все цветные пятна и их заменяла чистая белизна зимних снегов. Над ними блуждали морозные туманы, выше поднимались сверкавшие инеем пни деревьев и ветви кустов, изгибались толстые, седые рассохи¹, стреляли прямо снопы побегов, обросших шерстью ледяных игл, щетинились острые сучья, — все белые от морозного налёта, покрытые пухом снега, похожие на воздушные, седые струи застывшего в воздухе дыма. Друзья двигались белым коридором, пробитым в чаще, — тропью, намеченной на земле бледно-жёлтой нитью. Вверху над головою дрожали причудливые своды нежных блёсток и кристаллов льда, колебавшихся от звука их шагов; снега роняли лепестки своих перьев. Сквозь чудное белое кружево просвечивал везде бледно-голубой небосклон зимнего, полярного дня, согретый искрами тусклых звёзд.

Вскоре путники походили на белые, лесные привидения: так плотно облепили их снеговая пыль и осадок их собственного дыхания, повисшие на их меховой одежде. Они шли очень быстро, так как хотели ещё сегодня вернуться обратно в город. Им предстояло пройти более семи вёрст и пробраться на ту сторону реки. Когда они очутились на краю глубокого речного оврага, на них пахнуло снизу страшным холодом полярного погреба. В глубокой ложбине обрывистых, глинистых берегов белая лента реки извивалась в туманах студёного пара. Путники взглянули пристально на север, где река исчезла у поворота за горой, и им показалось, что они замечают покатошь ледяного полотна воды, застывшей в быстром движении.

¹ Рассоха – устар. Дерево с раздваивающимся вилкой стволом. *Толковый словарь Ушакова.* – прим. OCR.

— Скажи мне, Красусский, разве теперь, глядя на реку, ты не ощущаешь странной тоски, стремления нестись, лететь поскорее вдаль?! Ах, если-б поскорее пришла весна!.. Если б мы уже плыли!.. А ведь это было бы только начало... — проговорил Негорский.

Красусский удивлённо взглянул на друга.

— Постой, всё будет, всё устроится!.. Осилит всё!.. В лодке не столько нужна физическая сила, сколько хладнокровие и смелость... Только бы Ян согласился!..

— А не согласится он, так придумаем что-нибудь другое! — ответил Негорский с прежней энергией.

Они прошли несколько вёрст руслом реки, стараясь по возможности быстрым движением преодолеть страшный холод, пронизывавший их тело сквозь меховое платье, забиравшийся в их лёгкие и грудь и вызывавший неприятную дрожь во всех членах.

Не смотря, однако, на стужу, Негорский замедлил шаги и даже остановился, когда они по узкой промоине выбрались на противоположный берег. Он внимательным взглядом обвёл небольшую впадину, со всех сторон окружённую густой стеной тальника.

— Это ты об этой курье говорил, как о будущем нашем доке?

Красусский кивнул головой.

— Великолепно! Не знаю только, во всякий ли разлив вода попадает сюда?

— Спросим Яна...

По пологому подъёму, тропинкой, вьющейся среди спутанных кустов, путники вышли на обширные луга Бурунука. Гора, под которой ютилась юрта пана Яна, заслоняла горизонт, точно громадная снеговая копна. Из-за неё выглядывали вершины более далёких и высоких гор, белых, мрачных и мертвенных. На их вершинах и откосах играл бледно-розовый отблеск заката, а подошвы утопали в морозной мгле. Редкие леса покрывали их бока тонкой, как волос, щетиной. На фоне этого безлюдного, омертвелого ландшафта единственный дымок одинокого жилища Яна производил крайне сиротливое впечатление.

Вблизи юрты путники встретились с самим Яном, белым, обледенелым, завёрнутым до глаз в свою старую шаль. Он возвращался с охоты и нёс под мышкой пару испорченных самострелов. Увидев их, Ян радостно закуковал из-под своего платка и хлопнул по платью громадными косматыми рукавицами, отряхивая иней.

— Полезайте в избу!.. Холодище!.. Стужа сибирская!.. Ух! — закричал он на них весело. — Я сейчас приду, только раньше корову напою!..

Жена Яна приняла их довольно кисло.

— Паню Яню ушёл тайга! — объявила она ломанным русским языком.

— Уже вернулся, мы встретились с ним.

Тусклые глаза женщины на мгновение ожили, она посадила на кровать ребёнка, которого держала на руках, и подбросила дров на камин. Когда Ян вошёл, она жадно взглянула ему на руки...

— Что?.. Опять нету?! — спросила она огорчённо.

— Разве это нам новость?! Зайцы приказали кланяться!.. Не дураки, чтобы в такой морозище в петлю лезть!.. Болтаться на воздухе чересчур теперь холодно, не то что летом... Следовало бы не петли, а луки теперь ставить, но их всего у меня два, да и то с попорченными тетивами... Должно быть, зайцы играть пробовали, потому теперь ведь масленица... — говорил по-польски пан Ян.

— Тебе всегда шутка!.. А что будем есть? Сидел мы в больница, всё был, а ты выдумал какая-то глупость, и теперь даже гостям нечего поднести... — жаловалась жена Яна.

— Дай нам, что есть! Господа напьются нашего местного травяного чаю с молоком, и всё тут... Ты за них не беспокойся!

— Конечно!.. Пожалуйста, не беспокойтесь!.. — настаивали гости.

— Женщина всегда имеет короткий ум. Того не понимает, что если-б я был другой, то или бил бы её ежедневно, или бросил одну с ребятами, или что другое... А так как у меня есть совесть, то должен поступать, как поступаю. Совесть нельзя иметь в одном, а не иметь в другом... Садитесь, господа! - обратился он к гостям, подвигая им скамеечки к огню. — Не тужи, старуха, дай глотнуть чаю тёпленького и не ворчи!.. Скоро придёт весна, прилетит птица, ветер взломает лёд на реке, рыба поднимется из омутов — и опять станем царствовать!.. А что слышно в городе? Что американцы?..Важные, слышу, мужики... Важнеющие!.. И то слышал, что здешний край хотят загрести!.. Дай им Бог!..

— Что?!. Что такое?.. Кто говорил?.. — крикнул испуганно Негорский.

— Кому говорить, как не якутам! Но я ничего в этом худого не вижу... Наоборот. Хорошо бы сделали, а то русские не берут в толк, что им здесь делать... А здесь какая пропасть богатства: лес, меха, рыба — неиссякаемое количество! В горах сколько разных руд... Прямо сокровище! Сам бы я им показал и уголь, и серебрец!.. Даже золото, думаю, найдётся... А что железа, меди, свинцу, — сколько хошь! Пронесят мне здесь якуты образцы... Смотрите, что недавно один из них доставил. Хотел я это снести американцам, да, слышу, уехали...

Он показал друзьям красивый горный хрусталь и несколько кубиков пирита.

— Это не представляет особенной ценности и интереса, — объяснил Негорский, осмотрев находку. — Откуда это?

Пани Янова разливала в чашки чай из сушёных листьев ивняка и внимательно прислушивалась к разговору. Пан Ян не ответил на вопрос и ссыпал минералы обратно в ящичек.

— Хотя это и пустое, а всё-таки показывает, что там что-то есть!.. Может быть, старуха, мы с тобою ещё богаты будем!?. Отправимся когда-нибудь мы с тобою, Красусский, в тайгу и станем землю промывать. Уже я высмотрел тут недалеко одну падь, точь в точь такую, как на приисках...

Пани Янова осклабилась.

— Бог давай!.. Только бы раньше с голоду не померли!..

— Не глупи, старуха!.. Зачем сейчас помирать?!. Что вы, уже собираетесь обратно? Посидели бы!..

— Нельзя! Мы пришли только навестить вас, пан Ян, да попросить придти к нам на днях... Есть дело... работа...

— Какая работа?

Ян вопросительно взглянул им в глаза.

— Приходи, приходи, узнаешь!.. Пусть его пани пошлёт к нам!

— Конечно, пошлю. Пусть заработает. И то три дня мы уже не кушали!

Ян провёл их к воротам.

— Эх!.. — ворчал он. — Вижу вы, всё то же. Только на меня не рассчитывайте. Приду, почему не придти? Давно в городе не был. Стужа держала. А то скажите теперь, в чём дело?!

Они улыбались, но не ответили. Прощаясь, Негорский хлопнул слегка пана Яна по плечу и проговорил весело:

— Кто знает: авось в этот раз согласится?!

Нахмурился старый повстанец, молча пожал им руки.

Они далеко уже ушли, а он всё ещё стоял у порога, глядел им вслед и слушал, как в избе плачет голодное его дитя. Наконец, пани Янова выглянула за двери и закричала на него:

— Иди в избу!.. Что стоишь... Совсем замёрзнешь с пустым животом.

Пан Ян вздохнул, вошёл в избу, оглянулся и сел в раздумьи у огня.

Плач ребёнка и жалобы жены мешали ему сосредоточиться, а мысли его принимали невесёлый, беспокойный характер. Чтобы убежать от них, он лёг пораньше спать.

Когда на следующий день ссыльные рассказывали ему свои планы, по его лицу проходили попеременно то волны восхищения, то печали.

План был крайне прост: они намеревались построить лодку, приготовить сухарей, сушёного мяса и спуститься по реке к морю, а затем вдоль морских берегов пробраться в Берингов пролив. Там они рассчитывали встретиться с китоловными суднами, возвращающимися с летних промыслов. В случае же,

если никого не встретят, станут сами пробираться вдоль берегов Аляски в Америку.

— И говорите, что американцы похвалили этот план, сказали, что он возможен?.. — спросил осторожно Ян.

— Они сами нам его подсказали.

Ян долго молчал и поглаживал в раздумьи лысину.

— Так от меня-то вам что нужно?

— О, если-б вы, пан Ян, пожелали, вы бы могли облегчить нам много вещей... Вы знаете по-якутски, у вас среди туземцев много знакомых и друзей, вы живёте над рекой в местности, удобной для постройки лодки, у старой обросшей кустами курьи... Как женатый и старожил, вы не возбуждаете никаких подозрений... О, если-б вы согласились, успех наш был бы обеспечен...

— Вы все собираетесь?

— Все. Останутся только Черевин и Мусья.

— Право, мы не понимаем, почему нельзя нам взять и Мусью? — протестовали Петров и Гликсберг. Красусский поддержал их.

— Об этом речь впереди! Теперь суть в согласии Яна! — остановил спор Александров.

— А вы? — спросил Ян у Евгении.

— О, и я... и мы поедем! — поправилась, краснея, Арканова. Арканов молча наклонил голову.

— Все поедем. Надеюсь, и Черевин соблазнится в последний момент! — добавил Негорский.

Ян опять задумался и смущённо погладил лысину.

— А... а моя баба с ребятами?

— Останется пока. Затем из Америки мы пришлём ей денег, и она приедет туда...

— А если её... не пустят?

— Пустят... В случае чего, мы официально потребуем её выдачи, как вашей жены, пан Ян... Мистер Морлей нам поможет... Побег сделает нас несомненно популярными в Америке. Янки вообще любят смелость и удачу... Они нам помогут. Вообще, они охотно помогают всем борцам за свободу!.. — ответил решительно Негорский.

— В настоящее время нам необходимо приступить к заготовлению леса для лодки! — вмешался Александров. — Надо якутам дать подряд на доски длиной в 25 футов...

— Киль обязательно должен быть двойной из дерева со скрученными спутанными слоями. Подходящее дерево необходимо разыскать в тайге, срубить и высушить. В то же время необходимо приняться за розыски кривых пней и ветвей на рёбра для шлюпки... Я поселюсь у тебя, пан Ян, и мы станем

вместе ходить по лесу... — продолжал Александров спокойным, ровным голосом, точно Ян уже согласился.

— Ну, и напали вы на меня, не хуже цыган! Подождите!.. Завтра скажу...

Он больше их уже не спрашивал, сидел задумчивый, сам не свой, и сейчас после обеда ушёл обратно на Бурунук. Евгения проводила его в сени.

— Я слышала, пан Ян, что вы временно нуждаетесь... Возьмите, прошу вас, как от товарища, как от сестры!

Она совала ему в руки узелок и деньги. Он не брал.

— Что это: подкупить меня хотите?!

— Это ничуть не в связи... Да нет же! Что вы!?! Не бойтесь!.. — вскричала она, задетая его жестом.

В глазах Яна блеснули слёзы.

— Эх, добрая ты!.. Я знаю!.. — шепнул он, придерживая своей грубой рукой её мягкие нежные пальцы. — Я ничего не боюсь, и вы не думайте, что я... Я не знаю, что сделаю; но я ещё хочу подумать обо всём хорошенько. А кто вам сказал о моей нужде?.. Должно быть, Негорский. Ужо я намылю ему голову!..

— Да нет же!.. Уверяю вас, что нет... — горячо возражала Евгения.

— Так, может быть, этот молокосос Красусский? Смотрите, какой приткий! Подумать можно, трёх не сосчитает, а с дамами разговаривать умеет... за панибрата!

Евгения не отвечала, смущённо скрываясь в тени, так как чувствовала, что лицо её залила яркая краска.

— И, в сущности, ведь пустяки!.. — продолжал старый говорун. — Что несколько дней не ловились зайцы, так сейчас из-за этого такой шум... Мало вы ещё бедствовали!.. Моя баба всегда ноет! На то она и баба!.. А по правде сказать, так это совершенный вздор, мы к этому привыкли... Другое дело вы: вы люди учёные, образованные, вы думаете, что если человек день не поел, то мир от этого рухнет... А ведь это совсем обычное дело... Ведь тех, что плохо едят, куда больше, чем сытых, а мир всё стоит, не шелохнётся!.. Так-то!..

Ян был расположен ещё долго разговаривать об этих занимательных для него вещах, но в пору заметил лёгкость одежды своей собеседницы и великодушно оборвал свою речь:

— Уж я в другой раз с вами поговорю... А теперь уходите, а то холодно... Простудитесь!

XIII.

Ян согласился участвовать в побеге.

С ловкостью опытных заговорщиков, политические составили подробный план предприятия и разделили труд. Времени у них было мало, а работы

много. Но того меньше было денег. Правда, Арканов предлагал доставить средства, говорил, что напишет о них на родину, что он уверен, что ему пришлют, сколько будет нужно, но требовал, чтобы ради этого побег был отложен до будущего года.

— Тогда можно будет всё основательно обдумать и не спеша выполнить. Морская экспедиция — не шутка!.. — доказывал он.

— Что? Ждать полтора года?! Никогда! — зашумели ссыльные. — За это время Бог знает что может случиться. Произойдёт новое покушение, или сменят губернатора, наконец, кто-нибудь донесёт, — и всё погибнет... Нас разошлют, разбросают по улусам... Побег удастся только при быстром и немедленном его исполнении... Медлить можно, когда дело идёт о выработке философских систем, но никак не в рискованных предприятиях... Да и зачем ждать? Разве существует ещё сомнение в том, что все мы желаем побега... — напал Негорский на предложение Арканова.

— «От Севильи до Гренады!..» — тихо пропел Самуил.

Арканов беспокойно задвигался.

— Не в том дело, а важно, чтобы... не было неудачи, чтобы блеск славы, а не стыда прибавился революционной партии от нашего предприятия.

Все согласно закивали головами.

— Именно. Только неизвестно, удастся ли оно в случае проволоочки!.. Вернее всего было бы, пожалуй, заказать пароход, но раз этого нельзя... — вмешался в спор Александров.

Подсчёт обнаружил, что беглецы принуждены отказаться от многого, что моряки сочли необходимым для удачной экскурсии, и что к тому же им придётся здесь на месте сократить свои расходы до минимума. Тем не менее, проект Арканова при баллотировке провалился. Собственная его жена подала голос против него. После того он больше уже не вмешивался в обсуждения и, мрачный, слушал молча, как товарищи распределяли средства, плывущие, главным образом, из его кармана, как вводили сбережения, лишавшие его многих элементарных удобств.

— Хорошо всё до тех пор, пока мы не рассоримся, вследствие истощения и дурного расположения духа, или если не заболеем все накануне побега!.. — говорил он жене, когда они возвращались домой.

— Ведь это всего только полгода, полгода, Артя!

— Легко сказать! Полгода!.. Разве это мало? Но делай, что хочешь... На одно я не соглашусь — на переезд с квартиры.

— А ведь это доставило бы нам большое сбережение. Ты сам говорил, что для тебя важнее всего, чтобы побег удался. Ради этого всякая копейка ценна. К тому же, если бы мы поселились вместе с товарищами, нам легче было бы скрыть оживлённые сношения, которые возникнут у нас при совместном

труде... Нам бы меньше приходилось ходить по городу, показываться на глаза полиции...

— Вижу, что ты очень этого желаешь!.. Удивляюсь!.. И куда только девалась твоя женская стыдливость, которой раньше было даже слишком много! Да где, спрашиваю, они поместили бы нас? Разве в той же крохотной комнатке, где мы ночевали в день приезда сюда?! Нет, самопожертвование твоё заходит не в меру далёко!.. По моему, это то же самое, как если бы от нас потребовали ради сбережения денег ходить нагишом!.. — воскликнул грубо Арканов.

Евгения умолкла, смущённая; ей пришло в голову, что не случилось бы ничего особенного, если бы в продолжении этого полугода Арканов спал в большой избе с товарищами, а она одна в маленьком чуланчике Александрова. Только следовало бы приделать дверь и повычистить углы. Такая комбинация дала бы им несколько сот рублей сбережения. Она решила при случае убедить таки мужа, но теперь, видя его раздражение, прекратила разговор.

На другой день, очутившись в юрте Александрова, они снова приняли участие в обсуждении и работах по приготовлению побега.

Всё приходилось делать собственноручно, начиная с карт, которые из сферических предстояло перечертить в морские, прямолинейные, и кончая верёвками для парусов, которые пришлось сучить из ниток, так как туземцы для связывания предметов употребляли исключительно ремни.

Два пункта наполняли сердца беглецов постоянной тревогой: первый, что их откроют, — второй, что они не успеют во время окончить всего необходимого. Главную заботу их составляли, конечно, постройка лодки и сушка мяса для консервов.

Зима стояла лютая. Деревья в лесу окоченели, как камень. Топоры ломались от ударов о них, с резким стеклянным звоном. О рубке и свозке необходимого для постройки лодки материала не могло быть и речи. Беглецы решили чуть изменить форму лодки и заказали более короткие доски якутам. Ян и Александров искали, между тем, в окрестной тайге кривых, дугообразных пней и ветвей на дуги для остова судна. Они срубали их с большим трудом, согревая намеченные стволы при помощи костров.

Им удалось найти прекрасную, высохшую на корне, лиственницу с перекрученными слоями, какая необходима была для киля. С этим бревном они долго провозились в снегах, пока оно очутилось, наконец, во дворе Яна.

В это же время в городе ссыльные торопливо приспособляли под сушильню для мяса маленькую баню, соединённую кривыми сенями с юртой Александрова. Чоен, единственный печник в городе, под руководством Красусского, ставил там добавочную печку. Гликсберг и Петров заключали условия с якутами-подрядчиками на мясо и вели длинные и весьма

дипломатичные переговоры с Тазом, обещавшим открыть добавочный кредит в своей лавке.

— Денег!.. — взывал отчаянно Негорский. — Денег, во что бы то ни стало!

Воронин вдруг проснулся от своего оцепенения и теперь, отыскивая средства, дни и ночи проводил над химическими руководствами и подвергал разнообразным опытам у себя в печке образчики минералов, доставляемых Яном. Он открыл в одном из них большой процент серебра, но... всё это требовало времени и времени! Между тем, времени оставалось мало, а деньги были нужны немедленно.

Чтобы путешествие могло совершиться в мало-мальски разумных условиях, нужно было, по словам американцев, довольствия на два месяца. Это составляло для десяти участников, считая крайне скромно — по одному фунту мясных консервов и по пол-фунта сухарей на человека, всего девятьсот фунтов старательно приготовленных и упакованных припасов.

С сухарями надеялись управиться, так как в юрте Александра топились ежедневно печка, где можно было в один приём высушить пол пуда сухарей. Ржаная мука, хотя и дорогая, находилась под рукою в неограниченном количестве в казённых хлебных магазинах, и покупать её там можно было понемногу. Хуже обстояло дело с мясными консервами. Мясо необходимо в Джурджуе заблаговременно заказывать у окраинных якутов; благодаря проезду американцев, оно страшно вздорожало, и пуд доходил до 2½-3 рублей. Мясные консервы требовали отборных сортов говядины. Очищенная от жира, сухожилий и костей, порезанная на тонкие ломтики и высушенная при температуре от 50° до 60° Ц., она давала из 12 фунтов веса только 1 фунт мясного порошка. Этот порошок — «пемикан» — смешанный пополам с топлёным говяжьим салом, запаивался герметически в больших жестяных ящиках. Чтобы получить необходимые для экспедиции 600 фунтов консервов, ссыльным приходилось в короткое относительно время переработать 3,600 фунтов мяса — количество, для Джурджуя неслыханное. Следовало, кроме того, торопиться, чтобы успеть перевести часть крупного груза ещё на санях через реку и спрятать вблизи того места, откуда намеревались отчалить. И всё это необходимо было проделать незаметно — и покупку мяса, и сушку консервов, — чтобы не обратить ничьего внимания, не возбудить малейшего подозрения.

Собираясь у Александра, ссыльные постоянно совещались, как устроить то и другое, между тем как в сенях Красусский и Чоен тесали кирпич.

— Денег и ещё раз денег! Мы должны уплатить подрядчикам вперёд большие суммы, заключить с ними письменные, строгие условия с неустойкой, чтобы они не смели нас обмануть и мясо доставили во время... За всё надо платить наличными... За одно мясо и муку придётся выложить, по крайней

мере, 500 рублей!.. — высчитывал Негорский, поглядывая на Арканова. Тот притворился, что ничего не слышит, и чертил на бумаге кружечки.

Есть у меня всего триста! — сказал, наконец, он после долгой паузы.

— И то ладно! Продадим лошадь, займём у Таза, ограничим наши личные издержки.

Решили отказаться от сахара, чаю, хлеба, питаться исключительно обрезками мяса, остающимися при выделке пемикана.

— А Мусья?!.. Что мы сделаем с Мусьей? — спросила Евгения.

Воцарилось неловкое молчание.

— Конечно, мы возьмём и его!.. — дружно сказали Воронин и Петров.

— Я вижу препятствие исключительно в его болтливости! — заметил Арканов.

— О, что касается этого, я отвечаю за Мусью. Он будет молчать! — воскликнул Гликсберг.

— Надеешься заставить его читать Спенсера? — спросил с улыбкой Самуил.

— Или докажешь ему, что молчание лучше изделий из мамонтовой кости?

— А может быть, вы сами, товарищ, стали бонапартистом и франкмасонским мастером и знаете некий знак чудодейственный?

— Милый Гли, сознайся, что оттого ты так и самонадеян? Ты бонапартист! — шутили товарищи.

Гликсберг загадочно улыбался, поглаживая ладонью свой красноватый нос и отстающие на висках золотые колечки волос, затем отмахивался, — вообще, насколько мог, защищался от назойливости развеселившихся товарищей. Тайна его так и осталась для них тайной.

Ко всеобщему изумлению, на следующий день Мусья оставил свою квартиру у Аркановых и исчез из города. Ещё через день Гликсберг принёс с торжеством двадцать рублей и отдал их в «каассу».

— Что это значит? Не убил ли ты Мусью?

— Это — деньги, отданные нам им по собственной воле!

— Значит, ты сказал ему?.. — возмутились товарищи.

— Ничуть нет. Я держал с ним пари на двадцать рублей, что он не высидит двух месяцев дома. Оба мы сдали наши ставки на руки Петрову.

— А где же ты спрятал свою?

— В собственной квартире. Я обязался поставлять ему пищу, мамонтовую кость и... новости.

Гликсберг прищурил лукаво глаз и погладил кончик носа. Ответом ему был громкий взрыв молодого хохота...

Близился вечер.

Алый блеск заката, бьющий прямо в большое окно, на мгновение наполнил заревом квартиру Аркановых. Книги, газеты, бумаги, разбросанные на письменном столике у стены, покраснели, точно застыдились своего беспорядка. Сбоку на маленьком столике сверкал кипящий самовар. Он выбрасывал клубы пара, бурлил, гудел, подпрыгивал так, что дрожали не только чашки, столпившиеся у его подставки, но и стоящие подальше тарелки с хлебом, маслом, сушёной рыбой. Не двигалась только тяжёлая серебряная сахарница, полная до верху квадратных кусков белого, как снег, сахара. Молчали лишь сидевшие друг против друга у стола Арканов и Евгения. Приятный запах свежесваренного чая вместе с паром расплывался по комнате.

— Надо покончить с этим раз навсегда!.. Скажи мне, наконец, чего ты от меня хочешь? — вскричал первый Арканов.

Ты хорошо знаешь, в чём дело. Ты обещал мне, что не возобновишь больше запасов, что мы прикончим только остатки... Между тем, я опять вижу сахар... Ты не можешь не знать, что товарищи давно голодают!..

Да, но все эти их... сбережения едва равняются четвёртой части того, что они уже получили от нас, и десятой доле того, что они ещё получают...

Не в том суть, кто сколько дал, — ответила женщина дрожащим голосом, — а в том, что у них постоянный во всём недостаток!

Оттого, что они непрактичны, ротозеи и размазни. Платят за всё дорого, Яну помогают слишком щедро!.. Ведь он в лучшие свои времена не получал столько, сколько теперь имеет!.. На этом побеге он один, несомненно, наживётся!

— Артемий! — с болью в голосе воскликнула Евгения.

— Что Ар-те-мий!? Не подобает даже женщине оставаться всю жизнь малолетним ребёнком и приносить всю себя в жертву там, где достаточно предложить... пять рублей...

— Раньше ты говорил иначе!

Ах, оставь!.. Раньше, да раньше!.. Раньше было другое... Раньше были дела важные, идейные, а теперь что?.. Ведь побег дело исключительно наше, ссыльное, шкурное дело!.. Только тупица Александров может утверждать, что это борьба «с кем-то» и за «что-то...» Только сумасшедший Негорский может придавать этому какое-то необычное, мистическое значение... Им могут верить только полоумные или незрелые молокососы... Ты спроси, что об этом скажет Черевин, который живёт здесь несколько лет...

Слёзы, повисшие на ресницах Евгении, вдруг высохли; она сделала резкий жест рукою.

— Довольно!

— Нет. Я буду продолжать, я не намерен заболеть ради чужих прихотей... не намерен нажить катар желудка или что-нибудь в этом роде! У меня нет, как у них. лошадиного здоровья... Весь этот побег у меня вот здесь сидит...

Он показал пальцем на горло и налил себе стакан чаю. Затем принялся есть быстро и шумно. Евгении казалось, что он нарочно громче обыкновенного чавкает губами. Она встала и сняла с вешалки свою барашковую шапочку. Он притворился, что не смотрит на неё, но когда она надела пальто и тихонько выскользнула за двери, ему показалось, что вдруг сердце у него вылетело из груди и помчалось за ней... Его охватило болезненное беспокойство. Он вскочил и бросился на крыльцо. Но её уже и след простыл. Стройная фигура её уже неслась по горевшим заревом заката снегам к юрте товарищей.

Этот ненавистный дом, занесённый до кровли снегом, казалось, вобрал в себя все лучи умирающего дня. Он горел вызывающе, в венке темнеющих строений, точно громадный коралловый костёр, и дымился, как жертвенный алтарь. Над ним подымались целых два больших столба густого дыма, пропитанного кровавым светом заката: один стоял над домом, другой — над сушильней. Оба выделялись своими размерами среди других городских дымов. Льдины в окнах блестели, как рубины, а на морозных сосульках у навесов дома сверкали огненные искры, точно нить мелких драгоценных камней. Углы и края дома, впадины и выпуклости снеговых заносов у его стен были обведены тонкими лентами, ниточками и жилками огненных каёмок. Розовый свет зари пронизывал, казалось, весь дом насквозь, и он светился каким-то внутренним кровавым светом, от которого сияли и соседние строения, и окружающие снега, и более далёкие кусты и деревья. А ещё дальше этот свет, смешанный с синевой воздуха, ложился фиолетовой дымкой на сонные леса, на бледные поляны, на мрачные косогоры, чтобы, взобравшись на самую вершину Бурунукской горы, затеплиться там опять кровавым сполохом над юртой Яна. Там уже и звёзды блестели, и среди них полярная звезда, к которой так любила обращать свои взоры в последнее время Евгения.

Аркинов мало-помалу успокоился, вернулся в комнату, зажёл свечу и, широко шагая из угла в угол, размышлял. Временами он останавливался, разводил руками, тряс головою и тихо шептал.

— Нет, невозможно! Она бросит меня и уйдёт с ними... Ах, если б.. чорт... если б случай... Я много бы дал, если б всё это... Она уйдёт к ним... — повторял он, вздрагивая.

Он не в силах был дольше сидеть, схватил шапку, надел шубу и побежал к товарищам по снегам, уже пепельным от сумерек. Городские постройки в

темноте умалились и приникли к земле и, точно стая отдыхающих хищников, светили глазками оконных огней. Выросший неимоверно ночной купол неба сверкал бесчисленными звёздами.

Вернувшись с полпути, Арканов собрал со стола масло, рыбу, хлеб, сахар и чай, добавил ещё из кладовой кой-что, завязал всё в скатерть и понёс товарищам.

Шёл он быстро, не спуская глаз с освещённых внутренним огнём оконных льдин юрты товарищей, с чёрных теней, пляшущих на золотом их фоне. Замедлил он шаги только вблизи, заслышав пение. Ссылные пели хором грустную песню, которая, с трудом пробиваясь сквозь промерзшие стены, превращалась в тихие жалобные возгласы, напоминавшие не то пение скрывающихся в подземельях рабов, не то гимны первых христиан в катакомбах. В сенях он остановился, пробуя уловить голос Евгении, но та не пела, хотя ссыльные как раз исполняли любимую её песню:

Назови мне такую обитель,
Где бы русский мужик не стонал...

Взволнованный, Арканов не решился взять с собою узел, оставил его в сенях и осторожно открыл двери.

Увидел он хорошо знакомую картину.

Внутренность юрты, освещённая горящим на камине огнём, походила на странную, фантастическую скотобойню. Кучка ссыльных с блестящими ножами в руках суетилась кругом большого, кровавого стегна¹ мяса, лежавшего на столе, между тем как другие замороженные туши стояли кругом под стенами, оттаивая и ожидая своей очереди.

Заметив Арканова, работавшие весело с ним поздоровались и вдруг замолкли. Он разделся и подошёл к ним, ловя глазами взгляд жены.

— Ножа своего ищите? Вот он!.. — сказал Самуил, — протягивая к нему тонкое блестящее лезвие. — Я взял его, потому что он самый острый; я его сейчас наточу вам, подождите!.. Красусский, пожалуйста, дай точило или, ещё лучше, сам поводи им... — обратился он к юноше, который сбоку камина наскоро составлял и спаивал жестянки для консервов, чем устранялась переноска их по городу из мастерской, что могло возбудить ненужное любопытство джурджуйцев.

Арканов не брал ножа.

— Господа, — сказал он, — сегодня 19 февраля, великий праздник, годовщина освобождения крестьян!

— Это правда! Сегодня 19 февраля, а мы и забыли!

¹ стегно — ягодица; верхняя часть ноги; бедро. *Словарь архаизмов русского языка.* — прим. OCR.

— Именно. Мы забыли, так как с некоторых пор мы поглощены исключительно собою. Я принёс немного припасов, оставшихся от лучших времён, и предлагаю пир...

Евгения с благодарностью и удивлением взглянула на мужа.

— Великолепно!.. Сейчас окончим.. Торопитесь, ребята! Живо!..

Арканов принял нож от Красусского и завернул рукава. Нож резал, как бритва, работа кипела, и весёлый говор не умолкал ни на минуту.

— Жаль, не хватает Александрова и Яна!

— Это верно, без них как-то грустно праздновать!

— Знаете, следовало бы пригласить и Мусью! Сбегай, Гликс, притащи!.. Выпусти на сегодня из заточения!.. — просил Самуил.

— Неверно спит!.. — защищался Гликсберг.

— Так разбуди его! Велика важность... Такой день, что и бонапартистам следует пожертвовать слезу сочувствия!..

— А по дороге заверни к Черевину.

Черевин, между тем, явился сам.

— Хорошо, доктор, что пришли!.. Ведь сегодня 19 февраля!.. — кричали, пожимая его руку.

— Знаю. Поэтому и пришёл .. Может быть, хоть сегодня вы не будете наркотизировать себя побегом и поговорите по-человечески.

Он обвёл мрачным, недружелюбным взглядом юрту, стегна мяса, окровавленные руки товарищей.

— Пришёл сегодня из губернии нарочный!.. — сказал, наконец, Черевин неожиданно. — Привёз какие-то важные бумаги. Исправник ночью позвал помощника, и оба сидят до сих пор в полиции.

В юрте утихло.

— Пойду!.. — сказал спустя немного Самуил. — Возьму письма, газеты и, может быть, узнаю что-нибудь.

Но ни письма, ни газеты не пришли. Самуил узнал только, что мистер Морлей с несколькими матросами возвращается обратно к берегам Ледовитого океана, и что они скоро будут в Джурджуе. Присутствие Мусьи совершенно устраняло из разговоров вопросы побега, и вечер, к большому удовольствию Черевина, прошёл, как бывало раньше, в пении, шутках и философских спорах.

— «Оппортунизм», отзываетесь вы с презрением... «Оппортунизм»!.. А что дурного в оппортунизме?.. Разве застой, по вашему мнению, лучше его?.. — кричал поздно ночью Черевин. — Оппортунизм — это, в сущности, приложение в социологии того же закона, каким мы восхищаемся в биологии...

— Ну, да!.. Только приспособление имеет известные пределы. Нельзя требовать, например, чтобы сокол, даже уверовавший в оппортунизм, превратился в поросёнка! — возражал Самуил.

— Вполне согласен! — ответил Черевин. — Только что вы под этим подразумеваете?

— Оставьте, доктор! Лучше расскажите нам продолжение вашего биологического закона!

— Собственно говоря, жизнь не знает другого способа объединения и сцепления форм и случаев, как оппортунизм. Это мудрый вековечный способ, состоящий в том, что победа новшеств или реформ совершается постепенно...

— Или постепенно портится!..

— Всё равно. Вперёд или назад, но это закон развития. Вы утверждаете, что лучше всё сразу отдать. Никогда!.. Когда у нас остаётся хоть небольшая часть необходимого нам, мы не теряем надежды отвоевать всё... Другое дело, когда всё потеряно!.. Мы всегда и везде можем бороться и работать... Не вижу, господа, почему мы должны сложить руки и всё оставить. Только потому, что не можем получить немедленно всего?..

— А если. действительно, ничего нельзя сделать?

— Это всегда всецело от нас зависит... Это значит, что мы недостаточно ловки, чтобы выбраться из обстоятельств и овладеть ими... Биология учит нас, что такие особи приговорены к вымиранию. То же происходит в сфере общественных течений...

— Ах, всё это мы уже слышали! Бросьте, доктор!.. Не трудитесь напрасно.. Вы неисправимый оптимист. Расскажите нам лучше что-нибудь из прежней вашей практики в деревне...

— Что-ж: каналы-мужики выдали меня! Они донесли становому, что кроме лекарств я даю им ещё книжки... Самые обыкновенные цензурные книжонки!.. Этого было достаточно. Меня сослали. Через них, моих пациентов, сижу здесь и вожусь с вами! Что же, Мусья, вы трубочку мне сделали?

— Не сделал, потому что не знал надписи!

— Напишите: «мир праху его, пусть почиет в Господе!»

— Нет, это не мой надпись... Разве я дьячок?

— Твоя надпись, Мусья, будет: «я, Гликсберг, выведший тебя из земли египетской, страны неволи»!.. — проговорил Самуил.

Мусья подозрительно вытаращил на шутника глаза, по лицам ссыльных пролетела тревожная тень.

— Это ещё неизвестно, кто кого будет выручать!? — рассмеялся таинственно Мусья.

И шумы, и гуде,
Дрибный дождик иде...

запел Черевин.

А кто-ж мене молодую
До домочку доведе...

подхватили хором товарищи.

— Ах, водки! Много дал бы я за бутылочку!.. Разрешите послать на мой счёт!..
— просил Черевин.

Поздно ночью, почти на рассвете, возвращались Аркановы домой. Городок исчез в непроницаемой тьме, исчезли звёзды на небе, покрытом грядями мутных туч, мороз полегчал, порошил мелкий снежок.

— Видишь, милая моя, побег есть... — шептал Арканов жене, поддерживая её под руку.

— Ах, перестань!.. Здесь так темно, что ещё кто-нибудь подслушает нас незаметно, — ответила она тихо.

— Понимаешь, Женя, что для меня, в сущности, безразлично, где я нахожусь: здесь, или в Америке, раз я не могу жить на родине! — начал Арканов в квартире, садясь на кровать и отстраняя со лба свои львиные, чёрные кудри. — Здесь ли, в Америке ли деятельность для нас не мыслима! Даже здесь я, собственно говоря, предпочитаю оставаться, так как здесь для меня гроб, где я силой вещей обречён на бездействие. Там я буду вечно терзаться и метаться, постоянно буду упрекать себя в бездействии, неизбежном, в сущности, для эмигранта... Жить придётся в чуждой среде... Не мыслимо ведь работать идейно в совершенно незнакомых нам условиях, среди народа, которого языка и обычаев мы не знаем... Раз судьба создала меня русским, я обязан, прежде всего, думаю, служить русским мужикам, благодаря труду которых я существую и размышляю...

Можно бы со временем вернуться в Россию тайком, — вставила Евгения.

Нет, милая, я не способен к такой деятельности. Я не обладаю талантами заговорщика-конспиратора. Вдобавок, продолжительная тюрьма и ссылка окончательно разобщили меня с действующей революционной партией... Я потерял, ты знаешь, все нити и связи... Кажется, что и средства наши иссякли... Я не в силах начинать всё сызнова, в одиночку... К тому же, тебе хорошо известно, что нелегальные прячутся удачно только при условии, что их совсем не знают подлежащие власти; между тем, нас с тобою, Женя, описали и сняли в тюрьмах бесчисленное количество раз... Мы пойманы будем немедленно, сами погибнем и других погубим... Итак, Америка привлекательна для меня, только как место, где можно более удобно и безопасно жить, чем здесь... В сущности, для меня ни то, ни другое не представляет особенного значения. Бегу я только потому, что ты этого желаешь!..

— Да, я желаю, очень желаю... я должна!..

Она стала перед ним на колени, обхватила его и взглянула ему в лицо по прежнему.

— Так будет, как ты захочешь. Я говорил всё это только затем, чтобы ты поняла, почему я иногда сопротивляюсь и обнаруживаю некоторую

сдержанность в вопросах побега, чтобы ты не принимала всего этого за какие-то беспричинные или злобные капризы... Мне жаль тебя, мне жаль всех вас! Я не боюсь смерти, но когда подумаю, что из-за пустяка можешь попасть на дно, в морскую тину, что водоросли оплетут твоё тело, опутают члены, что пиявки будут виться и путаться в твоих волосах, что раки и крабы вопьются в твою грудь, что рыбы станут объедать твои милые губы и клевать глаза...

— Перестань. Я не в силах...

— И я не в силах...

— Даже если б мы отказались участвовать, они всё равно поедут... Тогда они потонут, а мы останемся здесь одни... Нет, Артя, лучше вместе! Поверь мне, что и здесь пиявки страха будут ползать по нам, раки и крабы самолюбия вопьются в наше тело, опутают нас водоросли привычек... Напьемся мы не в меру вечных унижений, да уступок, да компромиссов и незаметно станем презирать себя... а это ведь и есть смерть!

— Поэтому-то я и соглашаюсь. Но я хотел бы, чтобы ты поняла меня и простила мне иногда мою горечь и моё отчаяние, с которыми я подчас не в состоянии справиться. Я не верю в успех побега и не расположен к нему, так как, повторяю тебе, мне всё равно, где жить, раз нельзя жить на родине.

Евгения склонила голову на грудь.

— Но ведь... возврат не мыслим?!. Ведь мы согласились!.. Ведь мы не можем взять слово назад... Артемий!.. Артемий!.. Милый, я так желаю... всегда тебя... вечно...

Он остановился и ждал с приподнятой головой, но она не закончила.

XV.

Рано утром следующего дня Самуил ещё спал, когда прибежал к нему дежурный казак от исправника с карточкой и приглашением пожаловать немедленно. Самуил ответил, что сейчас придёт, оделся и побежал прежде всего уведомить о приглашении товарищей и посоветоваться с ними. Испуганные, они попрятали немедленно в снег ящики с готовым пеликаном, а остатки не уложенных ещё консервов перетащили к Аркановым. Артемий принял их кисло, но не протестовал. Они условились, что, в случае обыска и обнаружения пеликана, покажут, что приготавливали его для лета, опасаясь дороговизны мяса, вызванной проездом американцев. Гликсберга они послали с предостережением в мастерскую к Красусскому. Вернулся он оттуда бледный, с широко раскрытыми от испуга глазами:

— Чорт знает, что такое! Этот сумасшедший всех нас погубит! Я ему говорю, чтобы он всё спрятал, а он только головой кивнул и продолжает ковать... На полу лежат кучи гвоздей, болтов... Сразу догадаются! Я хотел ему помочь,

прибрать всё... А он ничего... Только револьвер положил себе на верстак... Что эта безумная башка замышляет... Я так и не узнал от него... Губы сжал, брови сдвинул... Нет, я не согласен... ни на какое кровопролитие я не согласен... Я не террорист!.. Я это вам говорил раньше!

За исключением Евгении, которая иначе объясняла поступок Красусского, прочие товарищи возмутились его вызывающим поведением. Но никто не соглашался пойти уговорить упряма держаться границ благоразумия. Негорский, к сожалению, отсутствовал: его послали на Бурунук предостеречь плотников.

Между тем, Самуил, немного обеспокоенный, ожидал появления исправника в его красной гостиной.

— Видите в чём дело, — заговорил исправник, обмениваясь с ним обычным приветствием, — я хочу вас спросить кой о чём... В сущности... мне необходимо... с вами... посоветоваться!

Он взял Самуила под руку и повёл в соседний ещё более укромный кабинет.

— Не угодно ли сигару?

— Благодарю. Предпочитаю папиросы.

— Видите, я получил распоряжение, чтобы... — Самуил крепко затянулся, исправник тоже обильно дымил и пронизывал взглядом собеседника.

— Странное распоряжение, смысла которого я не понимаю. Очевидно, был отсюда донос... Приказано обратить особое внимание на вас, господа... Полагаю, что вы не можете жаловаться на меня, я старался поступать с вами по-человечески, и я надеюсь, что вы не злоупотребите...

Он замолчал и даже дым сигары задержал в груди; его глаза искали глаз Самуила.

Тот принял вызов, но вдруг почувствовал, что черты его лица предательски меняются.

— Не понимаю!.. — сказал он, чтобы пресечь опасное для себя молчание.

В глазах исправника блеснул огонёк и потух.

— Послушайте... — начал он спокойно, — через несколько дней приедут американцы и отправятся дальше к морю искать следов своих потерявшихся товарищей... Не знаю: послать ли с ними помощника, или... самому ехать?

Самуил долго не отвечал; он упёрся глазами в край пепельницы, в которую как раз стряхивал пепел своего окурка, и, казалось, всецело поглощён был стремлением не уронить ни пылинки на порядочно-таки грязную скатерть.

— Лучше... вы поезжайте! — ответил он, наконец, тихо.

— Да-а?!

— Конечно... Ничто... не изменится! — продолжал спокойно Самуил.

— Прекрасно! Понятно!.. — уже весело возразил исправник. — Мне, например, приказано из губернии объясняться с американцами по-русски,

приказано избегать переводчиков... Но разве это мыслимо? Я догадываюсь об источнике всего этого, и я мог бы устроить им весёлую штуку, но я должен... знать...

— Зачем вам знать? Устройте им... весёлую штуку... и всё тут!.. Это всегда стоит сделать! — ответил ему в тон Самуил.

Исправник задумался.

— Я не люблю скандалов. Я прямо ненавижу скандалы!.. — вздохнул он.

— Ну, так предоставьте это другим, а сами оставайтесь всегда хорошим, миролюбивым и понимающим человеком, каким вы были для нас до сих пор...

Чиновник опять погрузился в раздумье. Какая-то весёлая мысль, очевидно, осенила его, так как улыбка заиграла на его губах. Он встал и протянул гостю руку.

— Благодарю!..

Самуил вышел.

— Иначе поступить я не мог!.. Я считал нашей обязанностью, раз он обратился к нам с вопросом, осторожно предостеречь его!.. — толковал он товарищам, собравшимся вечером на совещание. — Он ведь, действительно, держался с нами, относительно, порядочно. Он, правда, хитёр, но в то же время самолюбив и мстителен. И, несомненно, больше ненавидит своих личных врагов, чем врагов государства!

— Да, да... тем не менее, нужно остерегаться. Боже упаси нас от войны, огня, мора и полицейских друзей! — вздыхал Негорский.

— Главное, пемикан и лодка!

— О лодке нечего беспокоиться! — ответил Александров.

— Всё спрятано отлично!

— Готовые уже припасы следует увезти немедленно из города, а с заготовкой остальных поспешить. Быстрота — единственное наше спасение!..

— Не знаю, право, способны ли мы ещё больше торопиться? — заметил Гликсберг.

— Нужно разделиться на две смены и работать днём и ночью!.. — посоветовал Петров.

— И держать постоянно наготове заряжённые ружья! — добавил Красусский.

— За тем, чтобы каким-нибудь необдуманым, скоропалительным поступком провалить всё окончательно... — рассмеялся Арканов. — Господа, вы всё это принимаете чересчур трагически... Велика важность: откроется так откроется!..

— Как для кого!.. — проворчал Красусский.

— Полагаю всё-таки, Красусский, что вы не в праве поступать исключительно по своему усмотрению...

И мы можем требовать, чтобы ты не предпринимал никаких решений без нашего согласия!.. — строго обратился к другу Негорский.

— Между тем, что он делает?! Я сам видел, как он положил на верстак заряженный револьвер!.. — жаловался Гликсберг.

— Мы, пропагандисты, никогда на это не согласимся! — решительно заявил Петров.

Беглецы постановили воспользоваться замешательством, которое вызовет приезд американцев, ускорить работы в сушильне и вывезти более крупные тяжести за реку к Яну. Красусский обещал тоже поторопиться с работами в кузнице.

— Я бы уже многое успел сделать, но у меня нет угля, и нельзя нажечь, пока не оттаяла земля! Нечем покрыть кучу сверху!.. — объяснял он товарищам.

— Но всё-таки якорь и болты для стягивания боков лодки ты должен кончить раньше, чем испортится зимний путь. Иначе я не знаю, как мы перевезём такую тяжесть на тот берег. Кроме того, без болтов не сложишь лодки!.. — настаивал Александров.

— Лодка.. шлюпка!.. Как это приятно звучит!.. — воскликнул Гликсберг.

Беглецы взглянули друг на друга повеселевшими глазами. Настроение сразу улучшилось; даже траурное лицо Воронина прояснилось.

Несколько дней спустя прибыл в Джурджуй мистер Морлей.

В этот раз он посетил изгнанников всего один раз, и то сидел у них очень недолго, а матросов и совсем к ним не пустил. Образцы пеликана, которые ему были представлены ссыльными, он похвалил, объяснил также кой-какие подробности по устройству лодки, о которых они спрашивали его, но был всё время молчалив и мрачен.

— Странно: я чувствую, что местные власти, хотя по наружности любезны и доброжелательны на словах, на деле постоянно враждебны ко мне, во всём оказывают сопротивление!.. — жаловался он Самуилу.

— Они злы на вас за сочувствие, выраженное нам!

— В чём сочувствие? — удивлялся мистер Морлей. — Разве в том, что я воспользовался вашим гостеприимством и вашим знанием английского языка?

— Этого совершенно достаточно. Правительство требует от окружающих, чтобы они считали нас за прокажённых!

Мистер Морлей поднял вверх брови.

— Я думаю, что могу не разделять этих мнений. Сознаюсь, я даже рад оказанному мне недоверию. Оно освобождает меня от малейших угрызений совести. Я догадываюсь, что вы устраиваете побег... Вмешаться в это дело явно ни я, ни мои люди, понятно, не можем, но.. я вам сочувствую! Вы ведь добиваетесь того, что мы, американцы, уже у себя имеем...

— Не совсем! — подумал Самуил, но не счёл своевременным затевать теоретические споры. Он молча, с чувством, пожал протянутую ему руку.

Мистер Морлей взглянул куда-то в бок, чтобы скрыть своё смущение.

— Надеюсь, что мы встретимся в лучших условиях!.. Ведь везде было рабство... И мы нашу свободу тоже добыли!..

Пришёл казак от исправника с приглашением на вечер.

Мистер Морлей не зашёл больше к ссыльным.

За то тайно частенько посещал их мистер Бартельс. Они показали ему сушильню, припасы, приборы и орудия, заготовленные для экспедиции.

Матрос пришёл в восторг.

— Yes!.. Прелестно! Под боком у полиции, на глазах!.. Ведь это полиция!?. — спрашивал он, показывая на жёлтое здание по другую сторону озера.

Мистер Бартельс посетил также Мусью, у которого купил великолепную трубку с надписью: «Счастливым путем! Джурджуй, 18** года».

Исправник уехал с американцами на север, и бразды правления в Джурджую перешли временно к помощнику.

Среди обывателей немедленно обнаружилось движение. Ссыльные заметили, что Козлов несколько раз промчался на санях по главной улице города, от квартиры помощника к дому отца Акакия, а затем к доктору. Вечером они видели Денисова с неотлучным Пантелеймоном, идущего в сторону церковного дома. Наконец, засиял яркими огнями дом Козлова, что всегда означало большой кутёж и пьянство.

Поэтому беглецы сильно удивились, когда довольно поздно зашёл к ним Черевин.

— Вы не у Козлова?

— Нет! Меня не звали. Я даже рад этому, так как в отсутствие исправника не люблю посещать этой сволочи!.. Надоели!

Тем не менее, он был мрачен и скоро ушёл от товарищей.

— Живодёрня у вас, и ничего больше! — сказал он на прощанье.

На следующий день, около полудня появился неожиданно в юрте Александра Мусья, а когда ссыльные стали было упрекать его в измене слову и пугать проигрышем пари, он сообщил с неподдельным ужасом:

— Скандал! Они выбросили Черевина из больницы... Помощник прочёл ему такую бумагу, что он не получит ничего больше в аптеке, даже касторки...

День спустя пришёл опять сам Черевин.

Он был убит и жёлт, как лимон. Тем не менее, бодрился и подробно рассказал весь ход событий. От губернатора пришло распоряжение о запрещении ему медицинской практики. Губернатор требовал, чтобы все циркуляры и распоряжения применялись к джурджуйским политическим с особой строгостью.

— Был отсюда донос, это несомненно! Во всём узнаю руку мерзавца Козлова... Победили меня!

— Товарищ... вы плюньте на них да и... с нами! — проговорил Негорский.

Черевин покачал отрицательно головой.

— Нет!.. Долго очень!.. — ответил он мрачно и, вытянувшись на нарах в сторонке, молча наблюдал за проворно работающими товарищами.

— Поостерегитесь! Я не думаю, чтобы гонение окончилось на мне... — заговорил он опять.

— Ничего нам не сделают! Скоро март... Приготовления подвинулись на столько, что, в случае чего, сможем им показать зубы и когти!..

Однако, беспокойство не покидало беглецов, и они решили на всякий случай поставить караульных.

Первым сторожил Воронин и ничего не заметил; но когда на дозор вышел Гликсберг, происшествия посыпались, как из рога изобилия:

— Козлов опять поехал к помощнику!

— У казаков в караулке какое-то необычное движение!

— Денисов пошёл к доктору!

— В санях на быке везут отца Акакия в бессознательном состоянии!

Сначала ссыльные принимали эти сведения серьёзно и пробовали давать им объяснения, но вскоре рапорты злополучного караульщика стали возбуждать лишь неудержимый смех. Обиженный, Гликсберг перестал делать донесения.

На следующий день опять поставили стражу, так как подозрительное движение в городе не прекращалось. Красусский, к тому же, принёс из мастерской неприятную новость. По сообщениям его друзей-якутов, казаки толкуют по городу, что когда «маленький тоён» (помощник) сделается «большим тоёном» (исправником), то он устроит политическим «сиери» (погром)...

Поспешно явившийся затем Александров сообщил о посещении Яна полицией.

— Приходил командир с якутским бурунукским старостой, осматривал сложенный во дворе лес и заглянул в пустой «хотон» (хлев), где собиралась шлюпка. К счастью, она как раз была разобрана. Спрашивали Яна, зачем ему такие длинные и тонкие доски. Мы объяснили им, что получили от американцев заказ на будку для метеорологических наблюдений. Кажется, поверили...

— Жаль, однако, что вы впутали американцев!..

— Конечно, жаль, но пришлось... На долго ли удовлетворит их наш ответ, неизвестно!

— Во всяком случае, что делать, если они станут следить за нами? Я уверен, что если б они не застали у Яна меня, много круче бы обошлись с ним и

сделали бы обыск более тщательный и придирчивый... Моё присутствие, видимо, стесняло их!..

— Необходимо послать к вам ещё двоих... Ты, Петров, согласишься ли переехать к Яну?

Ссылные советовались, что предпринять в случае обыска, когда неожиданно вошёл в юрту казак и объявил Самуилу, что помощник просит его к себе немедленно по очень важному делу. Казак казался сильно расстроенным, но ничего больше добавить и ни разъяснить не пожелал.

— Я иду с тобою!.. — проговорил Негорский.

— Совершенно лишнее, я один!

Ссылные столпились у догорающего огня в полу-тёмной юрте, молчаливые и возбуждённые. Только на лице Арканова блуждала скрытая, довольная улыбка. Он, очевидно, не мог её побороть и потому все отворачивался от света и жены. Когда заскрипели, наконец, в сенях шаги Самуила, все затаили дыхание.

— Черевин застрелился! — проговорил на пороге Самуил глухо и кратко.

* * *

Три дня спустя происходили похороны самоубийцы. Был чудный, солнечный день. Один из тех весенних дней, когда на севере кажется, что солнечный свет, поработанный долгими зимними ночами, торжествует своё освобождение и победу, когда, отражённый от обледенелой поверхности снегов, он наводняет землю, воздух и самые небеса золотыми, ослепительными струями. Всё принимает сказочные краски и формы в этих огненных волнах, перемешанных с радужной пылью носящихся везде и всюду мерцающих блесток инея.

Ссылные на руках понесли покойника на засыпанное снегом кладбище, окружающее серую церковь. Стёкла и купола последней горели золотыми огнями солнечных отражений, точно волшебный замок. Когда могильщики спустили гроб на дно ямы, выкопанной в мёрзлой, твёрдой, как гранит, земле, и груды льда и мёрзлой земли, сбрасываемые лопатами, загудели по крышке гроба, столпившаяся кучка изгнанников запела революционный, похоронный гимн: .

Ты знал, умирая, родимый,
Что скоро из наших костей
Подыметесь мститель суровый,
И будет он нас посильней!..

Возвращаясь с похорон, в воротах кладбища они столкнулись с кучкой джурджуйских обывателей, среди которых находился и помощник исправника.

— Господа, что же я?.. Я простой исполнитель! Распоряжение губернатора ясно говорило... Его превосходительство изволил требовать... Должно быть,

исправник... спрашивал об этом... Возможно, что покойник и сам просил о выяснении... Честный и талантливый был человек... Хороший человек... Исправник всегда самое трудное и неприятное оставляет на мою долю... Уехал, а в полиции — хаос!.. — слезливо извинялся новый правитель округа перед Самуилом.

Но никто его не слушал, никто не обращал на него внимание, даже Мусья отвернулся...

Два дня спустя Красусский поймал ночью казака, подсматривавшего в окно его юрты; избил шпиона и немедленно послал дерзкое и ругательное письмо помощнику исправника.

— Что ты ему написал? — спрашивали его товарищи, когда юноша, бледный от гнева, рассказывал о случившемся.

— Что вся ответственность за поведение казаков падает на него, и что в другой раз я от него потребую удовлетворения!..

— Жаль!.. Если б тебя теперь взяли, мы бы остались, как без рук!..

— Это правда! — заметила Евгения. — И вообще лучше бы без... побоев!

Красусский взглянул на неё пристально и смутился: до того она была взволнована и расстроена.

Между тем, пришёл пятидесятник, посланный помощником для объяснений.

— Глупый, совершенно глупый паря!.. — толковал казак. — Неизвестно даже, не сказывает, что dospел под окном... А вы его так больно наказали!.. Насилу в караулку дополз!..

— Мы думали, что это вор! — ответил Самуил.

— С другими хуже будет!.. — проворчал Красусский, пронизывая казака острым, как гвоздь, взглядом.

— Что я!?! Я простой исполнитель... По долгу службы... Делаю, что прикажут... — повторял посол услышанные на кладбище оправдания помощника.

Тем не менее, варварская расправа подействовала.

Правда, что уже на другой день поутру два конных нарочных полетели с вестями в две противоположные стороны: один на север к исправнику, другой на юг к губернатору; но на джурджуйских обывателей упал, тем не менее, спасительный страх, и все... притихли, притаились до поры до времени. Особенно ночью всякий далеко обходил юрту «преступников». Реакционное движение остановилось... Один доктор продолжал пьянствовать без удержу и осаждал Красусского просьбами о починке постоянно портившегося музыкального ящика, игрой которого он услаждал себя в тяжёлые минуты жизни.

Ящик с музыкой являлся всё чаще в мастерской. Красусский не отказывал доктору, так как последний считал себя другом политических и, действительно, в редкие минуты трезвости был к ним внимателен и любезен. Но постоянные посещения мастерской фельдшером Федоркиным, посланцем доктора, обладателем хитрых, бегающих глазок, не нравились юноше.

— Вы, должно быть, носите шарманку по пути к своим товарищам и портите её! Доктор пишет, что прошлый раз она совсем не играла, между тем я починил её!.. — сурово выговорил однажды Красусский фельдшеру.

— Упаси Бог!.. Как же я смел бы играть на инструменте своего начальства?! — защищался Федоркин.

— Ладно! У доктора имеется ключик от ящика. Смотрите, я завожу шарманку и захопываю крышку; несите ящик прямо к доктору, он должен получить его играющим: пружина длинная, хватит на весь путь...

Венский вальс весело гудел, скрежетали шестерни, урчали валы и зубья. Фельдшер взял неохотно играющую шарманку и ушёл. Однако вскоре вернулся чрезвычайно рассерженный.

— Хотя мой чин и небольшой, но вы чересчур себе позволяете, господин Красусский! Заслышавши вашу музыку, люди из домов выбегают мне навстречу... Мальчишки неотступно следуют за мной и тюрлюкают, как на шарманщика. Я не согласен!.. Возьмите её обратно и оставьте у себя... Разве вы не слышите, что там происходит?!

Действительно, с улицы доносились дикие восклицания и хохот. Выйдя за двери, Красусский увидел далеко на снегу озера, под золотыми лучами солнца, кучку якутов, одетых в меховые шапки и кафтаны, вокруг стоящего на земле чёрного ящика шарманки. Всем было весело, хотя якуты, видимо, не особенно доверяли «дьявольскому разговаривающему ящику» и держались от него на почтительном расстоянии. Несколько мальчуганов плясало в сторонке «трепака», размахивая руками, приседая и высоко подымая толстые ступни в мохнатой местной обуви.

Заинтересованный забавным зрелищем, Красусский подошёл к плясунам, как стоял, в одной блузе и с молотком в руке, как вдруг заметил на противоположном конце озера длинную цепь саней, запряжённых оленями. Среди них он сейчас же узнал обшитую кошмой кибитку исправника. Не обращая более внимания на фельдшера, он вернулся немедленно домой, запер мастерскую, оделся и побежал в сторону приезжих.

— Американцев привезли! — крикнул он Аркановым, направлявшимся как раз к юрте Александрова.

Все они пошли в ту сторону, даже фельдшер с играющей шарманкой присоединился к толпе. Длинный ряд заиндевелых оленей, сопровождаемых защитными мехами проводниками, двигался, точно сказочное шествие, в седых облаках собственного пара. На низких «нартах» покоились привязанные ремнями тела погибших матросов, скованных вечным сном. В конце шёл мистер Морлей с своими помощниками. Ссылные молча поздоровались с ними горячим рукопожатием и присоединились к печальному кортежу.

Тела покойников были вскоре затем сложены рядом на сене в пустом амбаре. При укладке, с некоторых сдвинулись покрывала. Суровые лица выражали самые разнообразные чувства. Один согнулся дугою, и несказанное страдание застыло в его чертах; другой лежал спокойно с заброшенными под голову руками, точно спал; тот напрягал мышцы, будто боролся с увлекающей его враждебной силой; другой прилёг на бок с выражением оцепенения и удивления в широко раскрытых глазах... И был один, который подымал вверх сжатый кулак, точно грозил и вызывал на бой небо и землю...

— Посмотрите, — говорил Морлей, указывая на ступни умерших, — у всех обгорелые чулки и нижнее платье. У некоторых даже тело на ногах и руках обуглилось. Очевидно, они старались согреться, садясь возможно ближе к костру и, умирая, падали в него... Затем они не в силах уже были двинуться... Они были, несомненно, истощены до крайности. И, несмотря на то, корабельные книги, научные записи и инструменты они тащили с собою до самого конца...

— Геройская смерть... Борьба, плодами которой воспользуются другие!.. — заметила Евгения.

— Кто эти другие? Не думаю, чтобы эти янки утешали себя таким образом. Они рисковали ради денег и славы... Это была простая игра, азартная игра!.. Повезёт — пан, не повезёт — пропал!.. — заметил кисло по-русски Арканов.

Мистер Морлей по его тону догадался о порицании товарищам; он спокойно указал на бородатого покойника с энергичным, страшно исхудалым лицом и сказал:

— Этот ирландец был раньше фением¹, как и вы. В молодости приговорён был к смертной казни и был спасён товарищами, которые остановили карету, вёзшую его из суда обратно в тюрьму...

Евгения взглянула с упреком на мужа.

Мистер Морлей вместе с Самуилом отправился на приготовленную для него казённую квартиру; политические вернулись к себе, к своим заботам, тревогам и опасениям.

¹ Фэнии — ирландские революционеры-республиканцы второй половины XIX — начала XX веков, члены тайных организаций «Ирландского республиканского братства». — прим. OCR.

Мало уже времени оставалось у них, и всякий потерянный час наполнял их крайним беспокойством. Когда поутру Аркановы вернулись домой после ночного дежурства в сушильне, Евгения опустилась тяжело на кровать и повесила голову с выражением большой усталости. Арканов подсел к ней.

— Женья, что с тобой? Опять разболелась голова?!. Отвратительный воздух в этой сушильне!.. Когда это кончится?.. Постоянно что-нибудь новое... А ты всё так близко к сердцу принимаешь... Весь день ты не взглянула на меня... Я знаю: ты рассердилась за американцев, но посуди сама: разве я не был прав? Разве эти простые матросы...

— Не в том дело... В твоём замечании мне послышались удивительные, незнакомые мне до сих пор звуки, точно ты радовался, что эти люди рисковали для славы и денег и... погибли!

— Я, действительно, был задет твоей экзальтированностью. Я вижу в этом нежелательное влияние... Негорского, Александрова и других... Между тем, борцы не должны терять никогда, — а тем более накануне сражения, — ни хладнокровия, ни рассудительности. Никогда не должны экзальтированностью чувства ослаблять деятельность рассудка. Мы вступаем ведь на тот путь, жертвы которого привезены сегодня в Джурджуй. Гибель наша будет зависеть от того, повернём ли мы полверсты вправо или влево. В то время, когда ты распространялась о возвышенности их поступка, я видел отчётливо жалкие, высохшие от истощения, скрюченные от голода, промерзшие насквозь существа, собравшиеся кругом потухающего костра, глядящие с отчаянием на догорающие головешки и лишённые сил добыть больше топлива. Они копались в тёплой золе, хватали жар коченеющими пальцами, пытались их согреть... Они думали, что дрожат от холода, между тем, как это была уже витавшая над ними во мраке смерть!.. То же будет и с нами... Иностранцы тащили с собою, как утешение, своих фетишей: какие-то корабельные книги, какие-то заметки... Но после нас совершенно ничего не останется... Проклята будь та минута, в которую я согласился!..

— Что же ты хочешь сделать?

— Останемся, Женья! Устранимся от них немедленно, а затем попросим, чтобы нас выслали в улус... недалеко...

Евгения вскочила в волнении:

— А затем?.. Всю жизнь... годы... в этих снегах!?..

— Ведь будем вместе?.. — робко шепнул он.

Она чуть заметным движением отстранила его объятия.

— Ты создаёшь себе не существующие опасности. Побег будет удачен. Поплывём мы летом, когда на берегу моря пропасть дичи и рыбы. Берём с собою припасов на два слишком месяца. А раз попадём на Чукотский

полуостров, то почти что будем в Америке. Там берега густо заселены, и часто появляются китоловы...

— Also sprach¹... Негорский!.. — вставил с горечью Арканов. — Я сделаю, что ты хочешь, но ты подумай... Гибель их всех, прежде всего, на нашу ляжет совесть... Ведь если-б мы во время устранились, возможно, что мы удержали бы их...

Он подчеркнул выражение «во время», но она не обратила на это внимания и отвечала, качая головой:

— Нет! Ты их не знаешь: их ничто не удержит!

Он опустил вниз глаза; какое-то соображение, пока неясное, мелькнуло перед ним.

— Пусть будет так, как ты хочешь!..

Благодаря замешательству, созданному в Джурджуе приездом американцев, благодаря ссорам, интригам, зависти, возникшим в высшем чиновном и купеческом мире при дележе обильно посыпавшегося американского золота, политические могли подготавливать свой побег почти открыто и на глазах у всех.

Именно тогда-то Красусский перековал свои тиски и часть наковальни в якорь, для чего ему пришлось нанять в помощники себе двух якутских кузнецов. Голые до пояса, дули они в продолжение двух дней в две пары якутских мехов, поддерживая в горне огонь, никогда до того невиданный в Джурджуе. Они бешено колотили молотами по указанию Красусского, обливаясь нещадно потом, и выпили сказочное количество чаю с молоком. «Угощение» и щедрое вознаграждение помирили их с чудачеством «богатого нуччи», который неизвестно зачем изводил «хорошее железо» на «рогатое, никому не нужное чучело»... Между тем, Александров вместе с Яном перетаскал по ночам за реку и спрятал в лесу всё более тяжёлые части и приспособления для лодки, болты для скрепления её боков, заклёпки и винты, оковку для носа, мачту, руль, ящики с готовым уже пеликаном.

Таким образом, беглецы выполнили беспрепятственно добрую половину намеченных дел.

Но их силы, хладнокровие и душевное равновесие таяли в этих предприятиях не по дням, а по часам. Они худели, бледнели, изводились от тревоги, труда и бессонницы. Их сердца, мучимые постоянными переходами от страха к надежде, от отчаяния к уверенности, гнулись и болезненно трепетали при малейшем волнении. Ведь малейший пустяк мог разрушить, уничтожить бесследно все радужные мечтания и непосильные труды.

Не удивительно, что Красусский положительно остолбенел от ужаса, увидев однажды, когда шёл ужинать к товарищам, странный красный блеск в

¹ Also sprach... – (немецк.) Так говорил... – прим. OCR.

окошечке сушильни. Он подбежал к ней, открыл двери и сейчас же с силой захлопнул: дым и пламя клубились внутри избы, точно в печи.

— Пожар! — вскричал он глухо, врываясь в юрту.

— Где?! Что?..

— У вас... в сушильне... Где вода?!

Воды оказалось крайне мало. Здесь, в стране льда, никто не держит запасов воды зимою. Жители привозят воду и держат её дома в виде ледяных глыб, от которых по мере надобности откалываются куски поменьше и перетапливаются в котлах в жидкость.

Ссылные с трудом собрали немного воды, уцелевшей на дне ушата. Гликеберг и Петров немедленно отправились с вёдрами к проруби на скотный водопой, но прорубь эта находилась в полу-версте от города.

— Давайте поскорее полотенца и простыню... Беги, Самуил, на крышу и закрой мешком с песком дымовые трубы в нашей юрте и в сушильне!.. — распорядился Красусский холодеющими губами. Окружающие не понимали, зачем всё это нужно, но исполняли механически его приказания.

Часть воды Красусский вылил в чашку, остальной смочил принесённые холстины и обернулся ими весь, с головы до ног.

— Что вы хотите делать? — спрашивала в ужасе Евгения.

— Войду внутрь... Я читал, что так можно потушить самый сильный пожар... — проговорил Красусский.

Когда после того он открыл дверь, за которой бушевала огненная пучина, Негорский схватил его за руку. Юноша вырвался.

— Прочь!

И раньше, чем товарищи успели ему помешать, он перескочил порог и дверь за собой захлопнул.

— Что случилось? — спросил Самуил, возвращаясь с крыши.

Негорский, молча, указал на дверь, за которой раздавался плеск разливаемой воды и змеиное шипение огня, точно там укротитель дразнил сонмище бешеных чудовищ.

Минуты казались ожидающим часами.

— Довольно!.. Спасайте его!.. Пусть всё провалиться, всё погибнет!.. Не стоит!.. Спасайте!.. — простонала Евгения, опускаясь на землю.

Воронин подскочил к дверям, но опередил его Арканов. Скрипнули петли, и в то же мгновение потухла свеча в руке Негорского, задутая вихрем знойного воздуха. Клубы смолистого, удушливого дыма хлынули наружу. В этом дыме, точно очи умирающих гадюк, сверкали на стенах и потолке красные искры... Продолжалось это мгновение, затем снова кровавое зарево в углу у камина вспыхнуло, и огромные, пламенные языки, перевитые чёрными лентами дыма, выгнулись над головой тёмной, стоящей посередине сушильни, человеческой

фигуры, охватили стены и протянули свои жгучие жала далеко за порог, к ссыльным... Те инстинктивно попятнулись. Красусский приник к земле и пополз к высокому порогу, но пробраться через него уже не мог и только руки протянул наружу. Выше над ним валило пламя и уже лизало косяк и потолок в сенях. Иней, висевший там в изобилии, таял и капал настоящим дождём на головы оторопевших людей. Тогда Арканов прыгнул к дверям и, буквально ныряя в огне, вытащил Красусского. Двери сушильни ссыльные моментально захлопнули и потащили потерявшего сознание товарища в юрту. Евгения с рыданиями целовала обгорелую голову мужа, но тот её мрачно отталкивал прочь.

— Разобрать сени... разобрать сени!.. Где топор!? Всё сгорит!.. — вскричал возбуждённо Арканов.

— Кажется, не нужно! В сушильне темно!.. — заявили Гликсберг и Петров, которые как раз явились с водою.

Самуил и Воронин бросились проверять хорошую весть.

— Земляная обмазка и снег сверху спасли здание! — сказал Негорский.

— Только... ради Бога... не открывать труб и дверей... Наоборот... закройте всё возможно плотнее... Вы чуть не убили меня!.. — говорил Красусский, задыхаясь от страшного кашля.

— Ещё минута, и ты сам бы задохся!.. — объяснил ему Негорский, — Смотри!.. — добавил он, показывая юноше таз, полный слизи, перемешанной с кровью и сажей, только что выброшенной им из горла.

— Совершенно излишняя заботливость... Я собирался уже уходить. Худо вот только, что пальцы у меня, кажется, обожжены, и завтра нельзя будет работать!.. — пробормотал Красусский, и опять страшно закашлялся, точно собирался выплюнуть лёгкие.

XVII.

Прошло несколько дней, в продолжение которых Гликсбергу удалось провести довольно таки нелёгкое дело покупки у командира пуда пороха и пяти пудов свинца.

— Долго я выжидал благоприятного случая, и вот вчера мне сказали, что командир проигрался в пух и прах у Козлова. Отправляюсь к нему... ну, и дело в шляпе! — рассказывал он обрадованным товарищам.

— И командир не удивлялся, зачем нам надо так много?..

— Как не удивлялся! Спрашивал, но я сказал ему, что это... для американцев!

— Опять!.. Ведь я уже просил вас, чтобы вы их больше в наши дела не путали! Это, наконец, нехорошо!.. — сердился Самушгь.

— Да успокойся! В последний раз!.. Сам посуди, разве мог Гликсберг выдумать что-нибудь лучше?! — успокаивал его Негорский.

— Вдобавок, нет ни малейшей опасности. Командир никогда не сознаётся, что это он продал нам порох, и мы тоже никому не скажем, что у него купили... — справедливо объяснял Гликсберг.

— Не в опасности дело, а в том, что всё это очень похоже на гнусный обман. Этого не оправдывает никакая цель!.. — вмешался Арканов, подымая от работы свою обожжённую, облепленную пластырями голову.

Гликсберг взглянул на него недружелюбно.

— Постоянная критика, постоянные нападки! Почему же вы сами не взялись сделать это благороднее?!

Арканов не ответил. Взгляд его мимоходом встретился с пронизательным, упорным взглядом Красусского и одно мгновение боролся с ним.

— Чорт возьми!.. Тоже критик... — ворчал обиженный Гликсберг.

— Принеси всё в жертву на алтарь твоей милой Америки! — шутливо поучал Петров своего друга. — А теперь принимайся за нож и режь мясо!.. Твоя очередь!

— А. что поделявает Мусья? Вы, Гликсберг, давненько ничего о нём не рассказывали! — весело сказала Евгения.

— Ах, этот Мусья! Сидит и дни считает!.. Он вообразил себе, что, так как отсидел уже месяц, то, значит, заработал половину пари, и требует, чтобы я ему выдал часть денег. Насилу удалось мне убедить его, что пари нельзя расчленять, и что он не только ничего не получит, но даже проиграет свой взнос, если не досидит хотя бы один день. Тогда он, представьте себе, что мне устроил. Возвращаюсь я вчера вечером от вас и слышу удивительный шум у меня в доме: не то кто-то колотит в большой барабан, не то коня гоняет в закрытом помещении. Якуты-соседи повыходили из юрт и тоже с тревогой прислушиваются. «Что такое?» спрашиваю. «Это у вас!» отвечают. Открываю двери — и что же вижу? Мусья, весь красный, вспотевший, с растрёпанными волосами, стоит посередине комнаты с хлебной лопатой в объятиях. На лопату надета моя старая блуза, внутрь блузы напихано тряпьё на подобие груди, снизу подоткнута простыня в виде юбки. «Мусья, что всё это значит?» спрашиваю. Он не слышит, всё носится, пляшет, как безумный... Наконец, заметил меня, остановился, рассмеялся. «Скучно!.. Я требую моцион!..» Точно дитя!.. Жаль мне стало чудака, но разве можно его отпустить?..

— Ни в каком случае! В городе уже от него отвыкли. Станет опять бегать и непременно подведёт нас... Пусть ещё немного пострадает!.. — согласились присутствующие.

Красусский, который собирался уходить, толкнул незаметно Негорского в плечо и глазами указал ему значительно на двери. Негорский кивнул головой,

сказал товарищам, что ему необходимо побывать в мастерской, и вышел следом.

— Что такое опять случилось?.. Такое у тебя лицо, как будто ты собираешься убить кого-нибудь?!. — спросил он стремительно Красусского, когда они достаточно удалились от юрты.

— Я хотел раньше ничего не говорить, но... нельзя!.. Я не в праве...

— Да говори поскорее: что такое?.. Не цеди слово за словом!..

— Подожди!.. Ответь мне раньше на несколько вопросов. Не знаешь ли ты: кто до пожара был последним в сушильне?

В глазах Негорского проскочила неприятная искра.

— Не знаю!.. — ответил он медленно и после долгого раздумья, точно пугаясь собственных слов.

— Последним дежурил по сушке мяса... Воронин!

— Догадайся, что я нашёл, когда чистил сушильню от гари?!. Я нашёл на земле... обуглившуюся тряпку...

— Так что же?!. Она могла с тебя сорваться.

— Нет!.. Это... след... поджога!

Негорский вздрогнул.

— Что ты!.. Что ты!.. Подумай, чудак, что ты говоришь! Возможно, что Воронин или кто-нибудь другой по... неосторожности... Откуда сейчас... поджог... С этим не шутят!..

— Я уверен, что был поджог. Я отыскал на проволоке пригоревшую частицу этой тряпки... Я не ошибаюсь, я всё осмотрел очень внимательно. Тряпка была подвешена у отдушины, откуда бьёт такой жар, что мы там даже мяса не вешали: оно жарилось... Пойдём в мастерскую, я тебе покажу тряпку... Она к тому же была чем-то смазана.

Осмотрев тщательно проволоку с частицей, приставшей к ней ткани, взволнованный Негорский долго молчал. По его подвижному лицу проплыла только тёмная, беспокойная тень мрачного и болезненного подозрения.

— Это не мог сделать Воронин!.. — говорил Красусский. — У него даже такой тряпки не нашлось бы... Это какая-то толстая бумажная ткань с подмесью шерсти... Заметь, как она съёжилась местами и запеклась... Я ручаюсь, что это не Воронин... Это тонко обдуманый план...

— Довольно, милый, довольно!.. Не называй, никого не называй... Этого нельзя вернуть... Между тем, от расследования ничто не изменится, не исправится!.. — нетерпеливо остановил товарища Негорский.

Красусский взглянул на него удивлённо.

— Напротив. Я скажу... я обязан сказать!.. Наглость этого человека переходит всякие границы.. Он ещё сегодня поучал других добродетелям!..

— Остановись, остановись!.. — вскричал Негорский, а когда Красусский замолк, он поднял на него свои грустные чёрные глаза и заговорил мягко, тихо, но решительно:

— Милый мой, неужели ты намерен теперь поднимать суды да розыски?.. Зачем тебе виновные? Мы все виновны, что это случилось. Наказание во всём мире не стоит ломаного гроша, если оно не в силах устранить причины зла.. Подумай: обнаружение преступления, а тем более указание на его виновника рассорит, разъединит нас в конец!.. Таким образом, оно создаст ещё одно лишнее препятствие для нас, а и без того их у нас много... Разве ты можешь угадать, к чему поведёт такое расследование? Неизвестно, кто тогда поедет, кто останется?

Красусский беспокожно задвигался и отвернул лицо от света.

— Кто это сделал, теперь решительно всё равно! Возможно, что именно преступник, вырванный нашими руками из ада изгнания, опять сделается... прежним... борцом за дорогие нам стремления и сторицею отплатит нам за то, что мы в своё время пощадили его...

— Ну, этого он никогда не сделает. Значит, ты думаешь, что... лучше жить с подозрением в душе?

— Нисколько! Я советую самое подозрение поскорее выбросить из души!

— А я советую тебе, во всяком случае... сушильню запирать на замок!

— Прекрасно. Я согласен, хотя уверен, что теперь это совершенно лишнее... Таких попыток два раза под ряд не делают...

Насупленные брови друзей опять разгладились, и они взглянули друг другу в глаза открыто и сердечно.

— Славный ты парень, Стах! — сказал Негорский, хватая друга за руку. — Ты и душою, и телом здоров, но... страшный ещё ребёнок! Оставайся таким возможно дольше. Сердись, если без этого обойтись не можешь, но гнев прячь в глубине души... Берегись ненависти и зависти. Обе эти страсти ничтожны и бесплодны!..

Он ещё раз обнял товарища и ушёл. Раньше, чем приняться опять за работу, Красусский долго размышлял о странном направлении, какое приняло дело.

— Негорский прав. Я был подл!.. — решил он после строгого допроса, сделанного им своей совестью. — В сущности, я обрадовался его падению, но... это больше... не повторится!

Мистер Морлей давно покинул Джурджуй. Вместо него появились в городе другие иностранцы, корреспонденты и репортёры английских и европейских газет. Большинство их было до того малообразовано, невоспитано и несимпатично, что политические ссыльные сторонились их и не подпускали к себе.

За то джурджуйские обыватели не на шутку восхищены были этими новыми образцами европейской культуры. Репортёры охотно с ними пили, охотно сплетничали, рассказывали и слушали глупые анекдоты и танцевали на вечеринках с джурджуйскими дамами.

«Вечеринки» с водкой, попойками и картами неизменно участились и достигли неслыханных до того размеров, продолжаясь буквально «денно и ночью». В результате после отъезда заморских гостей отцу Акакию всюду мерещились «зелёные черти», а доктор и вслед за ним фельдшер Федоркин умерли скоростижно от удара. И опять спасительный страх пал на джурджуйцев.

* * *

Помощник исправника, признанный уже выразитель и защитник местного общественного мнения, скромно вошёл в гостиную исправника. После обычных поздравлений, расспросов о здоровье и покашливаний, он приступил к делу.

— Я хотел обратить ваше внимание на тревожные слухи, которые ходят среди жителей Джурджуя, и о которых вы, по причине долгого отсутствия и занятия важными делами американцев, узнать, вероятно, не успели. Две кончины — доктора и фельдшера, до того непостижимо наступившие одна за другой, кажутся всем делом подозрительным и опасным. К тому же, некому сделать вскрытие и составить протокол. Разные люди говорят разное; есть такие, которые утверждают, что смерть эта... не была... добровольна и законна. Что сделать в таком случае? Похоронить ли тела, или положить в погреб и донести обо всём губернатору? Тем более, что при случае можно бы произвести дознание и о причине самоубийства Черевина, которое случилось, говорят, от несчастной любви... А тогда следовало бы удержать паспорт... докторши на выезд...

Исправник, который, слушая доклад, расхаживал широкими шагами по комнате, вдруг остановился и окинул докладчика внимательным взглядом.

— Впрочем... я ничего... от себя не предлагаю! — отнекивался тот смущённо. — Относительно докторши, наоборот, думаю, что следовало бы ей, как даме, возможно облегчить немедленный выезд, дабы она могла ещё воспользоваться зимним путём до распутицы... Но, с другой стороны, по долгу службы считаю нужным доложить вам, что доктор пил слишком неумеренно в последнее время и, даже неизвестно, откуда доставал водку, так как Варлаам Варлаамович, а также и Таз, согласно утверждают, что у них он её не покупал... Между тем, у политических по ночам заметен постоянно какой-то дым и пар, и носят они тайком по городу какие-то большие жестянки, а Красусский прячет в кузнице непонятные изделия... Не следует ли полагать, что они занимаются

запрещённой перегонкой спирта из оленьего мха, о чём я прочёл недавно в газетах, что она вполне мыслима и даже существует в Архангельской губернии. Тем более, что, по показаниям свидетелей, Мусья, ежедневно пьяный, пляшет с лопатой, переодетой за женщину, хотя водки нигде не покупает, как это доподлинно установлено тайным надзором, и даже из дому не отлучается, что тоже крайне странно. В виду этого не следовало ли бы устроить неожиданный обыск у ссыльных?..

Исправник опять остановился.

— Послушайте! — заговорил он сухо и резко. Хотя меня и не было, но всё это я уже знаю, мне докладывали. Доктор получал водку от Козлова. А ваш друг Козлов затем доставлял ему водку, чтобы безнаказаннее и беспрепятственнее хозяйничать в больнице. Мусья может плясать с кем ему вздумается и пить тоже в праве, что и где захочет. Что же касается обыска у политических, так с большим удовольствием: произведите его хоть сейчас. Все десять казаков и все десять испорченных ружей в вашем распоряжении, вооружайтесь и двигайтесь!.. Прекрасно!.. Я буду очень рад... вашему успеху!

— Как раз перед вашим приездом я обратил рапортом внимание высших властей на недостаточность вооружённой силы в Джурджуе! — заметил сладенько помощник.

— Я полагаю, что политические не останутся у вас в долгу. Когда их уведомят о вашем доносе из губернии...

— Кто их может уведомить?.. Впрочем, я знаю, что я ненавижу достаточно врагами престола, церкви и отечества!.. — смиренно вздохнул помощник. Исправник не сводил с него насмешливого взгляда.

— За это получите, наверно, повышение, награду, возможно, даже — орден!.. Прошу вас только об одном: совершите все ваши замыслы уже после моего выезда!.. Я хочу, чтобы при мне всё оставалось по старому...

— Как: вы уезжаете? — воскликнул помощник с нескрываемым изумлением.

— Да, уезжаю и, кажется, надолго. Я подал прошение о переводе на вакантную должность вилюйского исправника.

— Жаль, очень жаль, что вы нас оставляете!

Помощник поклонился, горячо пожал протянутую руку начальника и ушёл, сияющий. Честолюбивые мечты казались так близки к осуществлению!

XVIII.

Ссылным казалось, что погода положительно в заговоре с полицией против них. Конца не видно было зиме. Чуть солнце пригревало немного землю и пообмякали на ней снеговые покровы, как опять холодный ветер пригонял с севера новые табуны серых туч, сбрасывал с них вороха снежинок и задувал,

заметал их пухом все дыры и провалы, причинённые весенней теплотой. Снова белели леса, каменели льды, умолкали всякие звуки, замирало движение... Пронзительный ветер снова хозяйничал кругом, с воем пролетая над лугами и лесами, как бы разыскивая своего весеннего врага. И только все следы его уничтожив и заморозив, он ложился на студёных как сам, пустынях и засыпал. Тогда вновь на затуманенном горизонте являлось солнце. Согретые им, освобождённые от лишнего снега, облака поднимались вверх и таяли в синеве неба, или улетали с воздушными течениями на край земли, чтобы исчезнуть бесследно за высокими поднебесными вершинами...

И опять потоки тепла и золотого света омывали мощным водопадом застывшую землю, врывались в запертые скалами ущелья, просачивались до самого дна дремучей тайги, ласкали крутые бока гор, стучали в рыжую кору деревьев, пробуждая их уснувшие души. А впереди всего, точно небесные разведчики, неслись влажные, мягкие дуновения, похожие на любовное дыхание, стремясь сбросить поскорее с лесов давящие их ветви инея, стремясь заменить их синие, неподвижные зимние тени на краски светлые, тёплые и беспокойные. С каждым днём всё сильнее чувствовалась весна, расплётённая, развеянная в воздухе... Тоскующая по ней страна манила её блеском алмазных капель, сочившихся из всех нависших ветвей, звала смолистым запахом просыпавшегося леса, шепталась с ней прерывистым журчанием начинавшей кой-где сочиться воды. Но, спугнутая несколько раз, весна приближалась медленно, робко, недоверчиво. Она всё как будто к чему-то прислушивалась, всё опасалась, что вот-вот опять заревёт ледяная вьюга и порвёт в куски её воздушные, лучезарные ткани.

Туземцы предсказывали позднюю, дружную весну и обильную «воду».

— Прекрасно! Этого только нам и нужно! — говорили беглецы, потирая руки.

Обстоятельства складывались для них самым благоприятным образом. Солнце делало своё дело. Обмякшие снега таяли; на озёрах и реках образовались в углублениях синие подтёки, дорогу перерезали зажоры и рытвины. Исправник, не дожидаясь приезда своего заместителя, спасаясь от ужасов путешествия верхом в распутицу, сдал управление краем помощнику и уехал вместе с докторшей, немного ещё бледной и грустной, но ещё более интересной и красивой.

Помощник, крайне разобиженный тем, что не его назначили исправником, потерял совершенно прежнюю служебную ревность, отсиживал добросовестно свои часы в полиции, но больше ничем не интересовался, много спал и охотно играл в карты.

Казачки тоже с азартом играли в карты и очень вяло исполняли свои обязанности, пользуясь междуцарствием. Они собирались большими толпами

у Таза в кабаке или в известном игорном доме у Желтухи; там можно было найти даже караульных. Одетое в тулуп чучело исполняло должность защитника отечества.

Беглецы могли бы увезти с собой пол-города. И они оставили в городе из своих вещей только самые ненужные им предметы: постели, посуду, платье...

Когда новый исправник по полуобтаявшей дороге притащился, наконец, в Джурджуй, жизнь ссыльных проходила по наружности спокойнее, чем когда либо. Исчезли дым и пар, пугавшие раньше правоверных джурджуйских патриотов, исчезли жестянки «непонятных размеров». Красусский в мастерской уже выделывал и починял самые обыкновенные предметы. Вставали и ложились спать ссыльные тоже своевременно, вместе с остальными жителями. От прежних странностей осталась только глухая легенда... А что ссыльные шили теперь поспешно бельё и одежду, так это было вполне естественно у таких, как они, оборванцев.

Новый исправник приехал с женой, матерью, слугою и племянником жены, который немедленно был зачислен в полицейские писаря, что считалось в Джурджуе видным уже чином. Это был весёлый молодой человек, с голубыми глазами, с пробором на голове, с шикарно подвязанным шёлковым платочком на шее, вместо галстука, и с небольшими подкрученными усиками, под вздёрнутым носом. У часовой цепочки он носил охапку звонких брелоков, на пальцах перстни и кольца. Он умел немного петь, немного играть на скрипке, от бутылки водки не уклонялся, хотя и не особенно искал её, в карты тоже поигрывал, но без азарта. Всякому умел сказать что-нибудь приятное или оказать маленькую услугу. Понятно, что он всем чрезвычайно понравился.

— О-о! Этот далеко пойдёт!.. Многообещающий, талантливый молодой человек!.. — отозвался о нём отец Акакий.

Козлов не скрывал, что охотно сосватал бы за него свою красавицу-дочь Масютару.

Денисов, осушив вместе с ним пару «очищенных», откровенно сознался, ударяя его по плечу:

— Люблю тебя, мерзавец, люблю, как американца, хотя и подозреваю, что учительша ради тебя... отставила меня!.. Но чего-чего человек не перенесёт для друга... чорт тебя возьми!.. Давай, лобызнёмся!..

Только помощник исправника продолжал дуться на приезжих, перестал посещать общество, засел дома и обратился к Красусскому с предложением преподавать ему, помощнику, несколько уроков... минералогии.

— Я переменяю план жизни. Вместо того, чтобы тратить время на пустую болтовню, на бессознательное пьянство или лакейские подслуживания, я направлю свои способности к наукам. Я сделаюсь горным исправником на золотых приисках. Там есть возможность сделать много хорошего, защищая

бедных тружеников от негуманной эксплуатации миллионщиков... — исповедовался он Красусскому.

Тот похвалил его намерения, но отказал ему в своей помощи, отговорившись недостатком времени и приближением весенней починки джурджуйских ружей. Он советовал помощнику отложить «курсы» до зимы, а чтобы утешить его, хитро всунул чиновному-мизантропу старое руководство по кристаллографии, подарил ему горсть минералов и «не совсем ещё испорченный прибор для определения поляризации, чем бесконечно пленил помощника.

И вот, но городу молнией пронеслась весть, что помощника назначили горным исправником на витимских приисках, что сразу подняло упавший было авторитет «маленького тоёна». Как ни как, хотя прииски находились и далеко от Джурджуя, но все хорошо знали, что там можно нажать немалые деньги. С тех пор исправник перестал скрывать, что рассчитывает на вакансию после помощника для своего племянника, и никто из прежних друзей помощника ничего против этого не имел.

Люди везде и всегда в равной мере неблагодарны.

Случилось, наконец, что весна, как будто рассерженная долгим сопротивлением зимы, налетела неожиданным могучим шквалом и жарким дыханием в миг порвала в лохмотья и отбросила прочь саван обветшавших докучных снегов. Вчера ещё грязно-белая, вся измызганная, некрасивая долина вдруг открыла, в венке ещё снежных гор, своё смеющееся весеннее лицо и грудь, блестящую от влаги, дымящуюся от тёплых туманов. И была она похожа на молодую цыганку, застигнутую ранним, росистым утром на ложе из жёлтых трав, из сухих осенних листьев и рыжей хвои. Чёрные чащи лесов, точно пряди густых волос, обвили кругом её членов, и струи живой воды сверкали и шумели везде, будто серебряные украшения на груди и руках наряжающейся красавицы.

А над долиной неслись со свистом и криком бесконечные караваны перелётных птиц.

Для беглецов опять настали дни лихорадочной работы и тревог.

Все ушли за реку, где Воронин вместе с Самуилом. должны были жечь уголь, запас которого, по недостатку средств, вопреки советам американцев, пришлось взять на топливо для варки пищи, вместо спирта. Другие работали на постройке шлюпки, приготавливая всё для быстрого, окончательного её складывания. Они решили начать склёпку и спайку лодки с первым грохотом вскрывающихся на реке льдов. Когда это должно было случиться, никто точно не знал и не мог даже предсказать: может быть, через день или два, а может быть, и через неделю. Река всё ещё спала зимним сном в своём глубоком ложе под хрустальным, саженой толщины сводом. Правда, торжествующая наверху

весна неустанно сбрасывала. в неё бесчисленные водопады пенящейся воды; правда, солнце уже пробуравило в её голубых льдах бесчисленные отверстия, а быстрые потоки повыели у берегов глубокие зажоры, — и, тем не менее, можно было всё ещё безопасно перебраться на тот берег по ледяному полотну реки. Беглецы с тревогой следили за каждой фигурой, появлявшейся на этом мосту.

Ежедневно один них отправлялся в город, чтобы потолкаться на глазах полиции, собрать кой-какие сведения, слухи и перетащить за реку часть оставшихся вещей.

В городе оставались безвыходно только Красусский, Аркановы да Мусья. На их обязанности лежало следить за жителями Джурджуя и покрывать отсутствие товарищей. Мусья, который до последнего момента ничего не знал, был вызван за реку под предлогом охоты.

— А не ловушка это? Сознаться: вы желаете лишить меня моего выигрыша!.. — сопротивлялся француз.

— Да нет же! Уверяю вас!.. Я согласен, что вы выиграли, хотя срок и не настал ещё. Вы доказали, что обладаете огромной силой воли... Что значат эти несколько оставшихся дней в сравнении с тем, что вы совершили!? — успокаивал его Гликсберг.

Он долго, тщетно доказывал необходимость поездки «а реку». Мусья посматривал на него всё подозрительнее и, наконец, потребовал немедленной выдачи денег, или.... он шагу не ступит за порог!

— Деньги у Самуила, а тот за рекой!

— Так я уж лучше подожду его возвращения!

Гликсберг, в отчаянии, побежал к Евгении.

— Повлияйте вы, пожалуйста, на этого дурака, уговорите его! Он готов остаться в городе, а затем станет бегать по нашим квартирам и выдаст нас!

С большим трудом удалось Евгении убедить Мусью, что он необходим Гликсбергу для переноски вещей, нужных товарищам для охоты на Бурунуке.

— Почему же он сразу этого не сказал? Всегда хотят меня взять обманом. Конечно, я пойду, раз вы это говорите, но пусть Гликсберг выдаст расписку, что я выиграл...

Ему была торжественно выдана требуемая расписка, под которой расписались для верности все присутствующие, и даже Красусский; тогда только Мусья тронулся в путь, взвалив тяжёлую ношу на спину.

Когда за рекой он узнал, в чём дело, и когда его повели к остову шлюпки, стоявшему на катках в кустах укромного заливчика, Мусья буквально остолбенел.

— Вот какое пари! — пробормотал он, наконец. — А как мы такую большую лодку перетащим через Джурджуйский хребет?

— Да ведь, Мусья, мы не на, юг поплывём, а на север!

— На север!.. — повторил француз разочарованно и задумался многозначительно.

Чтобы уяснить ему план путешествия, товарищам пришлось развернуть карту и прочесть краткую лекцию по географии.

— Всё это хорошо, а только Джурджуем нельзя прямо в море попасть. Туземцы мне рассказывали, что на нём есть водоворот с воронкой, которая всё втягивает во внутрь земли... Поэтому-то по Джурджую никогда не плавают туземцы, ни якуты, ни руссы!..

— Совсем это не водоворот, а пороги... Мы слыхали о них, но знаем, что вода закрывает в весеннее половодье скалы, и пороги тогда можно проплыть безопасно...

Мусья выпятил губы. Товарищи глядели на него с беспокойством, так как не знали, как поступить с ним, если он откажется от побега.

— А madame Арканова поедет? — спросил Мусья после продолжительного раздумья.

— Конечно... все!..

— Так!.. Ну, если все, то и я... хоть на смерть! — согласился он, наконец. — Но куда денется тогда моя корова?

— Какая корова?

— Да та, которую я нанял на лето!.. Якут обещал привести её через несколько дней.

— Вот так устроил ты нас, Мусья!.. Станут теперь искать нас по этому случаю!.. Какой это якут? Нельзя ли уведомить его, что корова не нужна к сроку или отказать совсем?.. — спрашивали его озабоченно.

Оказалось, якут жил где-то далеко, и Мусья даже толком не знал его фамилии.

— Я хорошо хотел, я хотел, чтобы все эти выигранные деньги вернулись вам, потому что мы все кушали бы молоко!.. — объяснял француз.

— А я вам говорю, что надо глаз с него не спускать!.. — советовал Ян. — Помните, я вам рассказывал историю о немце Шмидте... Так вот!.. Лучше всего вывести его вёрст за двести и высадить на берег!..

— Что вы, что вы, пан Ян! Раз мы тронемся отсюда, увидите, как переменится Мусья! Он будет отличным гребцом!.. — защищал Гликсберг своего питомца.

Ян качал головой и не уступал, пока не назначили за Мусьей досмотрщика. Таким образом, рабочих рук даже убавилось, так как Мусья почти что ничем не занимался, а только шнырял по кустам и постоянно куда-то исчезал.

Собственно говоря, над постройкой шлюпки работала, не покладая рук, всё та же пара плотников: Ян да Александров. Петров и Гликсберг посменно караулили над рекой, присматривали за Мусьей, готовили обеды, завтраки и

ужины, прибирали постели, чистили посуду и проч.; беглецы не только всё время проводили над рекой, но и спали там же в кустах, опасаясь возбудить своим пребыванием в доме Яна подозрительность его жены, и так уже сильно обеспокоенной непонятным занятием мужа.

На низменной речной отмели было сыро и по ночам холодно. Беглецы не доедали и не высыпались; малейшая тревога вызывала в них такое болезненное и сильное волнение, что под конец у них была одна только мысль, одна молитва:

— Ах, когда же, когда, наконец?!. Лишь бы поскорее, лишь бы поскорее!.. Неужели вечно будет спать это ледяное чудовище?!

Красусский переживал в городе приблизительно те же чувства. Но у него, вдобавок, были свои личные страдания, которые временами переходили в пытку. Со времени пожара он не в силах был никакими рассуждениями уничтожить в себе инстинктивного отвращения и недоверия к Арканову. Он был относительно спокоен только тогда, когда имел неприятеля на глазах, когда занимался вместе с ним. Поэтому он постоянно изобретал самые разнообразные причины, чтобы удержать Арканова в мастерской. То он просил его раздувать мехи, то придерживать разнообразные длинные предметы, во время их обработки...

Арканов без труда подметил, что Красусский по большей части мог бы обходиться без него; он приписывал эти приглашения совсем другим причинам, но не смел отказываться. Он просто напросто боялся этого молчаливого человека со смелыми, сильными движениями и пронзительным взглядом. Его пугал стальной холод, который он проявлял в обращении с ним. Они проводили вместе дни, вместе ели и пили, сохраняя изысканную вежливость в обращении и обмениваясь лишь краткими, малозначащими фразами. Это очень огорчало Евгению, и она, чтобы их сблизить и развлечь, ежедневно уводила с собою гулять на реку. Они шли через пахучие леса и кусты, уже покрывшиеся первым нежно-зелёным весенним пухом; они шли по лугам, где среди порыжелых, сухих трав уже прозябала молодая травка и где расцветали анемоны; они гуськом пробирались по обсохшим тропочкам мимо мелких болотцев и калтусов¹, где весело плескались, крикая, утки, куда залетали даже лебеди и где не раз ночевали уставшие в пути гуси. Со всех сторон неслись к ним звуки, запахи, тепло и опьянение жизнью... Только в глубоком речном ущелье у обрывистых берегов спал ещё исполинский ледяной змей, тысячевёрстный хвост которого терялся в подоблачных горах, а голова утопала далеко в морской пучине. Красное зарево продолжительной весенней зари окрашивало многоцветными огнями тёмные бока речной ложбины и придавало синий оттенок потрескавшемуся, разлагающемуся, как

¹ Калтус - сиб., топь, болото – прим. OCR.

труп, и, как труп, холодному телу этого змея. Он лежал, неподвижный, громадный, подмытый с боков быстрыми струями. Только изредка от краёв его откалывались пучки длинных ледяных игл и с сухим стеклянным звоном погружались в быстрины зажор. Великан, казалось, насмеялся и над усилиями солнца, и над работой тёплых вод долины.

— Это может продолжиться бесконечно долго. А не было ли примеров, чтобы льды совсем не сплыли? — спрашивала беспокойно Евгения.

— У них только такой грозный вид, а в сущности они могут тронуться через час. Достаточно, чтобы верхняя вода нашла достаточно отверстий, проникла вниз и собралась там в количестве, необходимом для их поднятия... Лёд, уже потрескавшийся от зимних морозов на мелкие части, мягок и рыхл, точно каша!.. Без работы морозов, право, не знаю, справилось ли бы солнце с здешними гранитными льдами. Ведь нарастает его за зиму с лишком сажень. Удивительно также то обстоятельство, что толщина его не зависит от большей или меньшей жестокости зимы, она всегда одинакова!

— Слышишь, Артемий?! Это действительно странно, — обратилась Евгения к мужу.

Тот обыкновенно молчал, охваченный гневным волнением. Он замечал, что яшмовые глаза Красусского, обращаясь к «другим», умеют блестеть, точно звёзды, а голос звучать нежной лаской. Он всякий раз зарекался, что не пойдёт больше на эти свидания «молокососа» с собственной его женой, на которые они «сманивали» его исключительно ради приличия... Тем не менее на следующий день он опять шёл, из опасения, что они пойдут одни.

— Ах, если-б мы, наконец, тронулись, что ли? — мрачно размышлял он.

И раз, когда они вечером опять пришли на реку, они заметили, что льды уже всплыли. По обеим сторонам их быстро неслись широкие ленты живой воды, колебавшиеся от напряжённого бега.

— Сообщение с тем берегом прервано. Уже теперь почти-что нельзя нам помешать. Через несколько дней и мы тронемся! — сказал Красусский.

— Слушайте, слушайте: кажется, наши уют! — вскричала в волнении Евгения.

Они напряжённо прислушались, но ничего не услышали, кроме рокотания воды и гоготания далеко кочующих гусей.

— Ну, нет! Нас прекрасно могут ещё тысячу раз поймать. Достаточно им поставить лодку с вооружёнными казаками пониже в нескольких верстах. Кто знает, может быть, они позволяют нам умышленно довести дело до конца, чтобы раз навсегда порешить с нами!.. — заметил глухо Арканов.

Красусский вздрогнул.

— Ты шутишь, Артя!.. Они ничего не подозревают,.. Они все увлечены охотой... Я постоянно слышу пальбу!.. — смягчила Евгения замечание мужа.

— Не так уж они просты, как мы полагаем...

— В той стороне никто не охотится. Там нет перелёта!.. — сухо ответил Красусский.

Они вернулись домой, омрачённые и встревоженные. Красусский несколько раз ночью вскакивал и выглядывал в окно, не идут ли казаки.

Когда на следующий день Арканов не явился в мастерскую, Красусский, несмотря на недосуг, не утерпел и собирался уже сходить узнать, в чём дело, когда увидел в открытых дверях Евгению.

— У мужа голова болит, он не придёт. Не могу ли я пособить вам, вместо него? — спросила она весело.

Красусский побледнел.

— И... он... вас... отпустил?.. Он знает, что... вы здесь?.. — спросил тихо юноша.

Он был так смущён, что Евгения сама вся зарделась.

— Нет! — ответила она. — Я пришла сама. Я знаю, что вы куёте медный рефлектор к нашей спиртовой кухне, и что этого нельзя делать без посторонней помощи... Поэтому я и пришла... Я уже затопила огонь у Александрова и Петрова... Смотрите, как оттуда валит дым; можно подумать, что они готовят званый обед! — закончила она уже весело и свободно.

Красусский, как будто, не слушал её; взгляд его бежал далеко сквозь открытое окно к квартире Аркановых. Там на крыльце стоял Арканов.

— Прошу вас... Вы не спрашивайте, не раздумывайте... Умоляю вас... Бегите и не... оставляйте мужа ни на шаг!

Голос его при этом до того переменялся, столько в нём звучало неподдельной тревоги, что перепуганная женщина стремительно выскочила вон и во весь дух понеслась обратно домой. Она вбежала туда, задыхаясь, с широко раскрытыми от испуга глазами, и, заметив, что муж лежит спокойно на кровати, опёрлась о косяк дверей с рукой на сердце.

— Что с тобою?

— Ах, Артя... скажи: ты был... с оружием на крыльце?

— Зачем?.. А ты где была?!

— В мастерской.

— Та-а-ак!

Он присел на краю кровати и мрачно взглянул на неё.

— Что же?.. Он просит, чтобы я пришёл?.. — пробормотал он с неприятной улыбкой.

— ... Просит, чтобы ты пришёл?.. — переспросила она со странной, произвольной дрожью.

Он не спускал с неё пронизывающего взгляда.

— А что бы ты сказала, если бы я... так, вдруг... пустил ему в лоб... пулю!

— Не за что, Артя... Бог свидетель!

— Не клянись!.. Если-б дело дошло до клятв, он бы уже не жил!.. Здесь, понятно, я ему башки не разобью, но в Америке... кто знает...

Он зашагал широко по комнате. Евгения присматривалась к нему напряжённо, как к странному прохожему, которого знала раньше и опять силилась узнать. И вдруг жалость пронзила ей сердце. Она подошла к мужу и, обливаясь слезами, стала на колени на его дороге. Он оттолкнул её.

— Довольно!.. Прошу не разыгрывать больше ненужных комедий!

Он нахлобучил шапку на голову и отправился в мастерскую. А она всё время бежала рядом, стараясь поспеть за ним, и заглядывала ему в лицо с немым вопросом и мольбой.

XIX.

С тех пор Арканов совершенно изменился. Он стал весел, разговорчив, внимателен и уступчив. Он видимо силился расположить к себе даже Красусского. А жену ещё в тот же вечер трогательно умолял о прощении, на коленях ползая у её ног и повторяя со слезами:

— Увези меня отсюда, увези, Женя! Бежим!.. Ты не знаешь, ты представить себе не в состоянии, что со мной происходит!.. Я с ужасом слежу за собою, как за каким-то посторонним человеком, который поселился в моей душе и делает всё, чтобы погубить меня... Бежим отсюда!.. Там, на воле, вернётся ко мне и спокойствие, и доброжелательность к окружающим... Там открыты тысячи путей для труда... Там нет необходимости лгать себе и другим! Иго рабства и вынужденной праздности ужасней всего!..

— Да, Артя, — повторяла она, поглаживая его волосы, — ужасно иго рабства!..

Казалось, что именно с той несчастной ночи счастье и мир опять прочно вернулись в их измученные сердца. И хотя в городе происходило какое-то подозрительное движение, напоминавшее о внешних опасностях, — они были веселы, как никогда. Евгению огорчали только подозрения, высказанные Красусским относительно её мужа, а также холодность, с какой юноша принимал теперешние ухаживания Арканова. Она дулась на молодого поляка и не скрывала этого, а последний становился от этого ещё подозрительнее и суше по отношению к ним обоим.

Он с крайним нетерпением прислушивался, не трогаются ли льды на реке, и когда, наконец, покатился глухой гул по долине и стали греметь один за другим мощные раскаты, похожие на пушечные выстрелы, невероятная радость охватила его душу. Вежливо, почти дружески поздоровался он с Аркановым и сказал ему, что больше не будет утруждать его, так как ему

нужно лишь окончить прибор для измерения скорости хода лодки, с чем он и сам может справиться.

— Поведите Евгению Ивановну на реку. Вскрытие Джурджуя — великолепнейшее зрелище в своём роде!.. — советовал он Арканову.

Супруги были теперь неразлучны, что успокоительно действовало на Красусского, который так боялся одиночества Арканова и его неожиданных поступков.

Он повеселел и, насвистывая какой-то беззаботный мотив, подвязывал суконный мешочек к небольшому ободку морского прибора. Весна, тепло, солнечный свет, дуновения ветра, разнообразные голоса, врывающиеся через открытые настежь окна мастерской, настраивали его радостно и бодро. К тому же, сквозь грохот ломавшихся на реке льдов, сквозь шум ветра и гомон пролетающих птиц, его опытное ухо охотника и кузнеца улавливало с самого утра тихий, мерный и частый стук молотков, заклепывавших за рекою болты. Это работали товарищи, и с каждым ударом Красусский чувствовал ближе и ближе родину и волю, с каждым ударом лопалось одно из звеньев рабских оков!..

Ночью он не мог заснуть, так как в наступившей тишине природы постукивания молотков звучали до того ясно, что можно было опасаться, что и другие горожане обратят на них внимание. Он отправился на реку, к тому месту, где была спрятана на всякий случай крохотная душегубка, и подумывал о том, как бы перебраться на тот берег и предостеречь товарищей. Но он сообразил, что раньше, чем достигнет того берега, взойдёт солнце, поплывут воды, загремят льды, задержанные ночным холодом, и в грохоте их и гомоне жизни потонет голос освободительного труда. Теперь же в городе все спали... Успокоенный, он вернулся домой, лёг спать и крепко уснул.

И снилось ему, что он в Польше...

Вдруг кто-то крепко дёрнул его за плечо.

Красусский открыл глаза. Струи солнечного света заливали мастерскую и крохотную спальню Красусского.

Над ним стоял Арканов.

— Несчастье!.. — сказал он мрачно. — Джурджуйцы устраивают пикник, как раз, напротив Бурунука на берегу реки!

Красусский вскочил, не понимая ещё, в чём дело, но одновременно с отдалённым гудением льдин на реке, с говором городской жизни и быстрым, отрывистым, тихим, но несмолкаемым стуком работающих вдали товарищей в сознание его мгновенно проникло представление о предстоящей опасности.

— Что же мы предпримем? — спросил Арканов.

Красусский взглянул ему в лицо. Печаль и озабоченность Арканова показали ему напускными; он уловил где-то на дне зрачков товарища, в

углах сжатых губ скрытую, подавленную радость. Поэтому он поспешно одевался, не отвечая ни слова. На улице он тотчас же наткнулся на целую вереницу джурджуйских граждан, направлявшихся мимо полиции в сторону Бурунукского залива. Он узнал зелёное платье попадьи, помидорного цвета костюм Козловой, фиолеты Варлаамовой, заметил шестовидную фигуру «madame Angot» и молодецкую поступь Денисова. За последним шла гурьбою джурджуйская золотая молодёжь... Быстро двигаясь мимо них, он опередил сани, нагруженные корзинами, бутылками, бочонками и белой палаткой нового исправника — нововведение, неизвестное до тех пор в Джурджуе. Бык, на спине которого восседал голый якут, с трудом волок тяжёлые сани по чёрной, скрипящей земле. Красусский без труда оставил позади себя якута и скользнул с обрывистого берега вниз к воде. Тут только он заметил, что Арканов и Евгения бегут за ним. Он сердито взглянул на них, отыскал весло, схватил за нос челнок, перевернул его, поставил надлежащим образом и потащил к воде. Запыхавшийся Арканов очутился по другую сторону судёнышка и схватил его за борт. Мгновение они боролись, стараясь вырвать друг у друга душегубку.

— Пусти... Что... чего тебе нужно... негодяй!.. — вскричал Красусский, замахиваясь веслом на противника.

— Ты пусти!.. Ты не должен... ты утонешь... без тебя они... погибнут!.. — простонал Арканов.

Красусский, вероятно, не расслышал, а быть может, и не понял его объяснения. Сильным движением вырвал он челнок из его рук, вскочил в него и оттолкнул далеко в воду. Аркановы увидели, что он направляет его прямо в водоворот несущихся льдин. Но он, видимо, скоро пришёл в себя, потому что повернул своё хрупкое судёнышко параллельно ледоходу и поплыл вдоль, отыскивая удобный проход. Льды уже не шли сплошной массой, как в начале, их лента порвалась на части и неслась, главным образом, серединой русла, скопляясь в шумные «заторы» исключительно на поворотах реки. У обоих берегов сверкали широкие плёсы свободного от льдов течения. Красусский на то и рассчитывал. Он стрелою мчался вниз по реке, опережал большие ледяные поля, мелкую шугу и громадные спёртые друг на друге «тороса», пока не отыскал более широкого прорыва в ледоходе. Он немедленно направился туда. Аркановы с затаённым дыханием следили, как он ловко уходил от столкновения с небольшими острыми обломками льдов, скрываясь от них под защиту крупных полей, движущихся гораздо правильнее и тише. Когда поля смыкались, он влезал на них, вытаскивал лодку и волок её к другому их краю. Таким образом он добрался до середины реки. Арканов вытер пот со лба: он понял, что ему никогда бы ничего подобного не удалось совершить, что он давно бы погиб. Вдруг пронзительный крик жены заставил его пристальнее

взглянуть на реку. Душегубки уже там не было, только человек стоял на льду на коленях. Что дальше он делал, как прыгал со льдины на льдину, как, наконец, сбросил платье и вплавь пробрался сквозь последний, широкий, свободный от льда плёс, как он уцепился за прибрежные тальники, как оттуда высунулись люди и подхватили его — всего этого Арканов уже хорошенько не разобрал, поражённый, точно громом, выражением лица и голосом жены. Евгения была так бледна и такой имела страдальческий вид... Вдруг позади себя на высоком обрыве она услышала шаги и звонкие голоса...

— Моё почтение, Евгения Ивановна!.. — обратился к ней кто-то. — И вы, однако, вышли поглядеть на игру нашего сибирского ледохода... Любопытное зрелище, не правда ли?

— Не столько любопытное, сколько поучительное!.. — ответил другой голос. На краю обрыва стоял новый исправник с учителем.

— Поглядите, вон там что-то чернеет далеко на льдине... Точно упал человек, раскинувши руки... Наверно, человек!.. Пойдите, прикажите казакам, чтобы добрались к несчастному, выручили его!.. — кричал исправник, указывая па брошенное Красусским платье.

Но учитель даже не взглянул в указанном направлении, так как в противоположной стороне заметил в не затенённых ещё листвою кустах платье своей жены рядом с какими-то мужскими сапогами.

— Откуда там найтись человеку? Наверно, однако, скотина!.. Да хотя бы и человек, то какой чорт достанет его из такой мельницы... Шутка сказать... выручи!.. — пробормотал он неохотно.

Между тем, Евгения заметила, что мужа нет рядом, и медленно пошла к городу.

Нашла она его на кровати, с лицом, обращённым к стене. Он не пошевелился, когда она вошла, и не ответил, когда она позвала его.

— Ах, опять жалкие сцены... И это теперь... перед лицом смерти!

Она так устала, так была измучена всем, что случилось, что предстоящие неприятности уже не волновали её. Она опустилась в кресла и повесила голову на грудь. Весь мир казался ей страшной, безжалостной пустыней, по которой её истомившаяся и безвольная душа напрасно блуждала, отыскивая, за что бы зацепиться. Она жаждала, к кому бы прижаться, приникнуть головой на грудь и заплакать... Она тихонько сошла с кресел, присела к мужу на кровать и положила руку на его плечо, но он грубо оттолкнул её, не обернувшись даже к ней лицом. Она просидела так некоторое время, согнувшись, вглядываясь воспалённым взором в пустой угол комнаты. Затем, чувствуя, что ей необходимо чем-нибудь заняться, чтобы спасти остатки мужества и силы, она полусознательно поставила самовар, заварила чай и жадно пила крепкий, как чернила, навар большими глотками.

Она поднесла и мужу чашку с куском хлеба и холодного мяса. Он не двинулся; но когда она вышла затем на крыльцо, то расслышала, что стукнули его сапоги об пол. Вернувшись, она заметила, что он съел всё поданное. Тем не менее, он по-прежнему отворачивал от неё лицо и мрачно склонял голову к земле.

— Он погиб! Что теперь будет? — тихонько спросила она.

— Совсем нет!.. Он жив, и мир... стоит на своём месте! — насмешливо ответил он.

— Что же ты не сказал мне!.. — воскликнула она со смесью обиды и радости.
— Значит он проплыл и спасся!?

Он измерил её злым взглядом и не ответил. Она тоже замолкла, сознавая, что перед ней опять не муж её, а тот, другой... его двойник.

— Надо дать ему остыть, опомниться... Пусть наговорится, насердится!.. Опять будут упреки, просьбы и угрозы!.. — раздумывала она, садясь на крыльце. — Итак, он не погиб, всё по-старому... Бежим... Через день, через два, а может быть, и через несколько часов мы уже оставим это проклятое место пытки... Что произошло здесь, что случилось и чем мы стали? — Разве я та же, что была раньше? Разве таким был Артемий? И другие — такие ли, как прежде?.. Душу свою сохранили только те, кто постоянно боролся! Ах, поскорее бы, поскорее... на свет, к людям, к плодотворному труду и жертвам!

Вдруг она заметила дым в юрте Красусского.

— Вернулся! — вскрикнула она пронзительно, врываясь в комнату. Она схватила свою шапочку, свою кофту, но Арканов вскочил и стал в дверях.

— Куда?

— Узнать, когда... едем!

— Не надо. Мы совсем не поедem! — ответил он спокойно.

Она попятилась в изумлении.

— Почему?

— Послушай, загляни, наконец, хоть раз смело на дно своей совести и скажи мне откровенно, как на исповеди... Помни, что это крайне важно теперь не только для меня, но и для... вас всех — зачем ты хочешь бежать?

— Странный вопрос!.. Чтобы жить, чтобы... спасти тебя .. себя .. — лепетала она смущённо.

Она пробовала улыбнуться, но дрожавшие губы отказались сделать это, и лицо её только некрасиво перекосилось.

— Ну, да: чтобы жить! Этому я верю, но чтобы вы думали... о моём спасении, в этом позвольте мне усомниться... Я вижу вас насквозь и не позволю провести себя красивыми фразами. Разве вы уступали когда-либо моим просьбам? Разве вы делали что-либо исключительно ради меня? Никогда!.. Вы всегда жертвовали мною для других!.. Вы всегда всё ловко одевали первосортными

фразами о любви к ближнему, о чести, о долге... Но когда... тот... попал в пламя, то вы взывали: «пусть всё лучше погибнет!» А сегодня над рекой — что было? Я думал, вы умрёте там же!.. Это уж слишком!.. Жена моя бежит от меня на мои деньги и при моей помощи!.. Это сверх всякой меры!.. Этого не оправдают никакие доктрины!.. И вы... останетесь!..

— Но... не с вами! Будьте уверены. Это, действительно... слишком!.. — ответила она и выпрямилась.

Самообладание вернулось к ней.

— Прошу вас пропустить меня!

Он не двигался с места, не сводя с неё глаз и только слегка сощурился веки.

— Нет, вы отсюда не уйдёте!

— Тогда... они придут за мной!

Она села на стул и расстегнула кофту.

Он долго стоял, наблюдая за ней исподлобья.

— Пускай приходят... Тогда я ещё здесь пушу ему в лоб пулю и... всё это глупое предприятие рухнет!.. — процедил он медленно и тихо.

Она продолжала сидеть неподвижно, в пол-оборота к нему, упорно скрывая лицо в тени.

— Вы полагаете, что я этого не сделаю... Вы надеетесь, что и теперь всё окончится чувствительной болтовнёй... Вы ошибаетесь, вы и не догадываетесь, как я... ненавижу... всех этих притворщиков, святошей, этиков и фразёров... Томные, тупые, полные тщеславия и самоуверенности мозги... О, я сделаю это, будьте уверены, с большим даже удовольствием!.. Ваш душенька знает мою твёрдость, мою решимость... Он много выше ценит меня, чем вы. Он полагает, что я в состоянии даже... донести полиции... Скотина!.. Он не понимает, это не вмещается в его курином мозгу, что совсем другое дело сжечь хотя бы сушильню, или другим путём учинить самосуд... Его мелкая душонка не знает нравственных оттенков...

Евгения со стоном закрыла лицо руками.

— Господи, Господи!.. Что это? Что творится с тобой?

Он замолк.

— Мы можем ещё избежать скандала, — заговорил он мягче. — Мы позволим им уехать... Пусть бегут с миром!.. За их побег нас, по всей вероятности, сурово накажут. так как трудно будет отпереться, что мы не пособничали им... Тем не менее, я предпочитаю всё это...

Она резко-отрицательно покачала головой. Тогда он сжал губы и, прислонившись неподвижно к косяку дверей, безмолвно глядел сквозь окно на далёкий ландшафт.

Евгения отвернулась, рыдая.

— Вы... уезжайте!.. — сказала она порывисто. — Мы должны расстаться... Я останусь здесь... Вы бы здесь... окончательно погибли!..

-- И на это согласен! — ответил он после некоторого раздумья. — Экспедиция эта, по моему мнению, погибнет... Таким образом я освобожу вас от своей особы вполне... Но и они погибнут вместе со мною... Так что же я отвечу ему окончательно, так как он, вижу, идёт к нам?..

— Ответьте ему, что завтра...

Он значительно спрятал взятый со стола револьвер в карман и вышел на крыльцо к Красусскому.

Евгения слышала, как он извинялся, что не приглашает Красусского в комнату, потому что жена неожиданно захворала... Она слышала, как Красусский выразил по этому поводу соболезнование и некоторое беспокойство относительно предстоящей поездки за реку... Он рассказал подробности своего приключения и заключил рассказ заявлением, что завтра утром, самое позднее — после обеда они двинутся из города, так как река очистилась от льда, следует воспользоваться высоким стоянием воды и поскорее спуститься вниз, чтобы миновать джурджуйские пороги. Будущей ночью беглецы намерены тронуться в путь к океану...

— Я думаю, что нездоровье Евгении Ивановны не настолько серьёзно, чтобы изменить наше решение? Она, верно, нервничает, это понятно. Она отлично отдохнёт в лодке.

— Конечно. Вы, впрочем, поезжайте в челноке, не дожидаясь нас. Мы переберёмся на тот берег перевозом, затем придём пешком. Я полагаю, что перевоз уже действует. Во всяком случае, мы не задержим вас и к вечеру будем на месте! — ответил Арканов.

— До свидания. Только, помните, не опоздайте! Если б вы знали, как хороша наша шлюпка!? Мы прозвали её «Королевой», — говорил Красусский весело. — Да, вот что ещё: если придёт якут с коровой Мусьи, не забудьте отказать ему и отправить корову обратно!

XX.

Эти последние несколько часов прошли для Аркановых, как страшная, медленная агония. Они приближались неудержимо к чему-то, что наполняло их болью, страхом, отчаянием, предчувствием, что если это свершится — уже нельзя будет ни изменить, ни поправить. А между тем, они торопились к этому безжалостному пределу, считали уплывающие минуты: гнетущая душу тяжесть казалась много мучительнее развязки. Бессознательно, автоматически делали они приготовления к путешествию, обмениваясь короткими и сухими замечаниями, скрывавшими глубокие страдания и нетерпеливые мысли.

— Скорее, ах, скорее бы!..

Евгения провожала мужа на перевоз. Они прошли по хорошо знакомой им тропинке среди расцветавших кустов, полных весеннего запаха, и тепла. Солнце, стоя низко, светило за сетью чёрных ветвей. Долина лепетала сонными голосами. Издали доносился новый, неумолчный шум течения мощной, проснувшейся реки. Наконец, они увидели её, серую, как сталь, напряжённую, изрытую струями течения, точно узловатый, жилистый хребет труженика, толкающего перед собою непосильную тяжесть.

Евгения остановилась.

— Послушай, Артемий, нет падения, из которого нельзя бы подняться, нет поступка, которого нельзя бы было загладить, искупить... Знаешь что, расскажем всё откровенно товарищам... и вместе... понесём последствия...

Она говорила спокойно и с сухими глазами, но голос временами изменял ей и ломался. Арканов поднял голову.

— Вы говорите что-то об искуплении?.. Я не чувствую за собой вины... И... не знаю, что это: наивность или желание погубить меня окончательно?! Вы теперь ясно видите, насколько легче предписывать другим мужество и другие возвышенные качества...

Евгения побледнела.

— Впрочем... это ни к чему не приведёт!.. Вновь повторится всё то же... Я чувствую это... — добавил он грустно. — Нам необходимо разойтись... Оставайся... живи... и будь счастлива!.. Если уцелею, приеду за тобой... без них! Перевозчик, как раз. на этом берегу... Сейчас отчаливает!..

Галка уже сел в карбас, но, заметив их, задержался. Они наскоро, сухо попрощались, так как присутствие казака и нескольких туземцев окончательно стесняли их и без того связанные чувства.

- А что, Кузмич, ты тоже нанялся за перевозчика? А?! — спросил Арканов казака.

— Неё... Пошто?! Только исправник приказали сидеть здесь, чтобы татары мяса в городе не воровали... — добавил казак политично.

— Пошто бабу свою оставляшь?.. Не бойсь?.. Один она... молодых парень многа... На долго за река?.. — болтал Галка, загребая вёслами.

За шумом воды и плеском волн Евгения не расслышала ответа. Она медленно возвращалась обратно, всё оглядывалась и видела, как Арканов вышел из карбаса и поднялся по крутому подъёму с узелком на спине и как исчез затем в кустах.

Тогда ей показалось, что над рекой опустился занавес, а на неё саму упала прозрачная, но крепкая сеть, отделившая её на вечные времена от внешнего мира. Между тропинкой и ступнями ног она тоже чувствовала, ступая, эту страшную, мягкую ткань, охватывавшую её, как воздух, со всех сторон и

лишавшую её движения уверенности. Она напрягала внимание и сосредоточенно глядела себе под ноги, чтобы не упасть; в то же время ей пришлось усиленно заботиться о ветках кустов, нависших над тропинкою, разбирать странные голоса, доносившиеся к ней издали, остерегаться колючек и шипов, рвавших подол её платья, — наконец... пугали её... даже лучи солнца, заходившего за горы... Ей казалось, что все встречные смотрят на неё особыми глазами, что все замечают странный прозрачный саван, который тащился за ней, давил её и мешал дышать... Она жаждала момента, когда она очутится, наконец, одна дома, повалится лицом на подушки и выплачет свою скорбь. Но воспалённые глаза оставались сухими...

Могильная тишина покинутой квартиры и полные страшных видений сумерки наступавшего вечера — выгнали её вскоре вон из дому... Она шла медленно без определённой цели, осматривая внимательно строения города, точно видела их впервые в дымке длинных, прозрачных теней; она чутко и боязливо прислушивалась к замирающему говору жизни, следила с глубокой тревогой за меркнувшими красками дня... Её поражало, что всё это, в сущности, точь в точь такое же, как раньше, между тем как всё ведь теперь другое... полно грядущих, неизвестных событий, невозвратного прошлого... Незаметно для самой себя она очутилась у юрты Александрова и открыла её привычным движением... Охватил её кислый, промозглый запах нежилого помещения. Евгения затопила камин, села у огня и впервые жгучее, несказанно гнетущее чувство совершенного одиночества пронзило и подавило её. Ей противно было думать о прошлом. А будущего... ей казалось; что его нет у неё!.. Она застыла неподвижно на стуле, следя глазами за прыгающим в камине пламенем и мужественно прогоняя назойливые воспоминания и размышления. И так, для неё в этих юртах, во всём городе, больше — во всём мире... остались единственно тоска да сновидения!.. И так будет до самой смерти!.. Да, но ведь это невероятно, чтобы те, которых она так любила, покинули её бесчеловечно, без малейшего знака внимания, как вещь, как собаку!? Она их знает, она ручается, что они вернутся за ней... Возможно, что они уже ищут её!.. Она должна увидеть их ещё раз, хотя бы затем, чтобы попрощаться с ними!.. За что она так тяжело наказана?.. В чём её вина?.. Разве в том, что она позволила себе надеяться на личное счастье, пожелала его, отправилась на край света за милым человеком, вместо того, чтобы погибнуть в борьбе за свободу и счастье всех... Она, неловкая и слабая, погубила себя и мужа... Теперь ей следует всё это искупить... Она будет прикрывать отсутствие товарищей, будет отводить глаза полиции и сердцем сочувствовать тем, которые покинули её... Будьте свободны, будьте добры и душевно чисты, как раньше!.. Нужно теперь вернуться домой, прибрать и уничтожить все следы побега...

Она выбежала из юрты и вдруг, вместо того, чтобы повернуть к своей квартире, направилась к реке. гонимая неодолимым желанием ещё раз увидеть товарищей... Она быстро-быстро устремилась через лес и луга к тому мысу, мимо которого обязательно должны были проплывать беглецы. Под конец она бежала бегом, не обращая ни на что внимания, дав волю рыданиям и лишь прикрывая рот мокрым от слёз платком...

Наконец, она очутилась в самом конце стрелки, где лиственницы, оставив сплошной лес, редкой цепью, в одиночку подходили к воде. Она остановилась у последнего дерева, чуть перегнувшегося через край глинистого обрыва.

Серая река катилась вниз, унося на своих волнах розовый отблеск зари и бледные тени ближайших лесов. На том берегу реки серая чаща тальников отбрасывала на сером зеркале вод жемчужную кайму, отделённую от земли тоненькой нитью серебристого блеска. Из-за тальников выглядывали горы, те самые горы, в которых ссыльные блуждали в прошлом году. Река выплывала из-за тальниковой косы и исчезала за рыжим, высоким, и мрачным утёсом, увенчанным лесом.

Было тихо. Даже птицы спали. И ничто не дрожало в воздухе, кроме журчания воды.

— А если они уже уплыли?! — раздумывала Евгения. — Нет, это не возможно. Ещё рано... Артемий едва успел добраться туда... Ведь не могли же они и его оставить?! Они скоро будут... Тогда он, увидевши её, поймёт, какую жестокость позволил себе по отношению к ней, и потребует, чтобы они остановились и захватили её... Он, наверно, уже и теперь жалеет... А если нет?!. Или... что, если он теперь же в дороге, исполнит то, что задумал... в Америке!?. Не лучше ли не искушать судьбы и... остаться?.. Пусть уходят, пусть борются... Пусть он кается и исправляется в одиночестве!.. Пусть будет, как есть... Только раз, ещё раз взглянуть!..

Вдруг у неё перехватило горло. Беглецы так неожиданно вынырнули из-за тальничного поворота, что она заметила их только прямо перед собою. Они плыли серединой. «Королева» грациозно покачивалась, гонимая ударами длинных вёсел. На кормовой палубе стоял у руля Негорский, другие сидели вдоль бортов. Она различала белые пятна их лиц, хотя по отдалённости и не узнавала каждого в отдельности.

Шлюпка быстро неслась и почти что миновала её.

Слёзы затуманили её взор, она подняла платок и махнула им на прощанье...

Вдруг беглецы перестали ударять вёслами, лодка пошла тише и повернулась боком к течению. Немного спустя, от неё отделился маленький челночок и быстро, точно ласточка, понёсся к берегу.

— Мы были уверены, что вы не останетесь, что это какое-то недоразумение!.. — кричал ей снизу Красусский. — Спешите... Ещё немного, и взойдёт солнце и якуты станут шляться по берегу...

Евгения отыскала спуск и скользнула к воде.

— А где Артемий Павлович?.. — спросил Красусский, усаживая её в душегубку.

— Как?! Он не с вами?

— Нет! Вы не шевелитесь, а то мы оба опрокинемся в воду... — предостерегал юноша, крепко загребая веслом и стараясь придать равновесие покачнувшемуся сильно челноку.

— Артемий Павлович был и сказал, что вы не едете... С тем и ушёл...

Душегубка опять сильно покачнулась.

— Вы совсем не умеете сидеть в душегубке. К счастью, мы уже на месте...

— А где же Арканов? — спрашивали ссыльные, протягивая руки к Евгении.

Она вошла на борт, осмотрелась кругом, как бы желая проверить, что ей действительно сказали правду, и — без сил упала на застланное постелями дно лодки.

— Трогайте, трогайте!.. — кричал Ян. — После узнаем... Здесь нельзя... тут место людное... Слышите, уже якуты гокают по кустам, ищут коров...

Беглецы дружно ударили вёслами, и лодка опять стала, вздрагивая, резать с шумом воду.

Неслись они быстро, опережая и пену, и брёвна, и кусты, подхваченные разливом. Рыжий обрыв давно уже закрыл вид на джурджуйскую долину; кругом были неизвестные окрестности. Мощные скалы падали прямо в волны реки, низкие тальниковые косы колыхались, точно под ударами ветра, под давлением переливающихся через них течений, устья быстрых речек полны были наносного леса, инея и щепы. Беглецам приходилось бдительно остерегаться всевозможных препятствий: подводных камней, шиверов, водоворотов и быстрин, густо разбросанных по незнакомому руслу реки. Негорский глаз не сводил с течения. Гребцы обливались потом. Остальные должны были спать, чтобы отдохнуть до своей смены, но никто не спал. Все молчали, взволнованные поступком Арканова, мрачные, точно везли с собою покойника. Евгения всё глухо плакала, лёжа ничком.

— Это, наконец, невыносимо! Я прыгну в воду!.. — проговорил по-польски, сквозь зубы, Красусский.

Негорский встряхнул головой и, не спуская глаз с реки, стал говорить быстро и решительно:

— Господа!.. Пусть будет, что будет, но так нельзя этого оставить: мы не имеем права покинуть товарища!..

— Возвращение погубит нас, несомненно!.. Возможно, что уже в городе спохватились! — заметил Петров.

— Сам хотел! — шепнул Гликсберг.

— Но возможно, что теперь он сожалеет об этом, что тут произошла роковая ошибка... Что, если это так?! Разве вы возьмёте на свою совесть судьбу этого человека?.. Мы должны ещё раз дать ему возможность присоединиться к нам!.. Я сомневаюсь, что наш побег уже обнаружен, но нас, наверное, погубит то чувство, с которым мы уезжаем отсюда... Нельзя убить человека безнаказанно.. Если и теперь Арканов не согласится, тогда другое дело, тогда мы со спокойной совестью поедem без него! — доказывал Негорский. Александров сочувственно кивал ему головой; Самуил и Воронин тоже поддержали его.

Евгения подняла на Негорского глаза, с выражением надежды и благодарности.

— Следует причалить где-нибудь в тальниках, а двое пусть едут за ним! — решил Ян.

Принялись высматривать убежище у берегов и советоваться, кому отправиться за Аркановым.

Выбор упал на Самуила и Негорского.

Беглецы отыскали со стороны Бурунука старую, густо заросшую тальником, курью. Низкими проходами, под нависшими ветвями, подтягиваясь на руках, они втащили в глубь свою «Королеву», укрепили там, причалили и наладили душегубку.

— Но раньше свезите меня на берег!.. Пойду и я ещё раз повидаться с моей старухой и ребёнком!.. — сказал Ян.

— Только, ради Бога... возвращайся поскорее!.. Не задерживай!..

— Вернусь!.. Это не далеко отсюда... не будет и десяти вёрст... А я и табаку возьму себе, а то забыл второпях!.. — успокаивал их пан Ян, набивая на последях¹ «двустволку».

Красусский всех их по очереди свёз на берег, и они ушли, а те, что остались в лодке, позавтракали и легли спать.

Солнце заглядывало к ним сквозь сетку чёрных ветвей и мягко согревало их; вверху ветер шелестел тонкими побегами ивы, а внизу рокотала река. С земли, из отдаления, долетали посвистывание, щебетание и клохтание миллионов птиц, радующихся жизни, борющихся за существование и любовь. Изредка розовая, точно омытая зарёю, белая чайка повисала в солнечном воздухе и, заметив беглецов, выражала своё удивление и тревогу пронзительным криком. Изредка бурый орёл или пёстрый коршун проплывал от утёса к утёсу, отбрасывая по пути на воду своё чёрное отражение. Изредка плескала рыба в струях.

¹ На последях – уст. напоследок, под конец. – прим. OCR.

Не спала только Евгения, и не спал Красусский, хотя и лежал, накрывшись с головой одеялом.

— Красусский, они уже пришли! — сообщила, наконец, Евгения.

Красусский выглянул и, заметив на противоположном берегу три фигуры, прыгнул в челнок. Первого он привёз Арканова.

Вошёл Арканов в лодку с сильно изменившимся, словно постаревшим лицом, точно от момента его разлуки с женой прошли годы. С провалившимися, мокрыми от слёз щеками он тотчас же, не стесняясь посторонних, упал к ногам Евгении.

Охваченные волнением, товарищи отвернулись от них и наблюдали, как Красусский перевозит в душегубке Самуила и Негорского.

А между тем, на том берегу зазвучал удалой призыв пана Яна.

Пока река шла одним руслом, беглецам везло. Они скользили без труда по глубине, уносимые напряжённым течением половодья. Некоторую опасность представляли только «быки» — отвесные утёсы, подымавшиеся непосредственно из воды, о которые прибой ударял с необыкновенной силой, шумом и пеной...

Негорский оказался отличным кормчим, а «Королева» необычайно послушным, поворотливым судном. После некоторого упражнения, наши моряки стали, ради сбережения сил и времени, проплывать так близко около грозных «быков», что гнездившиеся в изобилии на их уступах птицы подымали по этому поводу неопиcуемый гвалт. Тьмы стрижей, рыбалок, чаек и других пернатых неведомых названий долго после того кружились над грудью задумчивых утёсов, с вершин которых обыкновенно свешивались одинокие деревья, точно заглядевшиеся на собственные отражения в волнах. Раз путники спугнули даже медведя, который с края обрыва тоже задумчиво глядел на реку и, увидев неожиданно лодку с людьми перед собою — зрелище, не виданное им дотоле, поднялся от изумления на дыбы.

Беглецы чувствовали себя прекрасно. Самовар постоянно шумел на корме. Каждые четыре часа менялась пара гребцов. Рулевых было два: Негорский, которому поручено было общее руководство экспедицией, и Петров, волжанин по происхождению, знакомый с детства с управлением лодок.

Красусского и Александрова, — хотя они и были к таким вещам способнее других, — товарищи удержали в числе гребцов, в виду большой их выносливости и силы.

Те, кто не работал в данное время, обязаны были есть или спать.

— Остальное возбраняется нашим государственным водяным уставом, — шутил Негорский.

Только гребцы пользовались некоторыми привилегиями и часто пели во всё горло.

— Тише, разбудите спящих!.. — унимал их в начале Александров.

— Кто проснётся, тому, в наказание, добавить час гребли!.. — решил Ян.

Угроза оказалась совершенно лишней. Все спали прекрасно, несмотря на пение, шум воды, покачивание судна, постоянную беготню вдоль бортов работающих. Случалось, что сброшенный сотрясением судна неопытный моряк слетал вниз, прямо на ноги или даже на более благородные части спящих товарищей. Особенно отличался в этом искусстве косолапый Мусья.

— Нет, это уже сверх сил! Я молчал, когда вы, Мусья, наступали мне на руки, на ноги, даже на живот... Но ведь вы теперь наступили мне на... нос! Прошу прекратить эти новшества! — запротестовал, наконец, Александров.

Из песен большой популярностью пользовалось в начале энергичское «дындай» пана Яна, прекрасно отвечавшее движению вёсел. Кроме того, беглецы охотно пели отрывки «Drapeau rouge» (красное знамя), заученные Мусьей в Париже, — социалистическую марсельезу ещё не переведённую тогда ни по-польски, ни по-русски. Затем распевались многие народные и революционные песни, но, в конце концов, всё вытеснила грустная баллада, сочинённая наскоро Самуилом.

Сумрак ночи повис над землёй,
Спит спокойно враждебная стража.
Тихо бьётся о берег прибой,
Тихо бьются сердца экипажа...
Им мерещится бой за свободу,
Улыбается воля и счастье...
Побороть бы им лишь непогоду,
Льды, течение, туманы, ненастье...
Голод реет над славной дружиной,
Грозно дышит под ними пучина...
Беззаботно скользя над пучиной,
Распевает о жизни дружина...

Лодка двигалась безостановочно, пользуясь всё возрастающим светом всё уменьшавшихся ночей, по мере того, как беглецы подвигались на север. Всё нужное, включая топливо, они везли с собою на лодке, и вскоре они научились удовлетворяться маленьким, отведённым каждому пространством и не тяготились особенно теснотой помещения.

Они уже радовались, полагая, что так будет до самого моря, как вдруг неожиданно река разделилась на два протока. И раньше, чем беглецы успели сообразить и выбрать надлежащее направление, течение с страшной силой подхватило их и понесло в более широкую ветвь и немного пониже бросило на стремительный перекал, через который река переливалась, шумя и бурля, как водопад. «Королева» задела килем за подводные камни, мгновенно повернута

была поперёк и опрокинута на бок. И люди, и тяжести, всё полетело в ту сторону. Негорский повис на рукоятке руля. Крик ужаса вырвался из груди людей, перепутавшихся беспомощно в клубок: пенистые гребни волн забурлили над их головами... Они с рёвом пробовали перекатиться по туловищу накренившейся лодки и залить её середину. К счастью, шивер был мелок, и Красусский с Яном, которые раньше других выскочили в воду, успели приподнять край лодки, подпереть его и не позволить волнам ни залить её, ни перевернуть окончательно. Вскоре опомнились и другие и, слушая приказания Негорского, перебросились на борт, в противовес напору волн. Немного зачерпнув воды, шлюпка стала на киль. Но повернуть её по течению удалось с большим лишь трудом. — Под защитой лодки, точно у запруды, течение быстро нанесло большую гряду щебня и крупных камней. Последние катились с такой силой, что сшибали с ног работавших по колена в воде людей, а более слабого Самуила водоворот, подхватив, чуть не убил, бросив на острые скалы. Беглецы принуждены были разгрузить лодку, перевезти тяжести и часть провизии на соседний остров, за быструю и пенистую протоку. Когда Красусский сел в утлую душегубку, полную жестянок с пемиканом, и поплыл по бурным струям, у беглецов дыхание захватило от тревоги. Малейшее неловкое движение — и судьба их побега была решена. Но юноша, ловко подгребая под себя набегавшие волны, скользил удачно среди пены и грохота с одного водяного бугра на другой, пока не достиг счастливо берега.

— Ура! — вскричали товарищи и запели песню о «Смелом Экипаже».

Настала «белая» полярная ночь... Подул холодный, пронизывающий ветер, и студёная вода стала ещё холоднее. Измокшие и промерзнувшие, мореходы решили раньше всего послать на берег слабосильную, малостоящую «морскую милицию»: Гликсберга, Мусью, Самуила, Аркановых, чтобы те разведали немедленно огонь и сварили ужин. Аркановых и Самуила удалось перевести без особых приключений, но с Мусьей и Гликсбергом случилась, как говорят джурджуйцы, «маленькая ошибка». Уже у самого берега Красусский, не заметив плывшего в уровень с водой древесного пня, наскочил на него — и душегубка сильно покачнулась. Мусья вылетел из неё и окончательно потопил челнок... Краеусский раньше всего схватил за вихры кувыркавшегося возле него «бонапартиста» и поставил его на ноги. Воды было, по счастью, не выше пояса. Затем он бросился в погоню за Гликсбергом, который уцепился за опрокинутый челнок и нёсся по волнам, сверкая в сумерках большим медным котлом. Несмотря на приключение, он не выпустил последнего из рук, верный своему долгу артельного повара... Красусский без труда настиг его вплавь и потащил к берегу, откуда товарищи бросили им верёвку. Затем все устремились спасать Мусью, который, стоя в двух шагах от земли в пенистых

струях, боялся пошевелиться и только взывал о помощи, уверяя, что он погиб, что он умирает... В результате — вода унесла весло, две шапки и один сапог...

В это время оставшимся на «Королеве» удалось столкнуть судно на более глубокую воду, и она опять торжествующе понеслась, послушная вёслам и рулю.

Беглецы впервые заночевали на берегу, с удовольствием выпались у богато растопленного костра, высушили намокшую одежду и перевязали свои ушибы и раны. Особенно пострадал Петров, который глубоко пробил себе ступню острым камнем.

С этих пор начались неудачи...

В продолжение пяти дней они блуждали из конца в конец по заполнявшей всю долину сети бесчисленных протоков, каналов, — быстрых, ревущих, преграждённых сотнями шиверов, мелей, водоворотов и перекаатов... Они убедились, что «Королева» слишком крупна, тяжела и слишком нагружена для маленького и неумелого экипажа, и что груз угля, которым они заменили спирт, вопреки совету американцев, может погубить их.

Когда, наконец, они выбрались из ловушки мелких каналов на более глубокие воды, у них было много опыта, но мало сил. Менее выносливые страдали дизентерией. В сильный противный ветер они не в силах были гнать вперёд судно на вёслах. Оно почти уже не двигалось с места и не слушалось руля.

Беглецы не пели больше о «Смелом экипаже». Негорский глухо кашлял. Петров вторично пробил ногу осколком кремня.

Только железное телосложение Яна, Александрова и Красусского победоносно выдерживало искуc. В сущности, под конец они одни везли всю экипидию, но и их силы таяли от непосильного труда и бессонниц.

В довершение всего, беглецы настигли зиму. Они всё чаще встречали на реке огромные запоздавшие льдины, мокрый снег с дождём всё чаще хлестал им в лицо. В непогоду они, поэтому, всё охотнее причаливали к берегу под защиту утёсов и разводили большой огонь среди мшистых скал и камней, у которого сушились и согревались. Одно удивляло их: почему, несмотря на все усилия, они двигаются так тихо вперёд? Почему всё виднеются за ними столбы дыма брошенных вчера костров?

Характер местности изменился. Всё меньше было леса, и деревья казались всё ниже и тщедушнее. Мхи и лишайники заменили мало-помалу травы и цветы. Тяжёлые туманы грузными облаками или широкими струями стекали, точно водопады, по крутизнам гор к самой реке. Не раз лодка из ясных водяных пространств ныряла прямо в тёмные мглы, среди которых неожиданно всплывали иногда, перед самым её носом, грозные «быки» с плещущими взлётами прибоя. Беглецы во мгле руководились больше слухом,

чем зрением, бдительно наблюдая за мрачным бурлением реки. Они никак не могли разобраться в местности. определить, где находятся, и узнать, прошли ли они уже грозные «пороги», или те ждут их ещё впереди. Карта реки Джурджуя не давала им никаких указаний. Они убедились, что она не больше, как простой «зигзаг», проведённый на удачу рукой картографа.

По мере того, как убывали их силы, они всё сильнее пугались этих «порогов».

— Ах, скорее бы... Ну, их к чорту!.. — ворчал Негорский, поправляя на голове свой шлык из тюленьего меха. Он водил взором по омываемым водою и мглами горам и неприятно щурился:

— Да!.. Мы, как-будто, действительно оставили солнце навсегда позади... Теперь я чувствую, что мы плывём к полюсу... Да! Что-ж делать!?

Береговые утёсы всё сближались и всё сильнее сжимали реку. Даже маленькие островки исчезли на ней, исчезли у скал даже узенькие, прибрежные карнизы, гальки и пески. Напряжённая, выпуклая почти от бешеного бега могучая струя реки, неслась под конец со страшным гудением по длинному скалистому коридору, по обеим сторонам которого подымались прямо из воды высокие, отвесные обрывы. Белые нити туманов вешались на утёсах; маленькие клубочки их постоянно отрывались от густого свода облаков, скрывавших вершины гор. Они скатывались, точно мячики, на реку или струились, точно длинные паутины, над водой, где неукротимое течение подхватывало их и уносило с собою.

— Всё серо — и скалы, и воздух, и вода!.. Ничего не вижу... Стоп вёсла!.. — сказал, наконец, Негорский.

Вёсла были, впрочем, совершенно лишними, так как течение опережало греблю, и вёсла бесполезно только таяли по воде. Края туманов свешивались мрачными кистями и излучинами к самой воде... Утёсы, казалось, уже не отвесно подымались из реки, а склонялись сводами над ней. Они быстро мелькали в глазах путников, точно колоннада каких-то адских ворот, влажных, холодных и неумолимых...

— Ну!.. Если теперь о самый маленький стукнемся камешек, никто из нас даже не вынырнет... — заметил Ян.

— Тише!.. Слышите: водопад!.. — вскрикнул Негорский.

В глубине ущелья что-то выло, гремело, всплёскивало и глухо рокотало низко под туманом.

От бега путникам казалось, что лодка стоит на месте и только вздрагивает от испуга, а к ним с невероятной быстротой несутся навстречу утёсы, да всё крепчающие голоса налетающей бури

— Красусский и Александров, готовьсь!.. Живо!.. — приказывал изменившимся голосом Негорский.

Силачи уселись поудобнее и ухватились за рукоятки вёсел.

— Ждать команды!

Остальные беглецы, собравшись у носовой палубы, силились пронзить взглядом завесу тумана и разглядеть неприятеля. И вдруг, о ужас! они заметили громадный утёс, который буквально запирал ущелье и как бы глотал реку. Сноп бледного, молочного света, проникая откуда-то сбоку, точно отблеск закрытой облаком луны, чертил таинственные узоры на тёмных изломах скалы, серебрил скачущие у её груди пенистые гребни и бугры клокочущих бурунов. Река с невероятным громом, рёвом и шипением с размаху влетала под чёрный, зубчатый свод...

— Правым вперёд, левым назад! — прозвучали слова команды. Вёсла разом погрузились в речной кипяток и согнулись, точно тонкие лучинки. Оглушительный вой реки лишал пловцов сознания и, раньше, чем они разобрали в чём дело, подумали о спасении или гибели, — лодка повернула почти на месте, как волчок, среди пены и невероятного кипения волн, накренилась, треснула, грохнулась краем кормы о скалу и выскочила из-под тумана, меж двумя высокими обрывами, точно из ворот, на просторную равнину, залитую ярким солнцем и накрытую голубым небом. По обеим берегам зеленели леса. Река вся сверкала золотой чешуёй в лучах ведренного дня и широко разливалась с весёлым рокотанием, точно радуясь и вздыхая после пережитых опасностей и трудов. Горы справа ушли круто на запад, а на левом берегу опустились, закруглились и покато нисходили к реке.

— Помогите!.. — проговорил неожиданно Красусский.

И тут только пловцы заметили, что Негорского нет на корме, что он лежит в объятиях Красусского, и из его рта струится кровь. Товарищи бросились приводить его в чувство, а Петров схватился за руль. Вскоре Негорский открыл глаза и, увидев над собой небо и солнце, улыбнулся:

— Рукоятка руля... ударила меня... Должно быть, и «Королеве» досталось... Посмотрите, много ли воды на дне... проговорил он тихо.

Они уложили его в постель, отдали на попечение Евгении, а сами принялись за насосы, и как раз во время, так как вода быстро вливалась в шлюпку невидимыми щелями. Красусский вполз под кормовую палубу, вынул оттуда вещи, снял настилку и принялся искать отверстие.

— Хорошую построили мы посудину!.. Совестьливая работа!.. Всякая другая непременно расколослась бы в щепки... — хвастал пан Ян. — И погони нечего нам бояться!..

— Ну, нет!.. Если они знают об этом «быке», то могут заблаговременно держаться левого берега и пройти опасное место на шестах, — заметил Александров..

— Какая погоня?!. Что за погоня!?. Море рукой подать!.. Если нас до сих пор не поймали, то уже не поймают... А когда выйдем в море — тогда пиши-

пропало: спрячемся во льдах и не отыщет нас даже квартальный надзиратель... — шутили весело беглецы.

— Не отыщет даже квартальный надзиратель! — повторял, смеясь, Мусья.

На берегу реки стали попадаться рыбацьи заимки. Беглецы остановились у одной из них, чтобы узнать, где находятся, и купить рыбы. Но в юрте никого не нашли. Жители убежали, бросив всё на произвол судьбы. Путники увидели распластанную рыбу в корзине, нолуочищенных лососей на столешницах, горячую пищу в котлах на очаге, разбросанные впопыхах вещи... Они забрали часть рыбы, оставив в уплату табак и чай. Плывя дальше, они наскочили-таки на одного рыбака, и тот рассказал им, что до моря осталось всего 200 вёрст. Затем, они миновали большую деревню на горе, с церковью и бесчисленными сараями и шестами для сушки рыбы. Деревня казалась пустой, никто не вышел поглядеть на них, и даже собак не было видно. Но за то в следующей деревушке собрались на берегу, завидя их, целые толпы людей и ещё бóльшие стаи собак.

Два рыбака в изящных местных «веточках» (челноках) быстро, наперерез, поплыли к ним и, приблизившись на расстояние ружейного выстрела, принялись дружески приглашать к себе в гости... Беглецы отказались, притворяясь, что не понимают языка, и объясняя, что они — возвращающиеся на родину американцы...

Мощная река, широкая, чёрная от глубины и многоводности, лилась одной струёй среди весёлых, зелёных берегов.

Горы исчезли, исчезли леса, а вслед за тем и река расщепилась на части и ровными, бесконечно длинными, почти прямыми плёсами покатила по тундрам на север. Низкий небосклон блестел от множества разлитых вод, река терялась в перламутровой дали, где беглецам всё чудилось море. Опять стремительные ветры ударили на них... Путешественники попробовали тащить лодку бичевой, но покачивание громадных волн вызвало у Негорского кровотечение. Тогда они остановились у старого рыбацкого шалаша, вынесли больного на землю, развели костёр и уселись кругом. Теплота огня и свежесваренная пища вскоре вернули им силы и хорошее расположение духа.

— Опять из-за меня остановка!.. — сокрушался Негорский.

— Пустяки!.. Отдохнём все и легко наверстаем потерянное время, — утешала его Евгения. — Без вас всё не спорится!..

Красусский отправился на охоту. Другие починяли одежду или просто отдыхали. Самуил хлопотал у кипящих чайников и пугал шутливо Мусью.

— Подумайте только, Мусья, что значит для кита наша лодка, если он без труда глотает корабли... Помните, сколько дней Иона прожил в его внутренностях и даже не дурно там устроился!?. Но всё это ещё цветочки... А слышали ли вы про морского змея?..

Мусья качал отрицательно головою, а сам водил круглыми глазами по товарищам, наблюдая, смеются они или слушают серьёзно.

— Когда змей этот поднимет над водою голову, то она выше самой высокой соборной колокольни... Сообразите только, Мусья, сколько его должно оставаться в волнах. Ведь это его движения вызывают в морях бури и водовороты... Верно!.. Я сам его не видел, но читал в газете... — продолжал серьёзно поэт.

— А, что?! Вот видите!?. Я давно говорю: бросьте вашу лодку до дьявола, разделите вещи в несколько мешков, вложите мешок на спину и барда... по-якутски. Всё-таки по земле безопаснее! Ого!.. Хорошо говорю!.. Француз вовсе не такой дурак!.. — смеялся Мусья.

— Мы уже знаем, как по земле! — вмешался Негорский. — Нет, Мусья, успокойтесь: змей нет в Ледовитом океане: слишком холодно. А киты не подходят так близко к берегам...

— Не смущай его!.. — обратился он по-английски к Самуилу.

Разговор прекратился, но Мусья уже не с таким, как раньше, увлечением отзывался о море и мореплавании.

Они увидели море впервые в ясном, солнечном полудне. Чтобы скрыться от глаз прибрежных жителей и спутать погоню, они повернули в восточный второстепенный рукав джурджуйского устья. Узкий, ко глубокий канал змеевидно вился среди торфяных островов. Чёрные, влажные берега, прослоённые прожилками грязного льда, заслоняли горизонт со всех сторон. Неожиданно за одним из бесчисленных поворотов они увидели, что земля обрывается, исчезает, растворяется, и перед ними раскрылась беспредельная голубая пропасть с чёрными островками, плавающими в ней там и сям, точно последние крохи земного шара. Сплошная чешуя золотисто-голубой зыби наполняла эту пропасть и, постепенно бледнея и мельчая, сливалась с синевой неба в один бесконечный, светлый океан. В глубине его — не то на небе, не то на земле — вытянулся длинный ряд белых, прозрачных облаков. На некоторых изредка зажигались огненные искры, дрожали некоторое время, колыхались и гасли...

— Льды!.. — воскликнули восторженно беглецы. — Льды!

Беззаботно скользя над пучиной,

Распевает о жизни дружина... —

пропела дрожащим голосом Евгения.

Но остальным некогда было распевать и сентиментальничать. Они решили пробраться поскорее на один из островов океана недалеко от устья Джурджуя, чтобы воспользоваться его пресной водой, отдохнуть, исправить «Королеву» и полечить кое-кого из её «экипажа», — словом, приготовиться для дальнейшего плавания.

Они отыскивали небольшую бухточку у высокого не затопляемого приливом берега, причалили к нему и вбили в землю якорь. Лодка была мгновенно разгружена и вытащена на мель, после чего Красусский и Александров немедленно принялись за починку повреждений, конопатку щелей и просмолку их. Они решили не уменьшать её бортов, о чём думали раньше, а скорее выбросить для облегчения судна. часть угля, тем более, что, как уверяли их якуты, везде на мелях разбросано много древесных остатков, достаточных для разведения огня.

Ян с Аркановым и Ворониным отправился на охоту. Самуил и Гликсберг осмотрели вещи, развесили мокрые предметы на устроенных из вёсел козлах, а сухие накрыли парусом. В стороне, на небольшом холмике, горел костёр и сутилась у него Евгения, приготавливая ужин. Она очищала от перьев только что убитых уток; Мусья помогал ей и тащил с берега топливо, брёвна, щепки и коры, прибитые и выброшенные прибоем. Негорский лежал на медвежьей шкуре и глядел на тёплое, чистое солнечное небо. Петров, нога которого всё ещё не зажила, тоже смотрел на небо, грея на солнце то один, то другой бок. Он доказывал, что теперь только он понял психологию итальянских лаццарони, для которых высшим блаженством представляется лежать на солнце среди трудящихся людей вверх брюхом и ничего не делать. Самуил, который, окончив своё занятие, подсел к Евгении и принялся вместе с нею ощипывать уток, уверяя её могильным голосом, что один только труд облагораживает людей.

Дул лёгкий ветерок, мягко шумели волны моря, нежна лаская успокоенную, изливающуюся в них реку. Издали, с позлащённых солнцем мелей, долетали крики чаек и гомон других птиц; на льдах, в бесконечной голубой пропасти, всё чаще загорались мимолётные молнии, солнце покидало тёмные равнины земли и поднималось над океаном.

Вернулись из похода охотники и принесли множество яиц. Они не рассчитывали на такую обильную добычу и не захватили с собою мешков. Теперь они несли яйца в голенищах сапог, переброшенных за спину, в рубахах, которые сняли с себя, застегнув взамен до верху свои австрийские куртки. Такое обилие пищи вызвало необычную радость. Даже суровые мастера-плотники оставили свою работу и прибежали поглядеть. Яйца, узорчатые точно пасхальные «писанки», поражали разнообразием красок, величиной и формами. Некоторые были до того хороши, что Евгения не без колебания разбивала их для стряпни.

— Я заказываю себе яичницу из сорока яиц. На меньшее моя нога не согласна!.. — кричал Петров.

— Как больной, ты получишь известковую воду, настоенную на яичной скорлупе.. Пригодна для всяких ран!.. — отвечал Самуил.

Солнце спустилось низко к самому горизонту и покатилося среди ледяных туманов, красное и огромное, точно раскалённый железный диск. Море потемнело и отделилось от небосклона резкой тёмносиней линией. На тундре потухли серебряные отблески расцветивающих её вод, она застыла и потемнела вдруг, как труп. Повеяло холодом. Пришла полярная летняя ночь, первая ночь беглецов на море. Ян перед отдыхом принёс несколько штук великолепных лососей, пойманных в заброшенные по близости сети. Беглецы уснули в самом радужном настроении духа. Долго они спали, согретые незаходящим солнцем, усталые от пережитых трудов и волнений. Когда они проснулись, то заметили, что Мусья нет. Он взял лучшую двустволку, жестянку со спичками и исчез. Сначала они не особенно беспокоились его отсутствием, предполагая, что он просто ушёл на охоту. Но когда наступил полдень, а француза всё не было, они с тревогою стали посматривать на рыжие, необозримые тундры — такие мёртвые, безголосые, неприветливые плоские, что малейший кустик прошлогодней травы казался издали, на фоне бледного неба, в лучах низкого солнца, рощею роскошных деревьев. Человек не мог бы в них укрыться на десятки вёрст.

— Может быть, он упал в воду?.. Или сломал ногу, поскользнувшись на ледяном дне одного из бесчисленных мелких озерков?.. Они там на каждом шагу!.. — высказал предположение Арканов. Беглецы послали Яна с Аркановым на поиски. Ян предложил Воронину и Гликсбергу раньше своего ухода обойти кругом всю стоянку, чтобы отыскать следы Мусьи и определить их направление.

Следы были отысканы без труда и указывали, что француз ушёл в глубь материка в том приблизительно направлении, в каком недавно охотились Ян и Арканов. Охотники пошли немедленно по следу и скоро исчезли за горизонтом. Вернулись они поздно ночью, грустные, раздражённые, хотя и принесли много дичи.

— Мы дошли до протоки, отделяющей наш остров от следующего... След спустился в воду и потерялся... — рассказывал Ян.

— Насколько знаю, Мусья не умеет плавать. — заметил Красусский.

— Кто знает?! Может быть, он с нами хитрил!.. Широкий ли канал? — выпрашивал Негорский.

— Довольно широкий. Мы не решились переплыть его!

— А что же он делал по дороге?..

— Кружил, делал петли, как заяц... В одном месте он выстрелил, кажется, в утку... Мы нашли бумажный фитиль заряда и заметили утиные перья, плавающие на озерке... Он там входил в воду и, по-видимому, раздевался и возился, так как на сильно истоптанном помятом мху и ближайшем мокром песке мы нашли оттиски босых ног... Отсюда он пошёл мхами, избирая нарочно

самые толстые и густые его полосы... Мы с трудом проследили его, пока опять не нашли места, где он опять глубоко завяз в тине над водой... Ноги были уже обуты... — рассказывал Ян.

— А он ли это?.. Не на чужой ли вы капали след?

— Возможно, что он блуждает в совершенно другой стороне... — вмешался Александров.

— Не знаю наверно, но, как будто, это Мусья... Косолапый выворачивает пятку, хромает... — объяснял Ян.

— Право, не знаю, что и делать, — шепнул Негорский.

— Подождём до завтра!.. — советовал Гликсберг.

— Если это остров, и он заблудился, то он умрёт обязательно с голода!.. — рассуждал Негорский.

— Обыщем весь остров!.. Разве нас мало?! — воскликнул Воронин.

Ночь прошла беспокойно. Негорский то и дело подымался и вглядывался в горизонт: не увидит ли фигуры приближающего Мусьи. Другие из-под одеял, которыми укрывались с головой, спрашивали его:

— Ну, что-же?

— Ничего. Его нет!

С восходом солнца все поднялись, съели поспешно завтрак и разбрелись в разные стороны. Воронина и Гликсберга пан Ян послал в противоположных направлениях вдоль морских берегов, сходящихся далеко под углом. Самуил пошёл посередине. Арканов кружился между Самуилом и Ворониным, а сам пан Ян осматривал местность между Самуилом и Гликсбергом. Таким образом они осмотрели каждую пядь острова и не нашли ничего, кроме вчерашних следов.

— Только я вот что ещё нашёл!.. — заявил под конец Воронин, показывая маленькую латунную трубочку, прикреплённую ремешком к толстому и короткому чубуку.

— Что же вы молчите?! — воскликнул Ян, быстро хватая трубочку.

— Юкагирская... Недавно ещё из неё курили... ещё сок не успел высохнуть! — добавил он, осматривая её внимательно. Далеко нашли вы?..

— Далеко. В том краю!..

— Ну, что-ж... Наверно, приезжают сюда юкагиры на охоту.

— Эти дни их не было, иначе мы бы заметили... — сказал Петров.

— Во всяком случае — скверно! Очевидно, они живут недалеко! — заметил Негорский. — Но что же делать?! Не возможно ведь оставить на верную гибель этого Богом обиженного человека!

— Ничего ему не будет! Если он утонул, так его уже нет. А если перебрался на ту сторону протоки, то переплывёт и следующую и доберётся до людей... Твёрдая он штука... Не мало вытер углов... — доказывал Ян.

Никто не ответил, никто не в силах был согласиться с ним.

— Ещё подождём!.. — сказал, наконец, после короткого раздумья Негорский.

— Так-то так, почему бы и не подождать. Но ветер-то как раз попутный... Лодка готова!.. Здорово бы отмахали мы!.. — настаивал Ян.

Действительно, ветер дул с суши, и направление его менялось, смотря по положению солнца. В настоящее время он гнал и зыбил море с юга на север, как вчера.

— Знаете, господа, мы сделаем вот что, — настаивал Ян, — часть пищи, пороху, спичек мы запасём в жестянку и оставим здесь... Если он заблудился на соседнем острове, то вернётся и найдёт запасы, а потом он неминуемо встретится с рыбаками. Ясно что они приходят сюда... Трубочка лучшее доказательство!..

Вдруг Воронин вскочил и вскричал громко:

— Есть!.. Есть!.. Нашёлся!.. Дым!..

Все вскочили и обернулись в указанную сторону. Далеко по другую сторону протоки, на краю горизонта, подымался большой столб сизого, клубящегося дыма.

— Это он... подаёт сигнал! Почему он, дурак, не сделал этого раньше?.. — сердился Ян.

— Пусть Ян и Красусский немедленно сядут в душегубку и отправляются за ним. А остальные пусть грузят лодку! — приказал Негорский.

Только вечером Красусский с Яном достигли того места, откуда уже пешком им предстояло подойти к пожарищу. Они вытащили челнок на берег и пошли быстро вперёд, жестоко ругая Мусью.

— Столько хлопот, беспокойства'и такая трата времени из-за этого дурака!.. И всё только потому, что ему вздумалось пешком отправиться в Америку! — ворчал Ян.

— А если он, вправду, заблудился?!

— Как же! Знаю я его!.. А жестянка со спичками?! Мерзавец!.. Право, если настигнем его, так вы меня держите за руку, а то не выдержу и побью эту чортову куклу...

Красусский сам был сильно озлоблен против француза и, хотя отрицательно качал головой на предположения Яна, сильно хмурился и посматривал недружелюбно на дым.

Солнце село совсем низко и перестало греть. С моря подул холодный и пронзительный ветер. Местность, по которой шли охотники, представляла спутанный лабиринт длинных, болотистых промоин, прудиков, луж, озерков, разъединённых низкими грядами мшистой тундры. Чтобы не бродить постоянно в холодной и местами глубокой воде, им приходилось постоянно сворачивать и кружиться далеко по болотинам. Наконец, они заметили сухую,

выпуклую грядку и направились к ней, чтобы оттуда обозреть окрестности и избрать самый удобный путь.

Уже издали их приветствовали жалобные крики вившихся над холмиком чаек. Когда они приблизились к ним, целые тучи птиц смело устремились на охотников. Последние увидели перед собою странное явление — большой птичий город. Густо друг около друга стояли гнёзда, построенные из трав и веточек, на них сидели полки птиц, ничуть не встревоженных появлением людей. Все они повёрнуты были головками в одну сторону, где между отдельными кварталами сплошных гнёзд тянулись сухие, хорошо утопанные улицы. Но улицам прохаживались, подпрыгивая, птичьи стражи...

Охотники остановились. Им жаль было топтать и портить без пользы яйца и гнёзда. Впрочем, ни избрать обходного пути, ни придумать чего-нибудь другого они не успели, так как тучи чаек грозно набросились на них. Птицы кружились, взлетали и быстро опускались им на головы, угрожая клювами и кривыми когтями их лицам и глазам. Охотники защищались ружьями, били прикладами, но разъярённые птицы взлетали лишь на миг, чтобы немедленно наброситься сверху. Несколько раз их когти коснулись шапки и плеч пана Яна. Пронзительный писк, трепетание крыльев выводили из себя охотников, мешая им осматривать окрестности. Чтобы прогнать надоедливых пернатых, путешественники дали залп, но результаты получились ещё худшие. С неописуемым шумом, криком, трепетанием крыльев взлетела с земли целая туча птиц и закружилась над врагами. Что значили выстрелы для этих тысяч?! Низко согнувшись, позорно бежали охотники прочь, а птицы преследовали их, ударяя клювами и крыльями по их головам и спинам. Наконец, крики ослабели, и люди, оглянувшись, убедились, что преследует их уже небольшая горсть самых рьяных защитников птичьего царства; остальные вернулись к своим гнёздам.

— Вот так оказия! — смеялся Ян. — Подождите, придём мы сюда на обратном пути... Оставим вам Мусью, а сами наберём яиц, по крайней мере, на месяц... Знаешь, Красусский, нам придётся снять обувь и пойти в брод, а то не скоро попадём на место...

Пройдя напрямик полчаса, они очутились у дыма. Брошенный костёр догорал — Мусьи нигде и следа не было... Они тщательно осмотрели всю местность и нашли только обглоданные утиные кости. Но был ли здесь Мусья, или кто другой, этого они определить не могли. Им казалось, что у огня сидел не один человек, а много. Наконец, Ян вскрикнул от радости: в сторонке лежала бумажка.

Это был кусок обыкновенной бумаги, какая могла очутиться и в руках местных инородцев вместе с европейскими товарами. Правда, посередине её была вырвана дырочка, а кругом были ногтем выдавлены какие-то

таинственные знаки, но трудно было что-либо заключить по ним. Расстроенные, они глядели сердито на затуманенную тундру, куда незаметно уходили и терялись следы.

— Нечего делать, вернёмся! — проговорил, наконец, Ян. — Надо торопиться, а то туман идёт!..

Холодный ветер всё стремительнее подувал с моря. Охотники увидели, как неожиданно из льдов спустился длинный, во всю длину горизонта, вал белого тумана и покатился к ним по взбаламученным, чёрным волнам. Малиновое солнце скрылось до половины во мгле.

— Торопись.. торопись.. Скоро здесь будет!.. — понуждал товарища Ян.

Оба они бежали напрямик, прыгая через лужи поменьше, перебираясь через большие, иногда выше пояса в воде. Ветер переходил в бурю. Туман плыл с быстротою разлива. Первые его облачка, завитушки и всклокоченные языки уже коснулись ступней охотников, обогнали их и покатались вглубь материка. Вскоре охотники брели по колени во мгле. Ян вырвал немного сухой шерсти из меховой подкладки своей куртки и заткнул ею дула и капсюли своего ружья. Красусский последовал его примеру. Мгла уже доходила им до пояса. Она покрыла неровности земли, сушу и воды ровной белой пеленой, что сильно затрудняло охотникам выбор пути. То и дело они совершенно неожиданно проваливались в ямы с водою или болотной тиной. Вскоре туман достиг им шеи, а затем сомкнулся над головами, окутывая всё белым мраком. Ветер бешено стал кружить, перегонять и волновать туман, точь в точь как морскую пучину. Избитые ударами воздуха, иссечённые студёной мглой, не хуже снеговой метели, прозябшие до костей, охотники шли ощупью вперёд, пока не слышали вдруг оглушительного рёва волн, и чёрные, как сажа, их языки не хлестнули им под ноги. Тогда они быстро попятнулись назад, в страхе, что их опрокинут и слижут мгновенно с земли эти чудовищные языки.

— Что делать?.. Как разыщем челнок? — спрашивал Красусский, стуча зубами от холода.

— Зачем нам теперь челнок? Разве затем, чтобы затащить его дальше... Чего доброго, вода его возьмёт.. — ответил неохотно Ян.

Неожиданно ветер ударил в них с такой силой, что они покачнулись на ногах. Берег дрожал под напором плещущего прибоя. Но свист ветра, шум бушующих водоворотов, стон земли под напором пучины, — всё покрывалось бесследно растущим рёвом играющего вдали океана.

— Пойдём, Ян, пойдём!.. Наверно унесёт наш челнок. — говорил Красусский, оттаскивая за рукав остолбеневшего товарища.

— Куда пойдём... без глаз! — ответил тот грубо. Разве знаешь, куда идти, где он лежит?! Подожди, надо сообразить, надо подумать... Ложись, а то насквозь прозябнешь, а я тем временем подумаю и... отдышусь!.. Собачья погода!

Они легли рядом в маленькой ложбинке и прижались друг к другу, чтобы лучше согреться. Ян подпёр голову рукою и внимательно прислушивался к гулу земли и моря, присматривался к потокам переливавшихся через них струй тумана, наблюдал за ветром, который медленно, но неустанно менял направление.

— Послушай, Красусский: он и вчера был кружной?

— Кто? Ветер?

— Ну, да! Теперь он дует совсем не с той стороны, как в то время, когда мы шли от реки. В таком разе нам нужно идти вдоль воды, как раз против ветру... Пойдём, милый, ляжем в «веточку», там за бортами будет всё-таки теплее...

Опять ветер стал их теребить, опять мгла стала слепить им глаза и сечь лицо.

Они шли, низко нагнув головы, с протянутыми вперёд, как для плавания, руками. Красусский стучал зубами, как в лихорадке. Им не раз приходилось далеко обходить плоский берег, из опасения, чтобы гривы волн не спутали им ног и не смыли прочь в море. Туман кипел кругом удивительно густой, странный, но уже другой, чем в начале, какой-то золотистый и просветлённый. Его струи и облака неслись мимо них, точно водяная пыль водопада, кружась и загораясь минутами радужным блеском. Охотники нашли, наконец, челнок, оттащили его от воды, поставили боком к ветру и легли в нём. Вьюга свистела в края лодочки, точно в свирель, и перебрасывала через них молочные волны, усыпая им лица холодным, мелким, как роса, дождём. Изредка в плывущих над охотниками мгlistых бурунах буря вышибала окно. Тогда они видели высоко над собою на короткое мгновение синее, позлащённое солнцем небо.

— Что это такое?.. Смотри! — воскликнул вдруг Красусский, указывая на мглу. На опаловой завесе её засияли вдруг радужными цветами громадные, косматые фигуры людей.

Оба беглеца присели от удивления и не спускали глаз с привидений, колеблемых неустанно бурей.

На спутанном подвижном холсте тумана, точно картины волшебного фонаря, мелькали и шевелились бледные изображения целой человеческой толпы. Раньше, чем охотники успели её рассмотреть, она исчезла, сдунутая вьюгой.

— Идём, идём!.. Что такое там делается?.. Это, наконец, страшно!.. — шепнул Красусский.

— Потащим «ветку» берегом. Наши по ту сторону протоки, как раз напротив. Как только хоть немножко стихнет непогода. поплывём, — советовал Ян.

Они попробовали поднять челнок на плечи, но ветер сдул его мгновенно, как пёрышко, с их рук. С ужасом они наблюдали, как подхваченное бурей судёнышко сначала поднялось на воздух, затем упало на землю и, катясь по ней, исчезло в тумане.. Они с трудом нагнали его и, согнувшись дугою, выставив вперёд против ветра головы, потащили за собою по влажной, липкой

земле. Тяжело им давался этот поход против течения воздуха и мглы, почти такой же густой, как вода. Невозможность сообразовать шаги и движения с встречными препятствиями и неровностями почвы, непрерывное движение всего кругом, оглушительный шум ветра и воды, изменчивые дуновения бури мучительно действовали на душу; им хотелось присесть, упасть ничком, втиснуть хоть лицо в какую-нибудь щель, где можно бы было подышать свободно, где сохранилось бы хоть небольшое количество чистого, неподвижного воздуха.

Отвратительная смесь холодной морской мглы и ветра давила их, как влажная, затхлая вата.

— Какая к чорту польза трепаться без толку!?. Ведь ни зги не видно!.. — вскричал Ян, брошенный бурей на землю. Обессиленный Красусский сел рядом с ним.

— Скоро перестанет! — утешал его Ян. — Ветер поворачивает и слабеет!..

Они ждали терпеливо, прижавшись ко дну челнока. Ян даже вздремнул. Вдруг Красусский разбудил его ударом локтя. Опять в облаках над ними задвигались исполинские тени людей. Беглецы не сказали друг другу ни слова, но, дрожа от холода и волнения, потащили вновь лодочку к мятущимся у берега волнам.

— Смотри только: режь прямо против волны!.. Не пугайся!.. — поучал Красусского Ян. — Самое трудное сесть, и самая худшая первая волна!

Они спустили челнок на воду в маленькой бухточке, защищённой крутым берегом от ветра. Но, хотя гребни волн здесь не заворачивались и самые валы были много положе, всё-таки волнение было настолько бурно, что судёнышко дважды наполнилось водою, раньше чем они немного изловчились и сели в него, наконец. Они дружно ударили вёслами и выскользнули из бухточки, но в тот же миг громадный вал подхватил их и понёс обратно к земле. Они сохранили на столько присутствия духа, что опрокинулись немедленно на бок и уцепились за край лодочки руками, опасаясь, что вода унесёт её прочь. Они не осмелились повторить сейчас же попытку, но и на месте усидеть было трудно. Они поплелись дальше вдоль берега и дотащились до самого конца песчаной косы. Она поняли, что забрались слишком на север. Впереди бушевало уже открытое море. Они узнали его по острым, мощным дуновениям, по размерам водяных гор, вздымавшихся и падавших среди туманов с мерным гулом, похожим на взрывы вулкана, наконец, по большей яркости реявшего над водой тумана.

В сравнении с тем, что происходило здесь, рёв волн в проливе показался им ничтожным лаем собак.

Они вернулись, охваченные смущением и большей решимостью. Они разыскали опять укромную бухточку и сдвинули челнок на воду. Непогода уже

затихала. Им повезло в этот раз. Согласным ударом вёсел они загнали челнок на вершину первой волны и счастливо миновали её, лишь обрызганные её пеной. Они быстро скользнули вниз, и раньше, чем могли сообразить, что с ними творится, уже пена второго гребня кипела под ними. И тот миновали, слегка только черпнув одним бортом воды. Таким образом, после нескольких волн, они по пояс сидели в воде, но за то противоположный берег был уже недалёк, а под ним и волнение было тише.

Когда, промокшие, они выползли, наконец, на землю и вытащили за собою челнок, ветер уже сильно упал, и туман поредел настолько, что они без труда узнали в небольшом отдалении лагерь товарищей. Они заметили качавшуюся в бухточке «Королеву», распознали тёмные пятна товарищей, спавших на земле. Но в то же время они увидели нечто, что охватило их ужасной дрожью, холодной, как сама смерть...

Они бросились к своим, крича изо всей мочи:

— Вставайте, вставайте!..

— Что случилось?! — спрашивали те, садясь и сбрасывая прочь одеяла.

Ян и Красусский указали им рукою в ту сторону, откуда должна была явиться свобода.

Там, среди тумана, подкрадывался к ним осторожно большой полукруг людей с ружьями в руках. За ними шла толпа других существ, им неизвестных, меднолицых, косоглазых, толпа диких варваров, зашитых в косматые меха, с копьями в руках, со стрелами, заложенными на тетивы луков...

За этой толпой ревело чёрное, взбаламученное море, а из-под вздымавшихся вверх туманов, уже позлащённых солнцем, выглядывали бледные, радужные тени льдов, плывших с грохотом к земле...

OCR Андрей Дуглас

Повесть была опубликована в журнале «Русское Богатство» №№ 6-12 за 1906 г. Основана на реальных событиях побега группы политических ссыльных из Верхоянска в 1882 г.